БОРИС ХОТИМСКИЙ

НЕПРИМИРИМОСТЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Борис Хотимский — прозаик, критик. Особое внимание в своем творчестве он уделяет историко-революционной теме. Его книги «Пожарка», «Рыцари справедливости», «Латырь-камень», «Ради грядущего», «Три горы над Славутичем» были с интересом встречены читателями. В повести «Непримиримость» рассказывается о большевике Иосифе Варейкисе, члене Коммунистической партии с 1913 г., активном участнике борьбы за власть Советов в Подмосковье, на Украине и в Поволжье. Летом 1918 г. под непосредственным руководством председателя Симбирского комитета РКП (б) И. М. Варейкиса была ликвидирована авантюристическая попытка левого эсера Муравьева сорвать Брестский мир; этот героический эпизод стал кульминацией сюжета.

- Борис Хотимский
  -
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - 1. ТРЕВОГИ ОТЦОВСКИЕ
    - 2. ГОСТЬ ИЗ КЛИМОВСКА
    - 3. ПРОСВЕТЫ
    - 4. ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ!
    - 5. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ БЕДСТВИЙ
    - 6. ПЕРВОЕ ДЕЛО ПРАПОРЩИКА ЧЕРКАССКОГО
    - 7. НА БЕРЕГУ ПАХРЫ
    - 8. НЕПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО!
    - 9. КОНЕЦ ЗИМЫ В ПОДОЛЬСКЕ
    - 10. НАЧАЛО ВЕСНЫ
    - 11. КАРЬЕРА МУРАВЬЕВА
    - 12. ПОПРАВКА К РЕЗОЛЮЦИИ
    - 13. ТРИЖДЫ ДРОГНУЛА ДУША
    - 14. ИМ БЫЛО БЫ О ЧЕМ ПОТОЛКОВАТЬ
    - 15. КОМИССАР ЕРЕМЕЕВ
    - 16. ЗАРЫТЫЙ ТАЛАНТ
    - 17. В ШТАБЕ И «В НАТУРЕ»
    - 18. НАШИ И НЕ НАШИ
    - 19. К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ
    - 20. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - 1. «НАС ЕЩЕ СУДЬБЫ БЕЗВЕСТНЫЕ ЖДУТ»
    - 2. ЛЕСОПАТОЛОГ ЮДАНОВ
    - 3. ИХ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

- 4. ПРАПОРЩИК-ЛЕВША
- 5. «ЧЕРВОНЦЫ»
- 6. НЕ ТОЛЬКО НА ПОЗИЦИЯХ
- 7. ЕЩЕ ОДИН ПОСЕТИТЕЛЬ
- 8. ДИАЛОГ
- 9. ШТЫК ПРОТИВ ШТЫКА
- 10. БЕЗДЕЛИЦА
- 11. БОЙ ЗА КИЕВ
- 11. ПОГОВОРИМ О ДУШЕ
- 13. ВСТРЕЧА У ВЕРТЯЩЕГОСЯ СТОЛБА
- 14. УБОГИХ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
- 15. РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО
- 16. ЗАБОТЫ
- 17. СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГЛОТОК
- 18. ФОМИЧЕВ
- 19. ВЕСТИ С ФРОНТА
- 20. ВОЗЗВАНИЕ
- 21. ГОРЕЧЬ И МУЖЕСТВО
- 22. «ВЕЛИКИЙ ИСХОД»
- 23. ПОЗОР
- 24. ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- 1. В СИМБИРСКЕ
- 2. МУРАВЬЕВ В КАЗАНИ
- 3. АЙ ДА МИТРОХИН!
- 4. КОМАНДАРМ-1
- 5. В МОСКВЕ
- 6. СОВПАДЕНИЕ
- 7. «В ПЕРВОБЫТНОМ СОСТОЯНИИ»
- 8. ЧЛЕН РЕВВОЕНСОВЕТА
- 9. ВЫЗОВ
- 10. КАК ТАК?
- 11. ТУПИК
- 12. ВРЕМЯ И ЛЮДИ
- 13. ГЛАВКОМ
- 14. ТЕЛЕГРАММЫ
- 15. В ЧАС ПОЗДНИЙ
- 16. ВЫДЕРЖКА
- 17. КОМЕНДАНТ ПОСЛЕДНИМ ПОКИДАЕТ ГОРОД
- 18. ПРИЧАСТНОСТЬ

ЭПИЛОГ

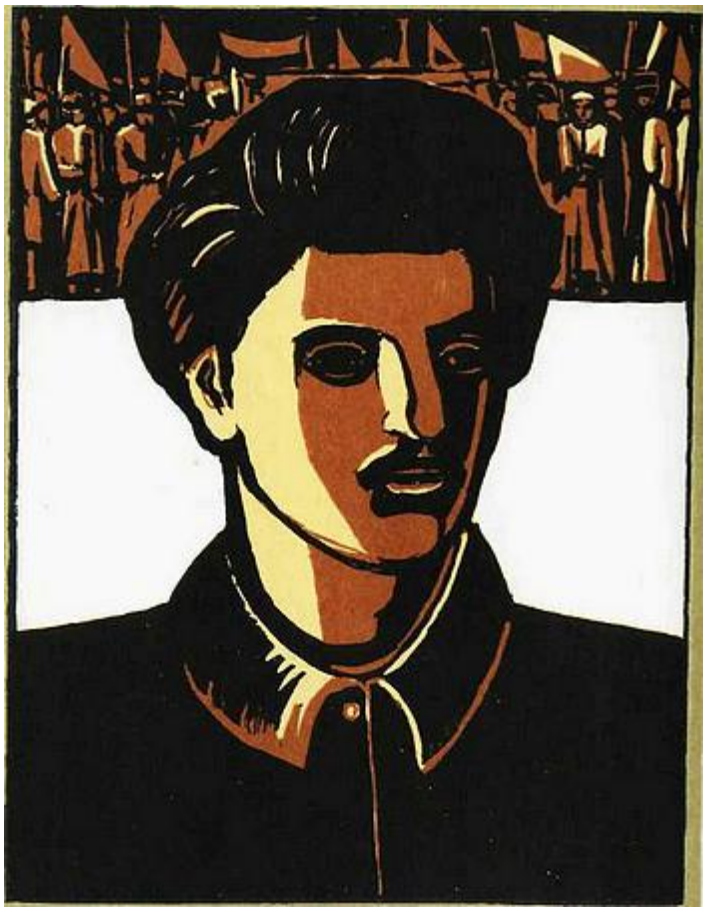
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7

Борис Хотимский
Непримиримость
Повесть об Иосефе Варейкисе

Только тот может горячо любить добро, кто способен от всей души, непримиримо ненавидеть зло.

Фридрих Шиллер



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ТРЕВОГИ ОТЦОВСКИЕ

— Эх, Юозас, Юозас! Ты совсем не думаешь о нас.

— Думаю, отец, думаю. Но не только о нас, о других тоже.

Вечером вся семья собиралась за простым, но прочным дубовым столом, у Варейкисов пили кипяток «вприглядку»: последний осколок сахарной головы лежал неприкосновенным, услаждая лишь взор. Самовар, похожий на пузатого короля в средневековых доспехах, важно пыхтел, будто понимал, о чем разговор.

А разговор был не первым и не легким.

— Да, конечно, сынок, у тебя доброе сердце, я знаю. Но подумай все-таки и о нас. Ну, хотя бы не меньше, чем о других. Хотя бы не в последнюю очередь.

— А чем мы лучше других? Почему о других — в последнюю очередь?

— Потому… что мы здесь, в Подольске, переселенцы. И к нам особое отношение, Юозас, ты ведь знаешь…

Михаил Викентьевич умолк и вздохнул сдержанно. В душе он гордился сыном и сейчас старался не подать виду, что любуется им. Чем плох его Юозас? Чисто выстиранная синяя рубаха с белыми пуговицами ладно сидит на широких плечах, темно-русые волосы густы — не сразу расчешешь. Нос, правда, длинноват, но для парня это не беда. Главное — глаза глядят прямо, ясно, в них — синие блики родного Немана…

Далеко отсюда Неман. Далеко отсюда Ковенская губерния, в которой — Вилкомирский уезд, а в нем — селение Варейкяй, где почти все жители — Варейкисы…

Нелегко там жилось, нелегко было прокормить большую семью. И Варейкисы решили покинуть свою бедняцкую хижину, курную, задымленную, но роднее которой нет и быть не может. Нелегко было покидать Варейкяй, навсегда покидать. Да разве водятся где-либо такие диковинные люди, которым легко покинуть отчий дом, родные края?

И прибыли в Подольск, под Москву, где есть заводы, где требуется множество неслабых рук. Что умел Михаил Викентьевич? Крестьянское дело знал, а вот какому-либо городскому ремеслу обучен не был. Не довелось. И русской речью владел не вполне… Но на цементном заводе нужен был кочегар. Что ж, кочегаром так кочегаром, это он сумеет. Лишь бы при деле, а там — не успеешь оглянуться — сыновья подрастут, все легче станет.

Вот Юозас вырос… А давно ли, когда только-только прибыли

в Подольск, парнишка поступил подручным в переплетную мастерскую и стал приносить домой свой скудный заработок? Давно ли, кажется?.. Господи, как время мчится! Не придержишь время — не конь.

Вон родного сына и то придержать нет сил. Конечно, это хорошо, что еще тогда, в переплетной, Юозас обучился грамоте и пристрастился книжки читать, в библиотеку стал хаживать. Это хорошо, спору нет. Но те ли книжки читает? На ту ли дорогу выводит его чтение? Нет покоя отцовскому сердцу. Радоваться бы, что сын окончил ремесленное училище и устроился токарем на писчебумажной фабрике в Дубровицах, неподалеку от Подольска. Да тревога мешает.

— Нет, Юозас. Нет, дорогой. Ты все-таки мало думаешь о нас. Легко ли нам?

— Разве я не работаю, огец? Разве я в тягость семье?

— Господь с тобой, сынок! Какая там тягость? Подспорье! Я не попрекаю тебя, нет. Но я беспокоюсь. Очень беспокоюсь.

Сын промолчал. Подумал о том, что характером отец не похож на брата своего, по имени которого и был назван Иосиф. В Подольске только родные зовут его по-литовски — Юозасом. Вспомнилось, как приезжал к ним в Варейкяй этот замечательный дядя Юозас, чернорабочий из Либавы. Он входил в их темную от дыма хижину — и светлее становилось, и дышалось привольнее. Как занятно описывал он большой город Либаву, какие складные прибаутки отпускал он по адресу несправедливых и бестолковых порядков, даже самого царя-батюшку не щадил порой! Иосиф, бывало, всю ночь, до зари утренней, беседовал с дядей — о самых разных вещах, будь то таблица умножения или воспоминания о русской революции пятого года, в которой дядя не оставался сторонним наблюдателем.

Маленький Иосиф тогда еще по знал, что дядя ого, Иосиф Викеитьевич Варейкис, в канун революции участвовал в забастовке либавских портовых грузчиков, полгода пробыл в тюрьме, а после сражался на баррикадах.

Да, жаль, что отец не похож на брата своего…

— Не понимаю, отец, что тебя тревожит? В чем я провинился?

— Не притворяйся, Юозас! Я ведь… Ты же знаешь, о чем я… Признайся, сынок, ты ведь охранял сходку у Святого колодца?

— Где-где?

— Ну, у Святого колодца. Где родник из-под сосны, которую молнией разбило. Не притворяйся, будто не знаешь.

— Я не притворяюсь. Знаю эту сосну.

— Вот-вот! А сосновую рощу у Дубровиц тоже знаешь, бывал там?

— Было дело, гулял. С барышней!

Ну, как с ним, с таким, разговаривать? Михаил Викентьевич вконец расстроился. Не в первый, не в последний раз. Давно понял, что сын неудержимо идет в революцию. Не исключено, что именно он листовки по цехам разбрасывает. И даже сам их пописывает… Тревожно!

Ну, допустим, добьются они своего — и сын Юозас, и брат Юозас Викентьевич, и дружок ихний с завода «Зингер» — Чижов Николай Георгиевич. Добьются, поднимут народ, как в девятьсот пятом. А где уверенность, что не кончится опять тем же? У царя — сила, войско. А против силы, против войска не попрешь. Листовки, книжки? Листовку шашка в умелой руке на лету рассечет, книжку долго ли штыком пригвоздить… Ладно бы только книжку да бумажку, а если самого Юозаеа… шашкой — по русым кудрям… штыком — в неуемное сердце…

Тут силачу-кочегару делалось от таких мыслей совсем нехорошо — накатывала дурнота непривычная.

— Давай-ка, отец, я тебе кипяточку добавлю, — предлагал сын, и не понять было, подшучивает он над Михаилом Викентьевичем или всерьез заботится. В глазах синих вроде забота неподдельная…

2. ГОСТЬ ИЗ КЛИМОВСКА

— Вам еще жить можно, — говорил рабочий с Климовского завода, заглянувший как-то по весне на пасху к Варейкисам, а точнее, к Иосифу, с которым познакомился на одной из сходок. — Семьей живете, праведно живете…

— А вы не ходите вокруг да около, — предлагал гостю Иосиф. — Говорите, как хотели сказать. Как на сходке говорили. Отцу полезно будет послушать.

— Вот мы с вами по сотке опрокинули в честь праздничка — и ладно. Сидим чинно, беседуем уважительно. А всегда ли так, все ли прочие так же? Кабы все да всегда!.. А то ведь хлещем ее, родимую, не только на пасху да под рождество, не только по престольным праздникам да воскресным дням. Но особливо в получку, под вечер, чтобы заснуть без мыслей.

— А я и так без мыслей засыпаю, — признался Михаил Викентьевич. — Наломаешься за день, только бы поскорее щекой к подушке прильнуть.

— Бывает, от великой усталости и вовсе не заснешь, — возразил гость. — А много пьют, но только у нас в Климовске. Ваши подольские не уступят, пожалуй. Вот которые переселенцы вроде вас, те не так…

— Не так! — повторил Иосиф, встряхивая кудрями. — Будто нам от того легче. Когда вокруг…

— Никому не легче, друг мой, товарищ. Никому!

В голосе климовца звучала такая горечь, которую ничем не подсластишь, Иосиф чувствовал это. И слушал, сдвинув брови, не отводя глаз.

— Не помним себя, откуда что берется, — говорил гость. — Безобразничаем, по канавам валяемся, теряем образ человеческий. Приползаем домой, бранимся непотребно, деремся… Наконец угомонимся кое-как, захрапим в перегарном смраде…

— Зато без мыслей?

— Не насмешничай, друг мой, товарищ, не надо. Да, без мыслей! Но и сон такой тоже, скажу я тебе, не больно сладок. А наутро? Наутро не знаешь, как от самого себя избавиться…

— Не вижу смысла в такой жизни, — будто самому себе отвечая, говорил Иосиф. — Не вижу.

— И мы не видим! — подхватывал климовец. — В том-то и беда, что нету никакого смысла в такой мутной жизни! От получки до получки, от похмелья до похмелья…

— А что директор ваш? — интересовался Иосиф. — Ведь, я

так понимаю, ему от таких работников тоже убыток?

— Убыток? — гость впервые за весь вечер рассмеялся. — Директор наш знаешь чего говорит? Пущай, говорит, пропьются до исподнего, покорнее будут. И получка-то наша к нему же в карман возвращается — начальство с торгашами всегда столкуются.

— Это верно, — соглашался Иосиф. — Только для нас это не жизнь.

— Какая уж там жизнь? Ужас, а не жизнь! Вот так-то, дорогой мой друг, товарищ… — и он безнадежно махнул рукой.

Снова и снова вспоминался потом Иосифу безнадежный взмах его руки, особенно когда сам видел и слышал, что творилось вокруг в дни праздников и получек. Не слепой и не глухой ведь был. Разве в одном только пьянстве загвоздка? Это же всего-навсего одно из следствий. А после победы революции в других условиях станет жить рабочий человек. Цель в его жизни появится. Справедливость восторжествует! Чтобы каждому — по заслугам перед людьми, каждому — по его честному труду, а не по нажитому богатству, не по наследству от знатных предков, только по честному труду!

И за ту будущую жизнь, чистую, честную, без неправедно богатеющих и незаслуженно страдающих, да и без пьянства, без какой бы то ни было нынешней мерзости, — за ту новую, прекрасную жизнь неужто не стоит бороться? Денно и нощно. Не щадя ни себя самого, ни тем паче врагов своих.

3. ПРОСВЕТЫ

И все же даже в самой бесцросветной жизни можно найти светлые минуты.

В одиночку это трудно. Но вместе, когда не один ты, когда поддержат тебя, не дадут упасть надежные плечи товарищей, если покачнешься… И тогда, ощутив общую силу, человек легче находит просветы в глухом: своем существовании. Тогда и скупо дарованные рабочему человеку часы досуга не поглотятся ненасытным зеленым змием, а пройдут достойно…

На лугу собралась их недавно сколоченная футбольная команда. И без Иосифа Варейкиса команде не обойтись.

А ему самому, обойтись ему без своей команды?

В игре как в бою: зазеваешься, оплошаешь, не осилишь — и не только сам свалишься, но, главное, и товарищей подведешь.

Поэтому, как ни сбивается дыхание, как ни толкается в самое горло сердце, как ни взмокла спина, он стремительно гонит перед собой крутящийся мяч, обходит одного, еще одного, едва не падает от чьей-то нечестной подножки, неимоверным напряжением всех своих мышц все же удерживается на ногах и не упускает, не отдает мяча, гонит его дальше — к воротам соперника, они уже близко, и мечется в них вратарь, но нет, самому не достать, не завершить начатое, — внезапной пасовкой он откидывает мяч назад и вправо, своему капитану, центральному нападающему, которого даже не увидел, а почувствовал за правым плечом, и тот венчает атаку победным голом…

Впереди много борьбы, надо быть сильным и выносливым, быстрым в решениях и движениях, надо уметь не упасть от нечестной подножки и чувствовать присутствие товарища. Полезное дело футбол!

Хотя, говоря откровенно, мог бы Иосиф обойтись без этой захватывающей игры. Как мог бы обойтись и боз игры на скрипке, столь приятно ублажающей душу. Мало все-таки времени остается у Иосифа для такого удовольствия, и вряд ли получится из него когда-нибудь настоящий музыкант.

Но есть занятие, без которого ему, право, не обойтись. Ну просто никак!

Где бы и когда бы ни оказался под рукой хотя бы огрызок карандаша, хотя бы клочок бумаги — рука сама рисует то леса дальние, то дома, то трубы дымящие, то лица товарищей.

— Нарисуй меня, Иосиф!

— И меня…

— Ух ты, а ведь похоже!

— Неужто это я, Иосиф? Такой тощий?

— Послушай-ка, Иосиф, вот фото моей Нюры. Сумеешь изобразить, чтобы будто под фатой?

С фотографии почему-то труднее, чем с живого лица, хуже получается, сам собой недоволен, а заказчик, напротив, в восторге:

— Ну, здорово! Ну, спасибо! Да у тебя, брат, талантище, мне бы так…

Иосиф рисует охотно. Было бы время… А его-то, времени, все меньше и меньше год от года. Когда уж тут рисовать? Не рисовать надо — писать. Писать листовки. И читать — не только для дела, но и от жажды неутолимой, без чтения ему тоже не обойтись, и это уже навсегда.

— Навсегда, — соглашается Чижов. — Уж эту твою страсть я изучил.

Весело смотрит на Иосифа и поправляет привычным движением пальца интеллигентское пенсне на носу. Не уживается почему-то пенсне с обликом Николая Георгиевича Чижова, с его молодецкими усами да лихим казачьим чубом из-под заломленной фуражки. Но не станичник он. Сын народного учителя, а ныне рабочий завода «Зингер», успевший побывать и на студенческой скамье в Московском техническом училище, и на скамье подсудимых, и на нарах Бутырской тюрьмы — за революционную пропаганду. Чижов одним из первых ввел Иосифа в круг подольских большевиков. Уж кто-кто, а Чижов-то лучше многих ведал, на какие дела тратит его подопечный немногие часы досуга. Поэтому Николай Георгиевич даже оторопел, когда, однажды зайдя к Варейкисам, увидел прикнопленные к стенам рисунки. Принялся их разглядывать. Особенно долго любовался пейзажем, где изображен был храм в Дубровицах — при слиянии Пахры и Десны, нарядное строение над синей водой, под голубым небом, среди зеленых деревьев.

— Не подозревал, что ты такое можешь. Мне говорили, но чтобы так… не представлял! Зарывать талант — великий грех. Учиться тебе надо, Иосиф. И я тобой займусь.

При первой же возможности Чижов свозил юношу в Москву.

Иосифу потом казалось, что не было той поездки наяву, что приснился долгий сон — из тех, что запоминаются на всю жизнь.

…Сказочный терем — весь из красного кирпича да белого камня, истинно московский. Три входа — посередке широкий, по бокам узкие. Будто коренник и пристяжные. Войдешь в любой из трех — и одни картины сменяются другими, а всего их, волшебных, не счесть…

Бровастенькая кружевница прервала работу — замерли умелые пальцы — и глядит на Иосифа, едва приметно усмехаясь…

А Пушкин смотрит мимо, вдаль куда-то, свое что-то видит, ему одному доступное. Курчавый и чуть скуластый. Правнук эфиопа и величайший из русских. Никогда прежде не думалось, что у него такие светлые, голубоватые глаза…

Непринужденно гарцует на лоснящемся вороном скакуне всадница, и маленькая девчурка с темными локонами и в белых панталончиках выбежала из дома полюбоваться…

Но вот — другие кони, без лоска. Другая женщина, другие краски. Крестьянка, высокая и сильная, ведет двух лошадок, волокущих за собою борону, да поглядывает на своего играющего неподалеку младенца…

А здесь поляна свежая, белеют стволы берез, и все это щедро залито солнцем. Сумеет ли когда-нибудь Иосиф вот так же поймать и удержать навсегда солнечный свет?

«Да! Да!» — бодро уверяют грачи на других березках — голых, зимних. «Да, да!» — утешительно звенит старинная медь под светлокаменным шатром колокольни. И тает, темнея, снег, ибо грядет весна…

На другой картине не та ли колокольня? Но летом и с другой стороны. А может, не та вовсе, лишь похожая? Тропинки в мураве, светлоголовые дети, и снова много солнца, и будто слышно, как пчелы жужжат… Не подольский ли дворик? Нет, московский. Того, кто написал эту картину, Иосифу суждено вскоре увидеть…

Чижов позаботился — и они увиделись: старый русский художник Поленов и молодой литовец Варейкис.

Пока старик, рассеянно поглаживая ладонью короткие седые волосы и небольшую под нависшими усами бородку, рассматривал принесенные на его суд рисунки, Иосиф не шевелился и дышал вполсилы. Наконец услышал:

— Ну что ж, дар божий несомненный.

— Вот и я говорю, Василий Дмитриевич, — подхватил Чижов, бывавший здесь, в мастерской Поленова, не раз и потому державшийся непринужденно. — И я говорю, что грешно зарывать свой талант.

— Грешно, грешно, — согласился тот, светлые глаза его глянули с озорным вызовом. — Талант надобно пестовать. Не баловать, а пестовать. В труде и ученье, в труде и ученье. Что, по сути дела, одно и то же. Ибо и труд и ученье равно требуют прилежания.

— За прилежанием дело не станет! — убежденно заверил Чижов. — Я этого парня давно знаю. Могу поручиться.

Иосиф по-прежнему молчал, не зная, что тут надо говорить и надо ли вообще. Здесь, в мастерской знаменитого живописца, не заводской цех, не сосновая роща и не футбольное поле. Здесь он мог лишь молчать, глядеть и благоговеть.

Как много эскизов вокруг — небольших, иные не завершены. На раскрытом этюднике — подмосковный пейзаж, лес да нива. На мольберте — загрунтованный холст, черным намечены очертания фигуры человеческой.

Поленов, судя по всему, понял состояние неразговорчивого гостя, улыбнулся ободряюще. Затем Чижов заговорил о цикле картин «Из жизни Христа».

— Я, видите ли… — Поленов отвечал неторопливо. — Я замысливал этот цикл как философско-этический. И…

— Полагаете, — Чижов недоверчиво покачал головой, — евангелие может дать вам ответ на нынешние философские и этические вопросы?

«Зачем он ого прервал?» — подумал Иосиф.

— Николай Георгиевич, — мягко, но убежденно ответил художник, — каждый ищет ответы там, где предполагает их найти. У каждого художника должен быть свой итоговый труд. У каждого! Да, увы, не каждый успевает. Мне еще столько хочется успеть… Это вот ему, молодому, торопиться некуда. А мне медлить непозволительно. Покуда не иссякла в пальцах сила. Успеть бы, только бы успеть! Ведь приходится и отказывать себе кое в чем.

И Поленов рассказал, что преподавательскую деятельность в Московском училище живописи, где он вел классы пейзажа и натюрморта, пришлось оставить. Чтобы успеть!

Но жить вовсе без молодежи, без учеников старый художник не мог. Остатки сил и времени он отдавал кружковцам, в число которых принял и Варейкиса, — теперь по воскресным дням тот приходит в подвальное помещение на Малой Дмитровке, где разместился основанный художником изокружок фабричной молодежи. Старый мастер живописи станет учить Иосифа основам техники письма, умению передавать перспективу, спокойно и обстоятельно разберет каждую оплошность и тут же сам покажет, как следовало бы сделать. И все будет повторять, настойчиво, неустанно, что надобно учиться у натуры, она… не подведет.

Иосифу правилось, что Поленов словно бы забывал, что перед ним рабочий парень, инородец. Никакой снисходительности, никакого столь унижающего заигрывания и подыгрывания. Василия Дмитриевича прежде всего интересовал сам человек, свойства его души и мера его таланта, а до положения и

происхождения ему просто никакого дела не было, ото очень чувствовалось. И было чрезвычайно ценно, ибо в ту пору встречалось не столь уж часто. Чаще судили не по служению, а по рождению. А справедливо бы наоборот. Ибо истинным сыном народа и Отечества должен считаться тот, кто честно и верно служит народу и Отечеству.

Ну что ж, Иосиф. Для тебя жизнь вроде бы не так уж беспросветна?

Для тебя… А для других? То-то и оно!

4. ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ!

Об этих событиях знал весь Подольск. Многие подробности Иосиф услышал от Чижова и от Маркова, вожака большевиков-зингеровцев.

Началось с того, что на заводе «Зингер», в никелировочном, ввели новые расценки для поштучной работы. И никелировщики забастовали, цех встал. После чего зингеровцы незамедлительно собрались на заводском дворе. С неба плеснуло дождем — промокли вмиг. Но не разошлись, пока не приняли решение — бастовать всему заводу. Не разошлись, пока не выработали требования и не выбрали делегатов от каждого цеха, которым поручили передать эти требования директору завода Диксону.

Требования были такие. Прежде всего — восьмичасовой рабочий день. Восемь часов — в цехе, восемь часов — отсыпаться, восемь часов — сам себе хозяин, итого двадцать четыре часа, как раз сутки. Затем — чтобы никаких изменений в сдельных расценках. А за стачку чтобы ни один человек не был уволен. Да, между прочим, и обращение администрации с рабочими — повежливее бы, поуважительнее, нежели бывало прежде.

Делегаты все эти требования Диксону передали. Теперь ждали ответа. Митинговали ежедневно. И, чего раньше не наблюдалось, на каждый митинг являлся лично Диксон, собственной персоной. Каждого оратора он выслушивал с полнейшим вниманием. Так казалось…

Но оказалось иное. Директор обратился к московскому губернатору за подмогой. И тот — по давней российской традиции — прислал подмогу недвусмысленную. Прислал полицейские части.

А ведь семьи у многих, жены плачут и попрекают, Детишки несмышленые ревут, есть просят. Сердце-то не камень. А тут — команда с ружьями… Как оно еще обернется? Боязно!

Можно ли винить безоружного да семьей обремененного, коли оробеет он перед жестокой силой? Не суди — и несудим будешь…

Нет, не во всех случаях жизни пригодна сия заповедь!

Того, кто заслужил, необходимо судить. Однако осуждения заслуживали не те рабочие, которые заколебались. Осуждения заслуживали провокаторы, которые знай подталкивали колеблющихся, чтобы вовсе упали. Ниц!

Под воздействием провокаторов иные все чаще приходили на свои рабочие собрания под хмельком и кричали, требуя денежной помощи: дескать, бастуем, бастуем, а жрать уже не на что!

— Жрать, говорите, не на что? — отвечали им. — А напились нынче в долг, что ли?

На столь трезвые замечания те грозились, явно подученные кем-то, что если денежной помощи не получат, то завтра же выйдут на работу и поведут за собой, скажем, весь литейный цех.

Ну, откуда, спрашивается, столько денег у стачечного комитета? И сорвалась забастовка.

Директор же, который поначалу демонстративно отбыл за границу, теперь воротился со щитом. Счел полезным обратиться к побежденным зингеровцам со следующим посланием:

> «Рабочим завода.
>
> Несмотря на то что завод после продолжительной остановки только на днях возобновил работы, тем не менее, как я имею сведения, среди рабочих находятся злонамеренные люди, агитирующие опять за забастовку.
>
> Ввиду этого нахожу нужным заявить:
>
> если какой-нибудь из цехов прекратит работу, то рабочие этого цеха будут немедленно рассчитаны; если же прекратят работу несколько цехов, то завод будет опять закрыт на неопределенное время.
>
> Что же касается слухов о будто бы предполагаемом по всему заводу уменьшении заработков, я заявляю, что эти слухи ни на чем не основаны…
>
> Директор завода Компании „Зингер“ *В. В. Диксон*
>
> июля 29 дня 1913 г.
>
> г. Подольск Моск. губ.».

— Он, видите ли, заявляет! — Чижов не снял — сдернул с переносицы пенсне, рывком вытащил из кармана скомканный платок, протер стекла. — Он заявляет!.. Мы тоже кое-что заявим, дайте срок. Верно, Иосиф?

— Чем я могу помочь, Николай Георгиевич? Может, мне перейти к вам на завод? Найдется там место для токаря?

Чижов вернул пенсне на переносицу, ответил не сразу, не спеша:

— Ладно, обмозгуем этот вопрос, решим, где ты нужнее. С Марковым потолкую. А пока что… — не договорив, он только рукой махнул.

— Что, Николай Георгиевич? Час от часу не легче?

— Вот именно!

5. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ БЕДСТВИЙ

У Варейкисов хохотали. Так дружно, так громко, что пламя керосиновой лампы метнулось испуганно, едва не погасло — на стекле затемнели мазки копоти.

— Ну, сынок, потешил! — Михаил Викентьевич, все еще смеясь, вздрагивая костлявыми плечами, подправил фитиль — лампа успокоилась, перестала коптить. — Давно так не смеялся… Еще там есть что-нибудь в таком же роде?

— Сколько душе угодно. — Иосиф ткнул палец в последнюю страницу обложки принесенного им журнала, где печатались объявления и рекламы одна другой забавнее. — Вот, послушайте.

И, подбадриваемый новыми вспышками смеха, он прочитал:

«Наш совет — даром. Если Вы страдаете… робостью, слабою памятью, бессонницею, головными болями, если вы нервны, раздражительны, переутомлены, напишите нам и вы узнаете самый верный способ, как от этого избавиться. Мы ничего не скроем от Вас. В закрытом конверте без фирмы, бесплатно. Требования адресовать: Российско-Американскому Т-ву Аптекарск. Торг. отд. 17/2. С.-Петербург. Почт. ящ. № 371».

— На всю Россию призыв! — заметил Иосиф насмешливо, швыряя журнал на стол. — Только нам этот призыв ни к чему. У нас тут слабонервные не водятся. И немощные тоже.

— Не зарекайся, сынок! — Михаил Викентьевич перестал смеяться, вздохнул озабоченно. — Хворь, она не разбирает, к кому пристать. Сегодня смеемся, а завтра — к аптекарю за лекарством.

— Нет лучшего лекарства, чем здоровый смех, — с веселой беспечностью возразил Иосиф. — Я вас теперь ежевечерне лечить этим лекарством буду. Никакая зараза не пристанет. И вообще, скажу я… У нас, у Варейкисов, крепкая плоть и крепкие души. Уж коли выпала мне, Варейкису, честь родиться мужчиной — я этой чести ронять не смею!

— Ишь ты какой!

— А что? Наш Иосиф и впрямь мужчина хоть куда…

Это все были шуточки… Однако по поводу принадлежности к «сильному полу» вскоре шутить перестали. Большинству мужчин суждено было облачиться в суровые ратные одежды. И Санкт-Петербургу предстояло переименоваться в Петроград.

Ибо уже заряжен был револьвер Гаврилы Принципа и сочтены часы жизни эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Уже заряжены были сотни крупповских орудий всевозможных калибров и заканчивался последний мирный день над планетой.

И прежде чем созрела вторая русская революция, по многим полям и дорогам Европы кучерявыми садами — не зелеными, а бурыми — высыпали сотни взрывов. Это взорвался мир. Началась первая мировая война.

Возможна ли жизнь нелегкая российская без песни, тем паче — перед ликом военных испытаний? И фельдфебель Жучин сочиняет солдатскую песню, преисполненную глубокими верноподданническими чувствами и высоким истинно патриотическим пафосом:

Вперед, на грань родного края!
Вперед, на мощный зов царя!
Вперед! Вперед, вся Русь святая!
Вперед, под громкое «ура»!

Но в отправлявшихся на фронт маршевых подразделениях почему-то предпочитали петь иное. Звучало четко, как барабанная дробь, — под такое легче шагалось. Особенно — под припев, с отчаянным присвистом:

Соловей, соловей,
пта-ше-чка!
Канаре-ечка
жалобно поет!

Легко шагалось под такую песню. А дальше… Дальше ждало то, что легким не бывает. И быть не может.

Оставшиеся в тылу певали всякое прочее. Возвращаясь однажды домой после смены, уже затемно, Иосиф услышал звуки двухрядки. Озорной голос невидимого в темноте гармониста выкрикивал:

Не ревите-ка, молодки,
не тужите, милочки.
Больше нету парням «сотки»,
а мужьям — бутылочки!

Иосиф усмехнулся невесело. Так, значит, реагирует народ на введение «сухого закона». Что сказал бы теперь тот рабочий из Климовска?..

Появилась десятикопеечная почтовая открытка Никольской Общины Российского Общества Красного Креста: в уютной чистой избе сидит солдатик в накинутой шинели, в забинтованной руке держит ровненькую палочку, с румяным толстощеким личиком пай-мальчика. На него глядит, его слушает, раскрыв глазки и ротик, тоже румяная и толстощекая пай-девочка в красной косынке. И — надпись славянской вязью: «Не спускала бы я глаз, все бы слушала рассказ». Эти упитанные «детки» умиляли до слез не нюхавших пороху обывателей. Фронтовики же, глядя на подобное, либо усмехались в усы, либо матерились.

Появились в Подольске первые калеки войны — кто на костыле, кто с пустым рукавом. Среди них и дядя Юозас, раненный в ногу. Он привез с собой номер «Социал-демократа» со статьей Ленина о войне, выступил перед подольскими большевиками. Рассказал о фронтовой жизни, о том, как гибнут солдаты из-за бездарности иных генералов, как не подвозят своевременно снаряды — и артиллерия не может поддержать пехоту, идущую на заведомую погибель. О том, что немало горлопанов из тыла приезжает к ним на фронт — звать на смерть «за веру, царя и отечество». А веры ни во что не остается, и царь давно не люб. Что же касается отечества… давненько надо бы навести в нем справедливый порядок, и сделать это могут только рабочие и крестьяне. Те, кто получил винтовку в руки, и те, которые остались у станков, — и те и другие вместе, объединясь. Путь у народа один: добыть себе права и покончить с войной, от которой одним только богатеям барыши, а бедному люду — разорение и гибель пуще прежнего. Эта война должна породить революцию, а революция положит конец самой войне. Так думают большевики. Так говорят они солдатам, разделяя с ними все тяготы окопного бытия. И многие солдаты уже не отмахиваются, как бывало, а прислушиваются. Иные же и сами большевиками становятся.

Дядины рассказы и статья Ленина — все это оседало в душе Иосифа, дозревало, как добрая земля, готовая выбросить навстречу небу живые зеленые ростки. А на первых порах, искренне полагая, что бороться за социальную справедливость можно только в защищенном от внешнего врага отечестве, Иосиф готов был отправиться с маршевой ротой туда, где ежедневно гибли его сверстники, где потребны многие тысячи крепких и смелых парией.

— Пушечное мясо потребно, — возражал ему один из местных большевиков. — И опять же кому потребно? Не нам с тобой. Не рабочему, не крестьянину и не солдату. Нашему брату от войны одни убыток, а царям да буржуям слава и прибыль. Министрам царским и жандармам тоже выгода. Дескать, народ против них не выступит, другим делом занят. Ты вникни…

Иосиф слушал, сосредоточенно сведя брови, старался вникнуть. А тот растолковывал терпеливо:

— Стравить меж собой народы, чтобы друг на дружку, как стенка на стенку, шли, — глядишь, своих господ в покое оставят. Господа будут жрать до икоты да благоденствовать до одури, а из рабочего и крестьянина последние соки выжмут — война, мол! Всем теперь беда, всем терпеть приходится… Кабы всем, а то ведь — кому пироги и пышки, а кому… не тумаки и шишки, а увечья и смерть! Вот так-то, Иосиф. Побереги-ка свою удаль для нашего, революционного дела. Уразумел?

— Стараюсь.

— Старайся, Иосиф, шевели мозгами. Да поживее, время нынешнее торопит. А мы, откровенно сказать, на тебя рассчитываем. Пишешь ты бойко, листовку сочинить у тебя получается. Нам сейчас антивоенные листовки позарез нужны. Только как тебе поручить, если сам ты еще не постиг простой истины. Что война есть величайшее из бедствий…

Читая в газетах и журналах сообщения о боевых действиях, Иосиф представлял себе мчащуюся на врага казачью лаву, идущие в штыковую атаку цепи пехоты, белые дымки шрапнели над желтеющими полями, бессчетные колонны войск на дорогах. Но, слушая рассказы дяди и вникая в сказанное другими, начинал видеть нечто совсем иное.

Кто исчислит дни и ночи нелегкого труда крестьянского, всю меру тревоги мужика: уродит нынче земля или не уродит? Уродила, слава богу! Быть хлебу в доме. Ты сберег его, хлеб свой насущный, еще на поле — от града и от засухи, от прожорливого жучка кузьки и от приставучей спорыньи. Но прошла твоим полем неудержимая конница — и вмиг растоптаны долгожданные плоды трудов тяжких…

Каким бы убогим ни был твой дом, но каждое бревнышко в нем, каждая трещинка в том бревнышке, каждый вбитый гвоздик — все это роднее не сыскать. Но одно лишь попадание снаряда — и все это, столь близкое душе, становится прахом, перестает быть…

Воистину величайшее бедствие!

И, главное, во имя чего?!

— …Вот почему, Иосиф, наша партия решила объявить войну

самой войне. Непримиримую войну! Вот в какой войне должен ты принять участие. Вопросы ко мне есть у тебя?

— Один вопрос. Что надо делать?

— Ну, давно бы так! Надо сочинить такую листовочку, чтобы чертям в пекле тошно стало…

Вскоре появились в Подольске первые антивоенные листовки, написанные двадцатилетним большевиком Иосифом Варейкисом.

6. ПЕРВОЕ ДЕЛО ПРАПОРЩИКА ЧЕРКАССКОГО

Ждали команды. Пехотный взвод сосредоточился за железнодорожной насыпью. Солдаты сидели кучно, каждый — в обнимку со своей длинной, привычной, безотказной трехлинейкой. Разрешено было курить. Один не садился, стоял во весь свой немалый рост, опираясь на винтовку; примятая с боков фуражка — набекрень, усы лихо подкручены.

— Присел бы, Фомичев! Чего подставляешься?

— Никак не подставляюсь. Полотно-то выше.

Среди солдат был и прапорщик Черкасский, вчера только прибывший в роту и тут же заменивший убитого перед тем взводного. Достается взводным! Возможно, что и его сегодня тоже… Он еще ни разу не бывал в деле…

Прапорщик сидел на корточках, упершись выбритым подбородком в жесткий ворот застегнутой доверху шинели, и, стараясь отвлечься от невеселых дум, глядел на фасонные носки своих черных хромовых сапог, из-под которых выбивались перезимовавшие багряные листики какого-то низкорослого кусточка, и это сочетание черного с багряным пробудило в измаявшейся душе щемящее воспоминание, поначалу неосознанное… Багряное с черным… Где же?.. Когда?.. Наконец припомнилось.

Багряным были выкрашены степы и колонны Киевского университета, а над колоннами чернели ионические капители. С каким благоговейным трепетом поднимался он по просторным ступеням, проходил меж величественными колоннами, вступая в храм света и разума. Дабы в стенах аудиторий, еще помнивших голос профессора Костомарова, посвятить себя изучению судеб Киевской Руси, познанию сокрытых в глубинах веков славных деяний предков… Мечты несбыточные!

Несбыточные, потому что грянула, вторглась в судьбу отчизны и в его собственную судьбу зловещая дата: первое августа. Теперь стало не до Перуновых времен история вершилась сейчас, сегодня. Мог ли он лишь наблюдать да выжидать? Странный вопрос! Полгода школы прапорщиков и — на позиции!

Черкасский перестал глядеть под ноги, и окружавшие его солдаты в который раз подивились редкостным глазам нового взводного — серым с черной каймой и в черных ресницах. Чего ждать от таких глаз?

Неподалеку проследовал на рысях эскадрой дивизионной

конницы.

— Накрошат нынче капусты! — уверенно предрек, подходя к Черкасскому и оглядываясь вслед эскадрону, помкомроты Лютич, подпоручик. В нарядной куртке синего сукна, отороченной седой смушкой, весь в ремнях. Глядя на его кривые ноги, Черкасский подумал, что так же выгнуты лапы бульдогов и ножки стульев стиля рококо. Прикрыть бы подпоручику подобную красу полами шинели, а не щеголять в куцей курточке.

— Встаньте, прапорщик! — то ли приказал, то ли посоветовал Лютич. — Сыро. Поясницу простудите, не разогнетесь после.

— А как же прочие? — спросил Черкасский, поднимаясь.

— Серую скотинку никакая хвороба не возьмет, — убежденно заявил подпоручик и вдруг повернулся к ближайшему солдату: — Эт-та что еще?! Офицеры стоят, а он… Вста-ать!!!

Солдатик суетливо вскочил, вытянулся. Его лпцо, безусое и скуластое, по-девичьи порозовело. От резкого движения фуражка надвинулась на уши — вндать, не по мерке была.

— Фамилия?!

— Митрохин, — едва не шепотом выдохнул тот.

— Не слышу ответа. Па-автарить!

— Митрохин! — выкрикнул несчастный.

— Па-авта-арить! Я научу тебя отвечать, морда!

Черкасский даже не заметил движения руки подпоручика — до того скор был удар. Увидел только, как дернулось лицо солдата, как съехал на сторону козырек. Явно велика была фуражка…

— Митрохин, вашвысобла-ародъ!

— А ну, еще разок!

— Митрохин, вашвысоблаародь!

— Та-ак… — бульдожьи ноги Лютича переступили на месте, упершись в землю еще прочнее, и снова невидимое движение руки, и снова мотнулось напрягшееся сверх предела лицо солдата и проступила алая влага в углу сжатого рта.

— Значит, знал, как положено отвечать? Знал?!

— Так точно, вашвысоблаародь! — из открывшегося рта алое сбежало на подбородок, капнуло на шинель.

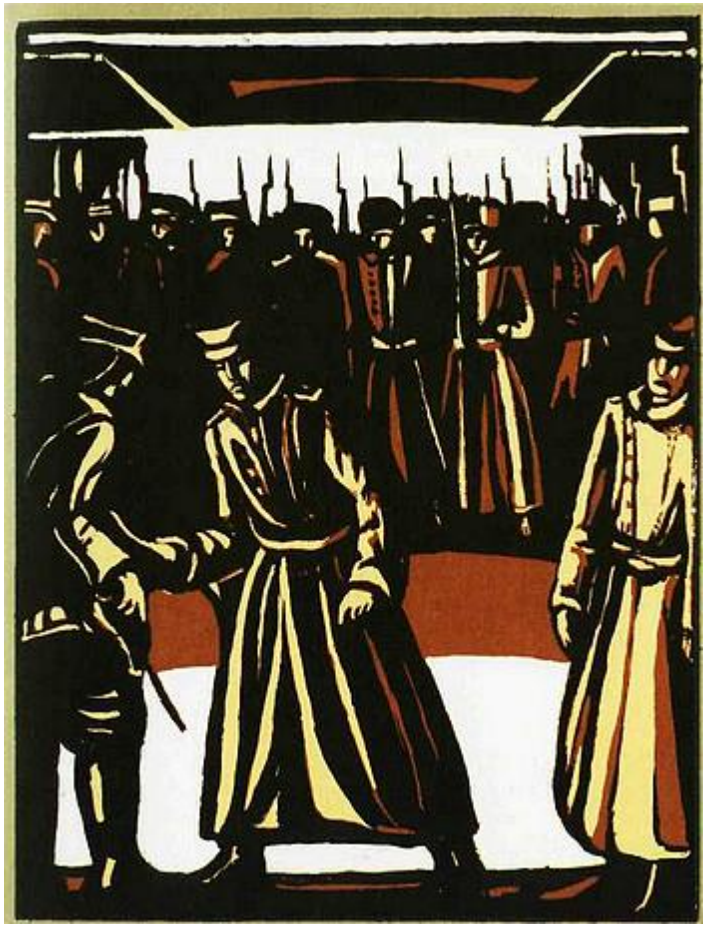
— А ежели знал, — не унимался подпоручик, — то па-ачему не ответил как положено? А? Значит, не желал, растуды и разэтак!..

Весь взвод теперь был на ногах. Ничего, впрочем, непривычного не происходило, солдаты знали, как себя вести. Они угрюмо молчали. Иные поглядывали на нового взводного, будто ждали чего-то.

А Черкасский вдруг ощутил то, что случалось с ним еще в

детстве. Не часто, но бывало. Когда накатывала из неведомых глубин души неуемная ярость, накатывала неудержимо, до слепоты в глазах. В семье говорили, будто прадед его бывал таким же…

И еще одно движение кулака Лютича, но быструю и сильную руку успела перехватить не менее быстрая и не менее сильная рука. Ярость глаз одного была встречена неизмеримо большого яростью глаз другого.



Некоторое время офицеры оставались напряженно недвижимы в единоборстве. Наконец Черкасский отпустил Лютича и, задыхаясь, процедил:

— Извольте бить тевтонца, подпоручик! А не своих!

— Чтэ-э? — Лютич тоже тяжело дышал. — Чтэ тэкое?! На старшего по званию?! При нижних чинах?! Да за тэкое…

— Пускай меня расстреляют, подпоручик, но… Даю вам слово офицера, я успею избавить от вас российскую армию!

— Да я… да я вас!.. — Лютич схватился за кобуру. Черкасский — тоже.

— Прекратите, господа! — между ними решительно втиснулся поспешивший на шум немолодой ротный. — При солдатах… Перед делом… Полноте, господа, опомнитесь! Я приказываю!

— Слушаюсь! — Черкасский перевел дыхание, первым снял руку с кобуры и, нарушая субординацию, не удержался, добавил: — А вы, подпоручик, запомните! Хоть вы и старше по званию… Еще раз подобное — и я пристрелю вас. Всенепременно!

Лютич снова вскинулся было, но что-то смутило его в серых с черной каймой глазах дерзкого прапорщика. Он заставил себя сдержаться и, обращаясь к ротному, заметил:

— Вот она, дисциплинка в нынешней русской армии… Впрочем, по-моему, он просто психический. А может, из этих, из…

— Пойдите к первому взводу, подпоручик, — сухо отозвался ротный. — Побудьте с ними.

Тот козырнул, повернулся по уставу и ушел прочь на своих гнутых бульдожьих ногах.

Ротный укоризненно глянул на Черкасского усталыми глазами, сказал негромко:

— Разве можно так, прапорщик?

— Простите.

— Я-то прощу… Но… Но ведь мы с вами не только военные, мы же воспитанные, интеллигентные люди.

— Так, если воспитанные, если интеллигентные, прикажите лапки кверху перед всяким дерьмом?

— Угостите-ка лучше папироской, — ротный вздохнул. — Благодарствую… А с Лютичем, право, не связывайтесь. Вы-то у нас новичок, а мы в полку ему цену знаем.

— Он, что же, из влиятельной фамилии?

— Где там! Из грязи в князи… Такие Скуратовы порой заносчивее самих Рюриковичей. И опаснее. Тут, скажу я вам, особая психология… Ага! Вон и сигнальная ракета! Опять без артподготовки, без огневого вала. Стволов достаточно, а снарядов не подвезли. О выбритой земле и не мечтай! Нет, не мечтай… Ну, храни вас бог, прапорщик!

Да, это было его первое ратное дело. Поначалу все шло привычно, как на ученьях. Одно лишь оказалось в новинку: то и дело мимо ушей стремительно проскакивали невидимые пчелки. И то здесь, то там солдаты залегали без команды и не поднимались. И чем ближе к затуманенному кустарнику, в котором предполагался противник, тем чаще не вставали

солдаты, тем чаще проскакивали мимо стремительные пчелки.

Все труднее заставлять себя двигаться, не позволять себе броситься ничком на землю, чтобы вжаться в нее и — будь что будет! Нельзя! Если ляжет, не увидит своего взвода, не заметит, как все чаще оборачиваются к нему встревоженные лица, будто ждут от него чего-то, да не просто ждут — почти требуют.

Команды ждут. Команды требуют. А какой команды? Что именно должен он скомандовать?

Ну, шевели же мозгами, прапорщик! Ведь тебе людей доверили, целый взвод. Чему учили тебя? Мало ли чему учили… Открывать огонь? По какой цели? Противник-то укрыт! Продолжать атаку? Но ежели и дальше так, до тех кустов заклятых взводу не добраться, ни один солдат не встанет. А что же сосед слева и сосед справа?..

— Взво-од! — заорал он, стараясь погромче, а получилось тонко, визгливо. — Ла-ажись! Применяйся к местности!

Взвод будто едва дождался этих слов — залег тотчас же, дружно.

Надо бы теперь и взводному залечь, к земле тянет неудержимо. Но нельзя, стыдно. Что солдаты подумают?

И в тот же момент дюжие руки сваливают прапорщика наземь. Рядом — лихие усы Фомичева, а над усами — неожиданно добрые, почти нежные глаза солдатские.

— Уж не взыщите, ваше благородие! Скосят ведь…

7. НА БЕРЕГУ ПАХРЫ

Конечно, узенькой Пахре далековато до полноводного Немана. Но любая река хороша, когда чистым утром поднимается над поймой туман и все четче видны кусты ивняка, а вдали, где повыше, где нет тумана, там желтая листва осеннего прибрежного леса залита красноватым светом зари. Местами в чаще темнеют тенистые провалы…

Написать бы этот пейзаж — остановить прекрасное мгновение, чтобы потом не раз усладило взор! Да где этюдник, где кисти, где тюбики с красками и пузырек с разбавителем? Не до них теперь, не до того… Прости, Василий Дмитриевич, прости, старый учитель… Жизнь щедра не только на прекрасные мгновения, в ней много такого, что к пейзажной лирике никак не относится. Об этом-то и размышлял Иосиф, выйдя на берег Пахры и невольно залюбовавшись увиденным. Его теперь заботило иное.

Небывалому по протяженности фронту требовались снаряды, снаряды и снаряды. В Подольске создавался еще один завод — «Земгор»,[1] снарядный. Быть может, под воздействием захлестнувших было его на первых порах патриотических настроений Иосиф и желал бы поступить на тот завод — изготовлять снаряды для фронта. Но теперь решал не он — решала партия. А она решила, что токарь-инструмеитальщик Варейкис в новых, усложнившихся условиях борьбы должен оставаться там, где к тому времени уже работал и освоился, — на Подольском заводе швейных машин американской компании «Зингер». Там же, где Чижов…

Иосиф вздыхает, поеживается, решительно одергивает перетянутую ремнем синюю блузу под пиджаком, приглаживает вздыбленные прохладным ветерком длинные волосы — они тотчас снова разлетаются — и шагает дальше, вдоль берега Пахры, к месту встречи с товарищами.

Обычно они собирались в «моргаловке» — полуподвале маленького домика с незрячими оконцами. Нынче же решили встретиться подальше от города, на берегу Пахры, где вряд ли помешают городовые и не выследят сыщики. К тому же назначили встречу не поздним вечером, как бывало, а с утра пораньше, когда царские ищейки отсыпаются после трудов неправедных.

Нет, не воскресенье сегодня. Но в цехах сейчас делать нечего.

Сейчас молча стоит у окна в инструментальном токарный станок Варейкиса — самоточка американского производства, на таком Иосиф все, что бы ни потребовалось, выточить сумеет. Но не сейчас. Сейчас его станок — без жизни, без движения. Не

работают и соседние станки, станки его товарищей по цеху — молчуна-сухаря Завгороднего, шустренького Кузнецова… Стоят станки всего инструментального цеха. Стоит весь завод швейных машин компании «Зингер». Не покидают заводской территории красавицы машины — черным лаком покрытый златокрылыми сфинксами разрисованные. Ждите, женщины, новых машин фирмы «Зингер», терпеливо ждите!

А у тех, кто делает для вас столь красивые и удобные машины, терпение на исходе. И потому на заводе «Зингер» еще одна стачка. Не первая за последнее время.

На сей раз зингеровцы потребовали пятнадцатипроцентной прибавки к зарплате. Если господин Диксон уступит хоть половину, считай, дело выгорело. Куда ему деваться, директору? Похоже, что уступит. Теперь не узнать стало Диксона, сговорчивее сделался, тоже соображает, что иные времена наступили.

Главное — не та, что прежде, а несравненно большая сила у большевиков Подольска. Ощутимое пополнение составили и прибывшие на новый снарядный завод латыши — народ в большинстве своем организованный, политически развитый и активный. Неплохо было придумано и с использованием драмкружка при клубе — отменная ширма для партийной деятельности. Из четырех тысяч зингеровцев здесь, в кружке, вместе с Иосифом уже участвовало с полсотни молодых товарищей.

Да, новые времена настали. Иосиф не сомневался, что затеянная стачка увенчается успехом. И дело, разумеется, не только в прибавке к зарплате. На повестку дня партия выдвинула такие политические требования, как активная революционная борьба — вплоть до свержения власти, не только продолжающей беззастенчиво угнетать и грабить народ, но и втянувшей его в безумную мировую бойню, которая уже оборачивается для страдалицы России голодом, кровью, горем…

Солнце появилось над берегами Пахры, насыщая красками пожухлые прибрежные травы.

— Тэ-экс! — будто выстрелом в затылок. — Еще одна пташка попалась!

Мгновенно оглянувшись, Иосиф увидел сверкнувшие пуговицы, бурые усы над желтыми, злорадно оскаленными зубами, кокарду над черным козырьком. Узнал старшего городового Карасева — свирепейшего и тупейшего из российских городовых.

Справа, слева, везде, надвинулись вплотную… Облава! Значит, кто-то предал!..

Грубо схватили запястья, нажали на локти, вывернули руки — боль дьявольская! — невольно пришлось согнуться в унизительном поклоне… Не поддаваться! Он напрягся весь, вырвался на миг, успел намертво сцепить пальцы перед грудью (спасибо дяде Юозасу, обучившему когда-то этому приему!), — теперь ломайте руки, изверги! Если сумеете…

Но их много, они тоже многое умеют и могут — все так же злорадно скалясь, городовой Карасев стремительно вбивает в беззащитное лицо Иосифа свой кондовый кулак…

8. НЕПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО!

Голос Черкасского давно был сорван, да и любой одинокий человеческий голос не пробился бы сквозь добросовестное тарахтенье «максимов» и неумолчный грохот гаубиц. Поэтому, увидев третью сигнальную ракету и заметив благословляющий взмах руки ротного, он не стал ничего кричать, а просто дунул что было силы в свой роговой свисток, притороченный тонким ремешком к портупее. Солдаты услышали знакомую трель и деловито полезли на брустверы. Он тоже выпрыгнул, споткнувшись правой ногой (дурное предзнаменование!), выждал, Убедился, что никто не отстал и не остался, привычно выхватил из ножен шашку и рванулся вперед в промокших легких сапогах, обгоняя свой тяжело бегущий взвод.

Взвод! Одно название осталось. Из «стариков», самых надежных, всего двое уцелели — Митрохин да Фомичев, недавно произведенный в ефрейторы. Вон они, как всегда, чуть впереди прочих, держась поближе друг к другу, выставив перед собой бывалые трехлинейки с гранеными иглами штыков. Фомичев бежит, не сгибаясь, лихо выпятив грудь с новеньким солдатским «Георгием». Рядом с высоченным ефрейтором Митрохин кажется приземистым, хотя сам по себе не ниже остальных. К тому же солдат еще и пригнулся, а плечи приподняв — скатка левое ухо закрыла. Его белобрысое скуластое лицо напряженно устремлено навстречу невидимой пуле и неведомой доле. Оба заприметили обогнавшего их взводного, первыми крикнули «ура!» — прочие подхватили.

Теперь Черкасский бежал впереди, не оглядываясь, уверенный в своих людях. То и дело взмахивал тяжеловатой шашкой, подбадривал, звал за собой. Только для того и нужно было ему сейчас это созданное для смотров и столь неудобное в пешей атаке нарядное оружие. Рубануть шашкой живую плоть прапорщику еще не доводилось, в рукопашной надежнее был наган — загодя расстегнутая и сдвинутая вперед кобура в случае чего под рукой.

А шашка вдруг выдернулась из ладони да взвилась, блеснув, полетела бог весть куда в поднебесье. За ней вослед взвился и полетел невесомо Черкасский — так ему почудилось, на самом же деле он просто упал, ударившись о землю только что пробитой правой кистью…

Очнувшись, он услышал тишину и увидел над собой, на фоне блеклого неба, тонкий вороненый штык, а поближе — лихие усы Фомичева, прищуренные глаза Лютича, озабоченное лицо ротного

фельдшера.

— Где взвод? — произнеслось тише, чем старался, как бывает в тяжком сне.

Увидел, как раскрылся под ефрейторскими усами рот. Но ответа не услыхал. Потому что в тот самый момент фельдшер щедро плеснул в развороченную кисть прапорщика настойкой йода, и сознание, спасая от нестерпимой боли, тух же снова покинуло его. Черкасский не почувствовал, как расстегнули на нем гимнастерку — послушать сердце. И как раз там, где лучше всего прослушивается биение, фельдшер обнаружил сложенный листок помятом бумаги. Тогда проявил особый интерес подпоручик Лютнч: должно быть, письмецо от невесты?

Впрочем, нет. Насколько бдительному подпоручику было известно, невесты имеют обыкновение писать письма посредством собственных нежных пальчиков, измазывая оные чернилами. А здесь, однако, типографский шрифт…

«Господа офицеры!

Постыдная трусость перед начальством и боязнь за свою карьеру — вот что делает вас недругами народа. Наберитесь же не только воинского, но и гражданского мужества! Защищайте свой народ, помогайте ему вооружаться и организовываться для восстания, готовьтесь выступить его военными вождями в последних решительны к битвах!»

Эх, прапорщик, прапорщик! Как же это непредусмотрительно, как легкомысленно — идти в дело, имея при себе такую бумаженцию!

9. КОНЕЦ ЗИМЫ В ПОДОЛЬСКЕ

Огражденные стеной корпуса завода «Зингер». Два корпуса новых, сплошь в стекле, один повыше, другой пониже. За ними — угловые башни старого корпуса, похожего на крепость. Далее — еще корпус, под двускатной кровлей, и еще строения… Высоченная труба коптит серое небо. Порывы студеного ветра рвут в клочья черный дым, взвихряют снег на пустыре и крышах. Последние судороги обреченной зимы…

В ночь на 28 февраля вернулся из Москвы посланный за новостями представитель подольских большевиков. И сразу после утренних гудков по цехам заводов «Зингер» и «Земгор» пролетело в шапке-невидимке будоражащее слово: «РЕВОЛЮЦИЯ!»

Пошла по рукам только что доставленная из Москвы свежая листовка! «Товарищи, бросайте работу! Солдаты! Помните, что сейчас решается судьба народа! Все на улицы! Все под красные знамена революции!»

— Революция, товарищи! Слышите?! — Иосиф, опшалев от радости, метался по цеху меж станков, хватал инструментальщиков за плечи, тормошил. — В Петрограде революция! В Москве революция!

— Кончай работу! Все — во двор!

— Бросай работу, ребята, выходи!

Оборвался гул машин. Тихо стало, непривычно. Но тут же — конец тишине, снова возгласы:

— Все — во двор! Все — под красное знамя революции!

Скинута шапка-невидимка — слово теперь не только слышится, но и видится. Всем. Всюду. Во всем.

Тысяч семь собралось к исходу утра на площади у главной конторы, здесь и зингеровцы и земгорцы. Над толпой — пар дружного дыхания, над трубой — ни дымка, труба не дышит.

Приволокли дощатый ящик — стук-постук молоточком! — и трибуна готова. А ведь прежде — никаких трибун, Иосиф выступал здесь еще в дни той осенней стачки, взобравшись на пожарную лестницу, что у стены, — рассказывал про предательство, про облаву, про городовых… В тот раз рабочие победили все же: Диксон уступил — дал прибавку к зарплате, никого не уволили и всех арестованных выпустили. Знать, чуяли, что недалек час. Вот он и настал!

На трибуну-ящик полезли желающие, один за другим. Орали кто во что горазд.

— Свобода, товарищи! — срывался в рыдание голос одного. — Свобода, дорогие! Долгожданная! Да здравствует

Учредительное собрание!

«Эсер, наверное», — подумал Иосиф.

— Главное, чтобы без кровопролития, — подчеркивал другой. — Главное, чтобы бес-кров-но. Да здравствует бескровная революция!

Этого Иосиф знал: из меньшевиков. И, нетерпеливо стремясь ответить, тут же взобрался на ящик, кашлянул — прочистил горло, — о удовлетворением ощутил, как громко звучит голос.

— Товарищи! Сейчас здесь передо мной выступали эсер и меньшевик, Провозглашали здравицу Учредительному собранию, революции. Бескровной притом. Но почему-то ни слова не сказали о своем отношении к той кровавой бойце, в которую мировая буржуазия втравила народы…

— Скажи ты! Кто не велит?

— Уже говорю! Не первый раз говорю. Большевики давно сказали свое слово о войне. А меньшевики и эсеры? После девятьсот пятого они тяв-тяв — и в кусты! Потом то и дело ставили палки в колеса революционному движению, путались в ногах. А теперь, когда царю дают по шапке… по шапке Мономаха… теперь они снова за революцию? Теперь они снова, видите ли, с рабочими, с народом! Так пускай выскажутся, как они относятся к войне. Тем более что они за бескровную революцию…

— Да, за бескровную! — с вызовом крикнули из толпы.

— А кто, собственно, жаждет крови? — отозвался Иосиф. — Кто среди нас кровожаждущий? Кто? Нету здесь таких! Но если вынудят… что ж, и крови не испугаемся. Не из пугливых. И вкус своей крови во рту нам знаком. И не пристало нам страшиться красного цвета, цвета наших знамен! Пускай враги страшатся!..

Одни аплодировали, другие кричали что-то, третьи отмалчивались.

— Братцы! — будто подхлестнутый, выскочил на трибуну после Иосифа анархист с «Земгора», подбросил шапку, поймал, снова подбросил. — Товарищи! Долой тиранство распроклятой царской власти! Да здравствует свобода и ренолюция! Ур-ра!

Многие охотно поддержали земгорца, покричали «ура!».

— Даешь свободу слова! Даешь свободу печати и собраний! Долой самодержавие!

А о войне опять ни гу-гу! Зато все без исключения — за свободу и революцию… — Да здравствует…

— Ура-а-а-а!!!

Иосиф, простоволосый — густая шевелюра заменяла шапку, — снова взобрался на трибуну. Наговорил без крику, деловито, но и не слишком тихо, чтобы всем слыхать было:

— Товарищи! Революция еще только начинается. Не дайте себя обмануть…

— Кто нас теперь обманет? Не те времена!

— Сами с усами!

— Не дайте себя обмануть, — упрямо повторил он. — В истории не раз случалось, когда у народа обманным путем отнимали плоды его побед. Помните, товарищи, революция только начинается. А вот войну пора кончать. Чтобы навсегда конец войне, будь она неладна! Нам, рабочим, война эта ни к чему…

— Верно, товарищ! — поддержал кто-то из земгорцев. — Долой войну!

— До победного! — одиноко и хрипло крикнули с другого края. — До победного конца!

— За Р-ру-усь! — исторично завопила там же.

— Вот и шел бы в окопы, — кинул в ту сторону Иосиф, покидая трибуну-ящик. — А здесь чего зри глотку драть?

Сказал не так уж громко, но там услышали — тот же хрипло тотчас откликнулся:

— Ты, длинноносый! Немцу продался?! За сколько сребреников купил тебя кайзер?

Шумок в том краю толпы вспыхнул и погас. Крикуны угомонились. И — звонко, распевно, как строевая команда:

— По цеха-ам… р-раз-берись!

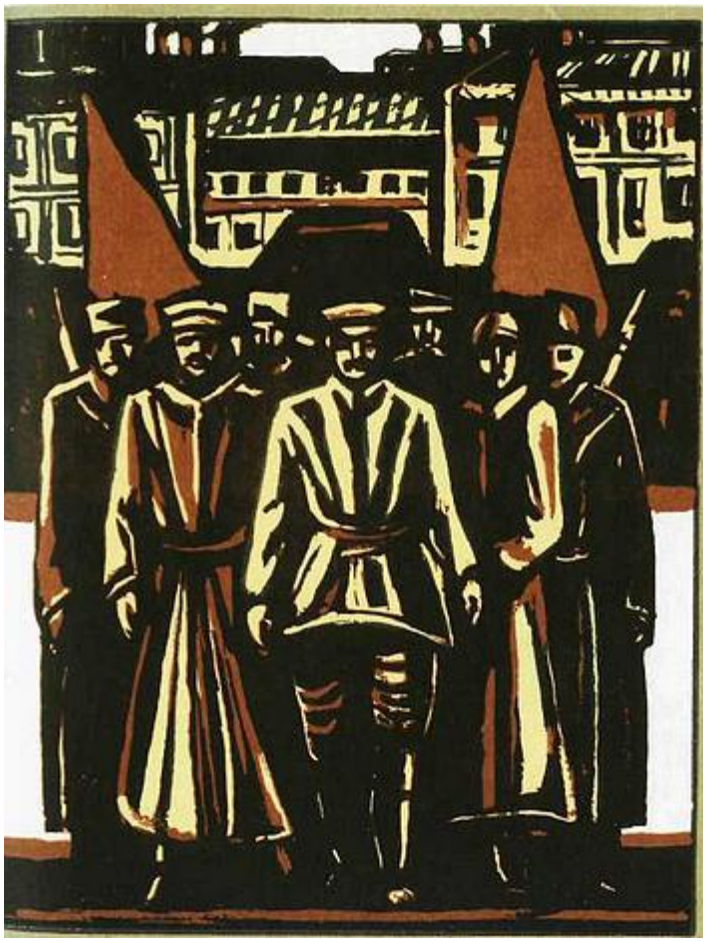
— А чего разбираться-то? И без того цеховики не врозь.

— Тихо, товарищи! — послышался голос Чижова. — Московское областное бюро ЦК РСДРП призывает всех нас выбирать в Совет рабочих депутатов. Пускай каждый цех выберет своих представителей. Прямо сейчас. Прямо здесь, на дворе.

Приступили, теперь без суеты. И — дивное дело — никто не разгонял, не хватал и не бил. Митингуй, выступай, выбирай — пожалуйста. Никаких помех. Уж не во сне ли такое?

Иосифа радовало, что видел среди избранных: Чижова и Мурзова, Зотова и Широкова, Матрозова, Бурова, Карпова… Бунгша и Эвальда… — все свои, знакомые, надежные. Но тревожило, что вместе с большевиками в избранном Совете оказались также меньшевики, эсеры, анархисты — с этой публикой его душа никак не могла примириться. Припомнились слова любимого баснописца: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет…» Понял, что затевать сейчас межпартийную усобицу означало бы заведомо погубить дело в самом его начало. А ведь, когда выступал с трибуны-ящика, задирая меньшевиков, эсеров и прочих, сгоряча не подумал об этом. Теперь, спохватившись, он приказал себе сдержаться, не

проявлять своих чувств прежде времени и не к месту. Он не собирался уступать, нет. Но — оставаясь непримиримым — не раскрываться безответственно…



Мороз, однако, никакой революции признавать не желал. Хотя и обреченный теперь, в самом конце февраля, а упрямился — за компанию с царем… Посему решено было на морозном ветру без нужды не мерзнуть и разойтись наконец хотя бы по цехам. К работе же пока не приступать и ждать, что решат только что избранные депутаты.

Депутаты же, сотни полторы от обоих заводов, от всех цехов, собрались в рабочей чайной. На всякий случай выставили караульных у дверей, мало ли что… Перво-наперво решили не терять связи с Москвой. В подобных случаях связь — дело важности первостепенной, ответственнейшее, не всякому доверишь, Послали в Москву на сей раз Мурзова и Яковлева, оба товарищи надежные.

Затем принялись решать, как быть с солдатами. Их там девятьсот серых шинелей при снарядном заводе. И, как выяснилось, работу сегодня они не бросили, на общем митинге не присутствовали, Дескать, не смеют нарушать присягу. Правда, тайком от своего начальства передали, что против рабочих ни в коем разе не пойдут. Что ж, оставалось лишь принять это к сведению. И на том, как говорится, спасибо.

Еще один вопрос предстояло решить: насчет демонстрации. Мирной, разумеется. Чтобы пройти всем рабочим по Подольску, организованно, сегодня же.

— Что скажете, товарищи?

— Не откладывать в долгий ящик.

— Так и решим. Сейчас все разойдемся по своим цехам, позовем рабочих, построимся и…

— А если полиция? — спросил Иосиф.

— Да, надо быть готовыми к любому повороту. Придется разъяснить рабочим, как вести себя в случае нападения.

— Пусть Варейкис и займется этим делом, опыт у него уже есть.

— Все займемся. А у Иосифа нос-то после карасевской ласки еще длиннее стал.

Варейкис парировал:

— Главное, чтобы в сторону не свернулся…

Двое городовых, которые, как всегда, все еще стояли на посту у заводских ворот, завидя приближение из глубины двора несметного множества людей, благоразумно и своевременно скрылись в сторожке: там все же потеплее и вообще…

Не бывало еще подобного в Подольске.

Семь тысяч рабочих, ряд за рядом, бодро и решительно двигались от заводов к центру города. Впереди, соединявшись руками, шли вожаки-депутаты — полторы сотни — от «Зингера» и «Земгора», от каждого цеха, свободно и честно избранные. Шли первыми, подставляя открытые лица неласковому февральскому ветру, беря на себя ответственность за судьбы тех тысяч, которые им доверились. Иосиф был с ними.

Смело, товарищи, в но-огу!
Духом окрепнем в борьбе-е…

Прошагали по Рабочему переулку, свернули налево и, пройдя по Вокзальной, вышли на Большую Серпуховскую. Здесь решились и подняли над передовой цепью красное полотнище —

оно забилось, вступив в поединок с холодным ветром. Древко неспокойно дергалось в крепких ладонях знаменосца.

Мы пойдем в ряды страждущих братии,
Мы к голодному люду пойдем;
С ним пошлем мы злодеям прокля-атья,
На борьбу мы его позовем…

Скрывались за дверьми лавок встревоженные городовые, не решались оставаться на постах: плетью обуха не перешибешь…

С Большой Серпуховской — через Почтовый переулок и Зеленовскую — вышли на площадь перед собором. Здесь остановились и открыли митинг. Снова шумели ораторы, будоража души непричесанными речами. Выкрикиьали лозунги:

— Вес силы на дело свободы! Да здравствует республика!

— Долой войну!..

Живые голоса человеческие отдавались чутким звоном в замерзших колоколах — там, высоко под куполами, на вечном сквозняке времен.

— Товарищи! Сейчас мы все! Организованно и спокойно! Разойдемся по своим домам! А завтра по гудку! Все по своим цехам! Все по своим местам! К работе не приступать! Ждать решения депутатов!..

Циферблаты часов показывали четыре часа пополудни. Депутаты вновь собрались все в той же заводской чайной. Заседали допоздна.

К вечеру стало известно, что в Москве началась всеобщая забастовка. К центру древней русской столицы отовсюду стекаются колонны демонстрантов под красными знаменами. Введено осадное положение, но гарнизон переходит на сторону демонстрантов, по улицам разъезжают грузовики с вооруженными солдатами и младшими офицерами, примкнувшими к революции.

— Что будем делать, товарищи подольчане? Поддержим?

— Уже, можно сказать, поддерживаем.

10. НАЧАЛО ВЕСНЫ

В следующую ночь февраль сдал пост, развернулся по уставу через левое плечо и, вдалбливая четкие шаги в податливый снег, уплел в Историю, уводимый Временем-раяводящим. Март, принявшим пост, взял винтовку на ремень. На штыке — флажок красный.

Прогудел первый мартовский гудок. Зингеровцы и земгорцы, собравшись по цехам, к работе не приступали, ждали решения депутатов. А те — еще в шесть утра — собрались на заседание Совета.

— На повестке дня два вопроса: результаты переговоров с солдатами «Земгора» и разоружение подольской полиции. Слово предоставляется товарищам, проведшим переговоры с земгорскими офицерами и солдатами.

Чижов доложил:

— Офицеры, понятно, сперва замялись. Но в конечном счете приняли наши предложения. И оружие сдали. Работу свою на заводе они пока прекратят. Выступлению солдат на нашей стороне препятствовать не станут.

— А сами солдаты что? — спросил Иосиф.

— Пришлют к нам в Совет четверых делегатов — Квитко, Висящева, Воронова и Голубева. Для начала…

Заседание оживилось:

— Теперь дело пойдет!

— А чтобы дело пошло, — предложил Иосиф, — не будем просиживать штаны и терять время…

И, не теряя времени, отправились брать оружейный склад. Обнаружили там семьдесят пять винтовок и боеприпасы к ним. Раздали тем, кто умел владеть оружием и собой. Теперь можно было заняться полицией.

Вывели из цехов рабочих, построили все на том же вместительном дворо, у главной заводской конторы. Но тут услышали приближающийся мерный топот сотен сапог. Иосиф насторожился: неужели прислали карателей?

— Спокойно, товарищи! — предупредил он. — У кого есть оружие, приготовиться! Без команды не действовать! Главное — выдержка…

Тем временем из-за угла корпуса показались ровные ряды серых шинелей. Над светлыми папахами — темные штыки.

В напряженной тишине послышалась команда. Колонна четко притопнула и — раз-два — встала, Первая шеренга раздалась, пропуская вперед солдата.

— Да это же Голубев! — воскликнул, приглядевшись, Чижов. — Это же делегат солдатский. Нашего полку прибыло!

Солдат подошел к не убранному еще со вчерашнего дня ящику-трибуне, ловко взобрался и повернул к притихшей толпе веселое раскрасневшееся лицо.

— Товарищи рабочие! Мы, солдаты снарядного завода, прибыли, чтобы примкнуть к вашим революционным рядам…

Неистовое «ур-р-ра-а-а!!!» прервало его. В этом ликующем кличе сказалось все — и облегчение после недавней тревоги, и радость единения, и неведомое прежде, непривычное ощущение своей неодолимой силы.

Когда затихли, солдат продолжал:

— Мы примыкаем к вам, потому что мы такие же рабы самодержавия. Я заявляю вам от лица этой массы, одетой в серые шинельки… Нас здесь восемьсот штыков… Нашего брата посылали на позиции, нам говорили «иди и защищай отечество». Мы шли и защищали… Так я заявляю, что с этой винтовкой, — тут он потряс своей трехлинейкой, — да, с этой же винтовкой солдат может защищать не только свое отечество, но и свою революцию!

И снова неистовый, ликующий, долго не смолкающий клич над площадью.

Иосиф кричал «ура» вместе со всеми. Казалось, не хватит голоса, не хватит дыхания… Он оглянулся, увидел рядом с собой столько знакомых лиц. Вот пенсне чубатого Чижова. Кольман в заячьей ушанке. Мурзов, курносый, ясноглазый, весь в движении… Не выдержал Иосиф, полез на ящик, с которого только что соскочил солдат.

— Товарищи! Прекрасные слова сказал с этой нашей трибуны товарищ Голубев, Мы верим, что так же думают и все явившиеся с ним солдаты. Мы приветствуем их в наших революционных рядах!

Взглянул на суровый, однотонный солдатский строй — увидел веселые зубы на обветренных лицах, Хватанул холодного воздуха, продолжил:

— Обреченная мировая буржуазия втравила трудящихся в кровавую бойню. Как говорится, мертвый хватает живого. Но что дает нашему брату война? Ничего, ровным счетом ничего! Кроме гибели и разорения, А что она дает эксплуататорам? Новые прибыли! Вот почему наша революция должна быть направлена против войны, против тех, кто жиреет на крови народа!

— Верно! — откликнулись голоса из солдатских рядов.

— Так точно!

И чей-то истеричный взвизг:

— Поражения России желаешь?! Христопродавец!

— Не поражения России! — загремел Иосиф, его синие глаза сверкнули. — Не меньше, чем тебе, крикун, мне дорога Россия! Не ее поражения..! А поражения ее правителей, которые меньше всего заботятся об интересах своего народа. Их заботит только собственное сверхблагополучие, Они, нынешние правители России, хуже всякого внешнего врага…

— Уж это точно! — снова поддержали солдаты.

— И еще, товарищи! — голос Иосифа срывался, но его слушали. — Наши классовые враги рассчитывают перессорить меж собой рабочих разных стран. Они хотят заставить нас убивать друг друга и не трогать тех, кто паразитирует на нашем труде. Втравливая нас в эту бойню, они рассчитывали, что тем самым обеспечат свою безнаказанность, а нас обескровят и еще туже скрутит. Они просчитались! Народ, получивший в свои руки оружие, теперь знает, против кого это оружие направикть!

И снова «ура!» И новые ораторы на ящике-трибуне.

Невесть когда и откуда появившийся духовой оркесгр грянул «Марсельезу». Как только не примерзнут губи трубачей к холодной меди? Знать, живое дыхание сильнее последних морозов…

И, по-вчерашнему построившись, тем же путем — но на сей раз под музыку и вместе с солдатами — двинулись в город. И было их не меньше, чем вчера.

Устали трубачи — зазвучала песня:

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томи-ил,
Черные дни минова-али,
Час искупленья пробил!

Иосиф пел вместе со всеми. И думал: да, час искупленья пробил, но нелегкая борьба еще впереди… Надо уметь радоваться и надо уметь не терять головы от радости. Чтобы не загубить дело недопустимой беспечностью.

Теперь шагали по Думской улице, к Базарной площади. И увидели, что навстречу бежит, размахивая револьвером и шашкой, старик в мундире. Когда приблизился, узнали урядника Дубровицкого, прозванного Домовым.

— Господа! — кричал он, задыхаясь. — Господа! Я старый дуралей!.. Тридцать лет служил государю верой и правдой… А теперь… теперь я отказываюсь! Вот мое оружие, господа,

возьмите…

Слезы текли из его воспаленных глаз — быть может, от мороза, у стариков такое часто случается.

Шедшие впереди депутаты, добродушно усмехаясь, приняли у Домового револьвер и шашку.

— А мне куда же теперь? — спрашивал разоруженный урядник, не заботясь утереть слезы. — А как же я, господа?

— Пристраивайся, — посоветовал кто-то весело. — К колонне нашей пристраивайся, с нами не пропадешь!

— Слушаюсь! — ответил вполне серьезно растерявшийся старик и поспешил в хвост колонны.

Свернули с улицы за угол на площадь, выстроились перед фасадом побеленного двухэтажного здания, где помещалось полицейское управление. Впереди — с оружием на изготовку, позади — безоружные.

У парадного входа стоял в безнадежном одиночестве старший городовой Карасев, при кобуре и шашке. На шинели — кресты, то ли впрямь за ратные подвиги, то ли… Этого в колонне помнили многие, не только Иосиф. Зароптали, не суля давнему знакомцу ничего доброю. Иосиф сжал кулаки и, обращаясь не только к другим, но и к себе самому, в который раз предупредил:

— Выдержка, товарищи, революционная выдержка!

Из первой шеренги вышли трое — один посередине с наганом, двое по бокам с винтовками наперевес — и направились к городовому:

— Сдавай оружие!

Карасев как окаменел. Подкрученные усы бурели на побледневшей физиономии. Так и не шевельнулся, пока снимали с него портупеи, отстегивали шашку и — заодно уж! — сорвали погоны и награды, бросив их небрежно под ноги, на истоптанный снег.

В окне полицейского управления тем временем открылась форточка, оттуда потянуло белым паром. За побеленными морозом стеклами не видать было, есть ли там кто внутри. Но не сама же форточка открылась.

— Эй, там! — крикнули из колонны. — Сдавайтесь!

Никакого отклика.

— Сдаетесь или нет? Последний раз спрашиваем!

Молчание.

— Слушай команду, товарищи! Приготовиться к штурму!

И тогда из форточки раздались голоса:

— Сдаемся!

— Сдаемся! Сейчас все выйдем…

Двери парадного растворились. Первым в них показался

уездный исправник Цветков — собственной персоной. За ним — околоточный надзиратель Зубков, следом — городовые, стражники…

— Господа! — заявил с порога исправник. — Мы верно служили царю и отечеству. Мы готовы так же верно служить народу и отечеству. Мы приветствуем демократическую революцию и примыкаем к народу…

— Оружие сдавайте!

— Извольте, господа, извольте…

Все оружие подольской полиции было тотчас сдано рабочим. Беспрекословно. Без единого выстрела.

У Иосифа отлегло. Неудержимо захотелось сделать что-нибудь этакое, озорное. Незамедлительно! Умял в ладонях плотный снежок, швырнул в свисающую с карниза сосульку — попал, сшиб.

— Мальчишка! — засмеялся Чижов и — чего от него уж никто не ожидал — запустил снежком в Иосифа.

Над Подольском, над Москвой, над Петроградом, над вознесшимися к небу дворцами и храмами, над вросшими в землю избами и хатами, над зарывшимися в землю дивизиями, над всею необъятною Российской империей ветер — пока еще студеный, но все-таки уже весенний — разносил, вперемешку с последними снегами, нечто прежде неслыханное:

> «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.
>
> Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно с славными нашими союзниками может окончательно сломить врага, В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть…

Да поможет господь бог России.
Николай.
2-го марта 1917 года, 15 часа, в гор. Пскове.
Скрепил министр императорского двора Фредерикс».

— Бо-оже, от царя храни-и!
— Не кощунствуй, дур-рак! В зубы дам!
— А пошел ты…

11. КАРЬЕРА МУРАВЬЕВА

Оно, конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать маршалом. Иные, бывало, все же умудрялись пройти долгий и нелегкий путь от солдата до маршала. Известно также, что «маленький капрал» скакнул — с непревзойденной скоростью и дерзостью — в великие императоры. Такое, согласитесь, не часто случается.

Что же касается капитана Муравьева, то в императоры он покамест не торопился. Тем паче что столь высокий титул в России только что был…. ну, мягко говоря, упразднен. И все же…

А складывалась карьера Михаила Артемьевича Муравьева поначалу хотя и не как у большинства, но кае у многих.

Он не принадлежал ни к одной из ветвей многовекового родословного древа дворян Муравьевых, давших российской истории немало представителей, одни из которых прославились верноподданнейшими чувствами, другие, напротив, делами крамольными. Выходец из крестьян Костромской губернии, Михаил Артемьевич стремился во что бы то ни стало вырваться из своего круга, пробиться в «верха». Удалось поступить в духовную семинарию. Окончил ее успешно, однако какого-либо призвания к миссии священнослужителя в себе не ощутил — влекло иное, мирское, суетное. Вместо рясы надел мундир с погонами и за год до начала нового, двадцатого века вышел из стен Казанского юнкерского училища — теперь не серым крестьянским сыном, а блестящим представителем офицерского состава. Позднее — после службы в 1-м пехотном Невском полку — он вернется в знакомые стены родного училища уже в должности курсового офицера.

Двадцати четырех лет от роду Муравьев принимает первое боевое крещение на сопках далекой Маньчжурии, проявляет себя не трусом и спустя несколько лет попадает на германский фронт уже бывалым, обстрелянным. Фуражка набекрень, грудь в боевых наградах, румяные щеки выбриты, усики подстрижены, темные глаза сверкают отвагой — за таким «отцом-командиром» солдаты пойдут без опаски. Дамы млели, заглядываясь на «душку-военного». Мальчишки пытались подражать его походке и жестам. Господа офицеры отдавали должное доблесгям бравого капитана Муравьева и принимали к сведению исключительную вспыльчивость его характера, подозревая в ней проявление столь нередкой на Руси примеси южных кровей, но многое прощали, поскольку забияка был отходчив и умел грубоватой армейской шуткой внезапно разрядить им же только что накаленную

атмосферу.

Таким и застал нашего капитана год семнадцатый. Что и говорить, не все русские офицеры одинаково восприняли происходящее. Ну, а Муравьев?

Живым и гибким рассудком, всей своею темпераментной душой он, удивляя многих однополчан, принял революцию не только безболезненно, но даже, можно сказать, с энтузиазмом. Что тут сыграло роль? Подсознательное ли влечение к новым веяниям, осознанное ли упование на открывшиеся возможности проявить себя и выдвинуться в изменившихся обстоятельствах? Пожалуй, и то и другое. Сам Муравьев не утомлял себя чрезмерно подобными вопросами. Не было времени для самоанализа и рассуждений, настала пора решительных действий, и упустить такой момент было бы, с его точки зрения, попросту непростительно.

Он только успел подумать о том, что, если бы капитан Бонапарт в переломном и решающем для себя тысяча семьсот девяносто третьем году предавался бесплодным переживаниям, сомнениям и колебаниям, он не взял бы Тулона и не был бы тут же произведен в генералы. И более столетия спустя никто, в том числе и капитан Муравьев, не вспоминал бы о Наполеоне-генерале, Наполеоне — первом консуле, Наполеоне-императоре…

Теперь солдаты не столько воевали, сколько митинговали. Капитан Муравьев — всегда с ними. Сегодня капитан, а завтра — кто ведает?.. Революции нуждаются в полководцах и рождают полководцев. А полководец без войска, как известна, пустое место, дырка от бублика. Значит, надо быть заодно с солдатами. Но, разумеется, без панибратства.

— Солдаты! — обращался он к ним. — Вы меня знаете, и я вас знаю. Вы храбро шли на смерть, когда я: вынужден был посылать вас навстречу смерти. Посылать и вести! Да, вы знаете, ваш капитан сам шел вместе с вами и не прятался за ваши спины. А сегодня всем нам засветил пробившийся сквозь мглу порохового дыма яркий луч великого солнца свободы. Наши души переполнены, ищут выхода в горячем, идущем от сердца слове. Никто не имеет права, никто не смеет лишать солдатскую душу голоса. Да здравствует право голоса! Пусть каждый говорит так же смело, как смело шел он в штыковые атаки!

Солдаты говорили. Впервые в истории русской армии говорили вволю, без опаски. Неумело и яростно. И капитан Муравьев не оставался в стороне от разговора.

— Люди от пули гибнут, — гудел неторопливым шмелем сумрачный бородач в потертой папахе. — А кони с голодухи дохнут. На дохлых конях снарядов не подвезешь. А нету подвоза

снарядов, то нечем заряжать орудия. Вот отчего молчит артиллерия. И мы, пехота, идем на немца без артиллерии. Идем не на выбритые позиции противника, а на собственную верную погибель. Одно остается — заройся в землю, как крот.

— Не только от немца гибнем, братцы! Вши нас губят, совсем эаели. Не только у коней ребра торчат. Мы вроде тоже жиров не нагуляли. Два фунта хлеба и то не каждый день, и то с соломой…

— А откуда хлебу взяться, ежели сеять его и нечем и некому? Из дому вон пишут, мужиков на селе вовсе не осталось. Три года толчемся здесь, конца-краю не видать…

— По домам пора! Землю поделим да засеем, тогда и хлеб на Руси будет.

— Говорят, в самом Питере и то голодно.

— Кому голодно, а кому и сытно, — заметил изможденный солдат с лицом шинельного цвета. — Толстопузых на нашу шею везде хватает. Была бы шея, а хомут найдется! Я бы всех этих… которые на учетах скрываются да в штабах и канцеляриях… всех бы в окопы загнал, нам на смену. Пускай порастрясли бы жирок-то. Это ихнему брату, может, война нужна, а мы навоевались, будя!

— Ты что же это мелешь, дядя? Разве они, жирняги эти, удержат немца? Россию загубить желаешь?

— Да хватит стращать нас немцем! — огрызнулся тот. — Свои паразиты хуже всякого немца. Ихняя Россия пущай себе гибнет, а мы свою, новую, построим. И соблюдем. Без них! Не впереди наш враг, а позади, в тылу…

— А ты не большевик ли часом? — вмешался Муравьев, чувствуя, как исподволь поднимается в нем гневный протест против этой явно затянувшийся болтовни.

— Нет, господин капитан, не большевик я. Фронтовик я.

— Фронтовик, говоришь? — Муравьев уперся в солдата загоревшимися глазами, злобно оскалился. — Так и я, между прочим, не тыловая крыса! И я тебе так отвечу на такие речи… Перед лицом собравшихся здесь солдат, боевых моих товарищей… Отвечу! Не знаю, большевик ты или кто там еще. Но дезертир и провокатор, это факт! Расстрелять бы тебя, сукиного сына, за такие речи…

— Полегче, ваше благородие! — предупредил чей-то недобрый голос. — Теперича не царский прижим.

— Что-о?! — Муравьев вскинул подбородок, Но тут же почуял, что надо иначе. Как в бою: делай не то, чего ждет от тебя противник. Солдаты возбуждены до крайности, они ждут от него привычного офицерского окрика — и тогда… Нет, их надо ошарашить чем-нибудь этаким…

И он ошарашил. Внезапной снисходительной усмекой. Негромким, почти ласковым голосом:

— Во-первых, никакое я не благородие. И никакой не господин. А просто гражданин. Или товарищ, как кому больше нравится. Эх, братцы, не привыкнем никак!.. А во-вторых, посудите сами. Толковали вы тут верно, насчет всяких безобразий. Ведь я, братцы, отчего взвился? Что мое душу взбаламутило? Заявление, будто враг — не перед нами. Но скажите на милость, разве германцы увели свои войска? Ушли с наших исконных земель? Но стреляют больше в нас, а? Разве они скинули своего Вильгельма, как мы — Николая?

Солдаты притихли растерянно, внимали непривычным речам. Муравьев же, тотчас приметив перелом и ощущая знакомый сладкий вкус успеха, продолжал все горячей и громче:

— А знаете ли вы, братцы, что кайзер Вильгельм Второй — мать его так и этак! — еще в пятом году помогал Николаю Кровавому удушить первую русскую революцию? Что ж, давайте покинем наши позиции? Завтра же! Откроем фронт и — кто куда, по домам, к бабам на печки? Откроем фронт, откроем дорогу немецким дивизиям, дадим Вильгельму возможность удушить и потопить в морях крови новую русскую революцию? Что? Думаете, он не посадит нам на шею ничтожного Николашку с его немецкой супругой? Здесь один из вас верно сказал, что была бы шея, а хомут найдется… И насчет царского режима было тут сказано. Так вы снова желаете его, так, что ли? Этого желаете вы? Что молчите? Язычок проглотили? Хотите пособничать Вильгельму и Николаю? Отвечайте!

— Да что вы, госпо… гражданин капитан? Да кто из вас такое говорит?

— Кто? — Муравьев вытянул руку в сторону давешнего солдата с серым, как шинель, лицом. — Вот этот! Большевик он или меньшевик, шпион немецкий или просто дурак, сами разберетесь, без меня. А я говорю, как думаю. Свобода слова — она для всех. И если вам отныне дозволено свободно высказываться от всей души и чистого сердца, то отчего же мне нельзя?

Некоторые засмеялись, отзываясь на последние слова. Шутник капитан! Но кто-то возразил, упрямо и без робости:

— И вес же согласитесь, гражданин капитан, что и в тылу у нас врагов не счесть.

— До черта их в тылу! — согласился Муравьев. — Думаете, не знаю? Знаю. Но великая русская демократическая революция покончит с этими врагами, со всеми до единого! Для того она и свершилась. Для того и существует новая, народная власть…

— А нам отсель не видно, какая она, та власть. Народная или не народная.

— Точно! Может, хрен редьки не слаще.

— А мы здесь прозябаем без толку! Вся Россия нас худо-бедно, однако кормит да одевает. Кто мы есть? Были хлеборобы, стали хлебоясть…

— Хлебоясть, говоришь? — Муравьев снова не выдержал, вмешался. — А кто же будет Россию от врагов оборонять — и от германцев, и от доморощенных, тыловых? Только армия, больше некому! А вы… вы что же предлагаете? Распустить армию?

— Так ведь… как нам-то быть прикажете?

— Не прикажу, а разъясню, — маневрировал Муравьев. — Будем зорко следить за правительством, с винтовкой в руке. Где надо — поддержим. А в случае чего… скажем свое весомое армейское слово! Но и о германце не забывать. Ибо, повторяю, впустим германца — никакими своими внутренними делами заняться не сможем.

И тут — надо же, бесстрашный и настырный какой! — снова выскочил все тот же изможденный солдат с серый лицом. И опять за свое:

— Хватит стращать нас немцем, будя! Немец, он такой же крестьянин и такой же рабочий. Только лопочет по-своему да обмундирован иначе. И дел у него дома не меньше нашего. И кайзера своего он, глядя на нас, тоже скинет, дайте срок. И не полезет к нам тогда немец, своими заботами займется. А нам с вами тоже Босфоры и Дарданеллы ни к чему, Россия и без них велика…

— Велика Федора, да дура!

— Не обзывай Россию, прикладом схлопочешь!

Муравьев теперь помалкивал, не вмешивался больше, слушал перебранку, выжидал, Выждать подходящий момент и затем решительно действовать — вот его тактика, в бою, в полемике, в политике. Выждать и действовать! В такой тактике — гарантия успеха.

Солдаты продолжали митинговать и спорить меж собой.

— А я так понимаю, что надобно держать фронт, но в наступление не ходить. И требовать от Керенского, чтобы добивался замирения. А нет, так пускай сам в окопы идет.

— Керенского не трожь! Он жизнь готов за народ отдать! Он сам говорил, что на фронт пойдет…

Последние слова наивного солдата несколько развеселили Муравьева, даже не успел сдержать улыбки: представил себе фигуру Керенского в рукопашном единоборстве с рослым германцем. Ему доводилось видеть Александра Федоровича,

когда тот прибыл на их участок фронта. «Вождь революционной армии» оказался одновременно и сдержанным и порывистым. Муравьев и сам был таков, потому и почувствовал и понял этого человека в модном френче и галифе, с нездоровыми глазами и короткой стрижкой. Близкого по духу человека всегда легче почувствовать и понять. Пожалуй, надо будет при первой же возможности обзавестись таким же френчем и подстричься так же — под ежика… А жестами новый вождь напоминал Наполеона, хотя в остальном, особенно внешне, был совершенно иным, Получится ли из него российский «первый консул»? Время покажет… Говорил же Керенский складно и зажигательно — юрист, как-никак! Этому можно у него поучиться.

Таково было впечатление при той встрече. Вспомнилось, как, вдохновленные пламенной речью, несколько офицеров подхватили Александра Федоровича, понесли на руках. Муравьев на миг испытал желание принять участие, но увидел, что места для него там не осталось, а бежать пристяжным или где-то в хвосте ему претило. Вот и наблюдал ту весьма трогательную сцену со стороны. Несомый офицерами Керенский улыбался, приветственно махал фуражкой. При том одно лишь покоробило Михаила Артемьевича: как не по-военному держал в руке свой головной убор новый кумир войска российского. Но покоробило всего на миг. Ибо вспомнил, что даже знаменитый византийский император Юстиниан Великий самолично ни разу меча не поднял, однако немало земель завоевать сумел. Потому что был у того императора такой полководец, как Велисарий.

Сей исторический экскурс породил в душе капитана Муравьева мысль предерзкую: а отчего бы не быть и при Керенском кому-то вроде Велисария? Так сказать, верный меч в руке российской революции… И чем не подходит для подобной миссии такой вояка, как Муравьев? Для начала…

Оказалось — подходит, вполне подходит.

Прошло совсем немного времени, отшумели первые солдатские митинги, ушли с фронта первые толпы дезертиров, а к фронту по всем дорогам России зашагала новая ратная сила, на которую решил опереться Керенский, — добровольческие ударные батальоны.

Шла по мощеной улице провинциального городка, мимо одноэтажных домишек под высокими зелеными деревьями, разнокалиберные добровольцы в поизношенных гимнастерках и фуражках — только что со складов, — через плечо скатки. Шли беспечно и нестройно, неся чуть: перекосившийся плакат:

«Товарищи!!

Присоединяйтесь в наш „Баталион смерти“ спасать

свободную Россию!»

В слове «свободную» была пропущена буква «н», читалось: «свободую»…

А по проспектам Петрограда чеканило шаг, не уступая строевой выучкой царским гвардейцам, совсем новое, небывалое в российской истории воинство: «Женский батальон смерти», личная гвардия Керенского, в состав которой он сам был зачислен «почетным ударником». То ли не приняли во внимание мужеский пол зачисленного, то ли припомнили кстати строку из песни: «Восемь девок — один я»… Бравые воительницы шагали слаженно, как в кордебалете, поднимая стройные ноги в сапогах и обмотках, дерзко вздернув нежные подбородки, в лихо сдвинутых фуражках на коротко остриженных головках. Новенькие гимнастерки до предела стянуты ремнями, на иных вскоре закрасуются Георгиевские кресты, а на иных расплывутся кровавые пятна… Здесь, в одном строю, в одинаковых одеждах, под строгим командованием прапорщика Бочкаревой шагали наивно-романтические выпускницы женских гимназий и грубовато-циничные жрицы любви из домов терпимости. Им, несостоявшимся женам и матерям, объединенным патриотическим порывом, но таким несовместимо разным, предстояло уживаться под одной казарменного крышей, в одних палатках и окопах… Было что-то противоестественное в этой доведенной до абсурда эмансипации…

Шагали и шагали к фронту добровольцы-ударники, батальон за батальоном.

А по тыловым городам двигались в четком строю юнкера-манифестанты, неся плакаты: «Война за свободу до победного конца!»

О какой, собственно, войне речь в данном случае? Понимай как знаешь…

Выслушав всевозможнейших ораторов, рвал на себе гимнастерку вконец запутавшийся Митрохин:

— Чего на войну взъелись? Через войну я, можно сказать, в разум вошел. А тут, окромя вшей, шпиёны развелись. Мутить нашего брата? Англичанин и хранцуз с нами, мериканцы за нас. Вот она, победа, поднажать только — и сомнем немца! А вы — нам нож в спину? Вильгельму спасаете от штыков русских? Долой шпионов!

Но почему-то помалкивал угрюмо ефрейтор Фомичсв, прежде такой словоохотливый. И — что удивительнее всего — подошел к Митрохину на своих гнутых ножках подпоручик Лютич, алея революционным бантом, взглянул побывало ласково и сказал так, чтобы всем было слышно:

— Молодец, Митрохин! Молодец, солдат! Лучше всех высказался. И если было когда что не так меж нами… то не со зла я, поверь! То треклятый царский режим калечил наши души.

Митрохин глядел на подпоручика, на его алый бант и бестолково моргал светлыми ресницами.

…А из глубины России движутся к фронту все новые и новые ударные батальоны. Вот она, свежая сила, идущая на смену переутомленным и разлагающимся фронтовым частям, реальная вооруженная сила, на которую можно рассчитывать и опереться в любом наидерзновеннейшем политическом мероприятии! Такие мысли будоражили неугомонного Михаила Артемьевича Муравьева, который будет вскоре назначен председателем «Центрального исполкома по формированию революционной армии из добровольцев тыла для продолжения войны с Германией». За особые заслуги в формировании ударных батальонов и в борьбе против разлагающих армию антиоборонческих настроений Керенский присвоит капитану Муравьеву звание подполковника.

12. ПОПРАВКА К РЕЗОЛЮЦИИ

Семьдесят шесть подольских большевиков собрались июльским утром, чтобы обсудить свои дела. Председательствующий Матрозов объявил весьма насыщенную повестку дня, секретарь Калнин приготовился вести протокол.

Иосиф сидел сосредоточенный, обдумывая свое предстоящее выступление и в то же время слушая других товарищей. Время для обдумывания еще оставалось: его вопрос был в повестке девятым по счету.

События последнего времени сами подсказывали, что предлагать и что делать. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что Временное правительство не имеет ничего общего с революцией, более того — враждебно ей. И, следовательно, должно быть лишено какой бы то ни было государственной власти. А разоблачать его надо с исключительной решительностью, до полной наготы. Временщики обанкротились буквально во всем. Куда ни ткни — всюду все расползается, как подгнившая дерюга.

Взять, к примеру, экономику. Ничего нового — повторялось то же, что было и при Николае: вся экономика страны подчинялась военным нуждам, это неминуемо приводило к необратимому процессу хозяйственной разрухи, и в результате сами военные нужды неизбежно не удовлетворялись. Образовался порочный круг. Временные горе-правители не выдумали пороха, пытаясь еще в марте выйти из этого порочного круга с помощью так называемого «Займа свободы».

«…Облигации сего займа выпускаются на 55 лет и погашаются по нарицательной цене, в течение 49 лот, тиражами, производимыми один раз в год, в декабре, начиная с 1922 года. До 16 марта 1927 года не будет приступлено к досрочному погашению ни посредством усиленных тиражей, ни путем конверсии или выкупа…»

Размахнулись: пятьдесят пять лет… сорок девять лет… экий, право, исторический оптимизм! А на каком основании, спрашивается? «Не будет приступлено» до двадцать седьмого года? Да вообще «не будет приступлено» — никогда! Ни «посредством усиленных тиражей, ни путем конверсии». Не то что до двадцать седьмого или до двадцать второго — до восемнадцатого года не просуществует такой заем! Потому что не просуществуют выпустившие его временщики, Иосиф убежден в этом.

На что же они рассчитывали? Хотел бы он знать… А на что

рассчитывают все им подобные — на обилие доверчивых. Доверчивость… она порождается природным свойством человека: в лихую годину не терять надежды на лучшее будущее, на удачу. Доверчивых в России хоть отбавляй. Только с каждым новым разочарованием их становится все меньше. И все больше появляется таких, которые начинают понимать: никакой добренький дядя не выручит, надо надеяться только на свои силы — на свои руки и глаза, на свой разум и свою волю. «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой…» А герои, между прочим, революции нужны, и она их породит. Непременно!

Во Временном правительстве что-то не видать героев. Керенский? Этот зачинщик злополучного июньского наступления? Он еще наломает дров, только дайте ему безраздельную власть, к которой он так откровенно рвется.

И теперь все эти неудачи пытаются свалить на большевиков?

Еще бы! Политическим банкротам всегда позарез требуется козел отпущения — лишь бы уберечь свою заживо гниющую шкуру.

Иосифу припомнилась нелепая, злая карикатура, которую он видел на днях в одном журнале. Некая мрачная фигура — на фоне светлого облака и серого силуэта Петронавловки. Поднят волосатый кулачище. В другой руке, прижатой к боку, — листы «Правды». По всей одежде — одно и то же слово: «долой», «долой», «долой»… Звероподобная морда громилы. И надпись: «Идеал большевика». Иосиф оглянулся, посмотрел на лица товарищей — нет, ни одно из них даже отдаленно не похоже на к изображенный зловредным карикатуристом «идеал»: разные лица у подольских большевиков, но все одинаково одухотворенные, с чистым, открытым взором. А вот на физиономию черносотенца, с которым Иосифу как-то пришлось не только словами переведаться, нарисованный монстр явно смахивает. Не исключено, кстати, что вскоре снова доведется столкнуться с ему подобными: денечки начинаются горячие…

Вспомнились недавние события июньского кризиса, уже второго за этот год политическою кризиса в России. Как не быть кризису, когда противоречия между рабочими и солдатами, с одной стороны, и буржуазией — с другой, становятся все более непримиримыми! Временное правительство затеяло наступление на фронте, чтобы отвлечь народ от революционной борьбы. А народ все настойчивее требует мира… В те кризисные дни на Первом Всероссийском съезде Советов большевики потребовали прекращения войны и передачи всей власти Советам. Но преобладавшие на съезде меньшевики и эсеры большинством голосов отклонили большевистские требования. Трудящиеся

массы возмутились пуще прежнего — забастовали двадцать девять петроградских заводов, рабочие и революционные солдаты собирались выйти на улицы. Однако — под воздействием меньшевистско-эсеровского большинства — съезд Советов демонстрацию запретил, и, чтобы не противопоставлять себя съезду, большевики сумели удержать рабочих и солдат от выступления. Ни легко ли удержать пар в котле, когда стрелка манометра перешла за красную цифру? Боясь потерять голоса избирателей, эсеры и меньшевики дали согласие на мирную демонстрацию — для возложения венков на могилы жертв Февральской революции, надеясь, что это будет демонстрация доверия Временному правительству. Они просчитались. Полмиллиона рабочих и солдат, буквально наводнивших улицы Петрограда, пошли за большевиками и потребовали: ХЛЕБА, МИРА, СВОБОДЫ! Над колоннами демонстрантов рефреном звучал большевистский лозунг: «Вся власть Советам!» И если к этому полумиллиону питерцев прибавить еще те тысячи и тысячи, которые под теми же лозунгами вышли в те жо дни на улицы Москвы, Минска, Иваново-Вознесенска, Твери, Нижнего Новгорода, Харькова… Иосиф понимал: это нарастает вторая волна революции! У него не было сомнений: пора! Пора устранять несостоятельных временщиков и брать всю власть в свои руки. Вся власть Советам!..

Голос Матрозова прервал ход его мыслей:

— Переходим к вопросу о политике наступления. Слово предоставляется товарищу Варейкису.

Он вышел, твердо зная, о чем и как говорить. Прежде чем начать говорить, он еще раз оглядел утомленные, но внимательные лица товарищей. И снова отметил, что ни одно из них никоим образом не похоже на ту морду громилы, изображенную в журнале как «идеал большевика»…

А после принимали резолюцию. И к третьему ее пункту Иосиф внес поправку, настаивая на недвусмысленной формулировке: «Немедленный переход государственной власти к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов». Поправка была принята лишь при одном голосе против. И этот единственный несогласный придал результатам голосования еще большую достоверность и убедительность.

13. ТРИЖДЫ ДРОГНУЛА ДУША

Подполковник Муравьев был разочарован. И не в ком-нибудь, а во вчерашнем своем кумире, в Керенском.

С чего же началось?

Да, в феврале армия ясно проявила свои революционные возможности. Иначе… все было бы иначе. Но нельзя все время митинговать и демонстрировать — функция войска не в этом. Взбаламученные части надо было успокоить. Надо было «замирить» армию внутри. С тем чтобы не допустить какого бы то ни было «замирения» вовне, том более что такая угроза была реальной, случаи братания на фронте участились, Бог свидетель, подполковник Муравьев сделал все, что от него зависело, чтобы «замирить» армию внутри и не допустить «замирения» с германцем. Он даже сделал более того. И не стесняется признаться в этом. Ложная скромность есть кокетство, а кокетство, как известно, не украшает мужчину. Мужчину украшают шрамы, знаки отличия и боевые награды. Всеми этими истинно мужскими украшениями Муравьев не обделен.

Припомнилось, как после февраля была создана при тогдашнем военном министре Особая комиссия, чтобы разработать новые уставы и положения для армии и флота. Комиссию возглавил генерал Поливанов… Припомнился и подписанный Гучковым приказ № 114 — «Об организации армии на новых началах». Откровенно говоря, эти «новые начала» мало чем отличались от старого конца.

Некоторую новизну пытался все же ввести Керенский, когда 11 мая подписал приказ об основных правах военнослужащих. Но Муравьев не забыл, как окрестили этот приказ солдаты, — «декларацией бесправия». А ведь Александр Федорович — юрист, мог бы так продумать текст, чтобы комар носу не подточил. Ну, пускай военный из него не получился, но хоть бы от его юридических знаний прок был!

Не было проку, не было, теперь у Муравьева на этот счет никаких сомнений. По сути дела, уже в июне все было ясно. Одно лишь могло тогда спасти престиж Временного правительства и поднять акции Керенского — ощутимая победа на фронте. В интуиции Александру Федоровичу не откажешь, он чувствовал и, возможно, даже понимал ситуацию, когда настоял на июньском наступлении. Михаил Артемьевич тогда еще верил в счастливую звезду этого взметенного на гребне исторической волны коротко остриженного человека в модном френче, с его воспаленным взглядом из-под утомленно набрякших век. Верил… но до чего же

скоро изверился!

А ведь задумано все было — не придерешься. В случае виктории — все лавры Керенскому. В случае конфузии — все шишки на его политических противников. Поддавшиеся на большевистскую агитацию и отказавшиеся наступать солдаты и офицеры были арестованы незамедлительно — это должно было вразумить остальных. И войска, вчера еще не желавшие сражаться «за веру, Царя и отечество», теперь готовы были снова идти в бой и драться до победы — во имя революции и скорейшего мира. Надо отдать должное эсерам — партии Керенского: они немало потрудились, обрабатывая солдатские мозги в сердца. Если бы военная сторона дела была так же продумана и подготовлена, как политическая!

Муравьев считал, что нельзя было основываться на планах, утвержденных еще в начале года, еще при царе. Надо, надо было внести поправки! Не внесли… Командующий Юго-Западным фронтом генерал Гутор, которого позднее сменил Корнилов, двинул на Львов — согласно все тому же старому плану — две армии — седьмую и одиннадцатую. Двинул и… ни с места! Тогда — опять же по старому плану — вводится в дело внушительная вспомогателыгая сила: десять дивизии восьмой армии, которая должна была наступать на Калуш и Болехов. После этого вроде сдвинулись с мертвой точки. Прорвали вражескую оборону, захватили семь тысяч пленных и до полусотни орудий, взяли Галич, Станислав, Калуш и вышли на рубеж речки Ломницы. Тут уж пошли в наступление армии других трех фронтов — Северного, Западного и Румынского. Два дня подряд пятая армия на севере и десятая на западе продвигались вперед. Неудержимо наступали части Румынского фронта. Вот тут-то и нужна была личность, равная Бонапарту, чтобы координировать все эти действия фронтов, проследить за неустойчивым настроением войск, быстро и решительно вносить коррнктивы, предугадать встречные замыслы противника, развить и закрепить успех.

Такой личности не нашлось. Претендовавший на эту роль Керенский не оправдал надежд, возлагавшихся на него частью офицерства, в том числе и подполковником Муравьевым.

Началась катастрофа с того, что противник нанос внезапный контрудар на Тарнополь. Одиннадцатая армия не сумела удержать позиций, после чего седьмой и восьмой армиям ничего иного не оставалось, как откатиться. За неполный месяц эти три армии потеряли почти шестьдесят тысяч. Сорок тысяч потеряла на Западном фронте одна только десятая армия, а оставшиеся в живых наотрез отказались ходить в атаки и вернулись в окопы, откуда их уже никакими речами и лозунгами выманить не

удавалось. Так же поступила и пятая армия на Северном фронте. Противник начал усиленно контратаковать и на Румынском. Против фактов не попрешь, и Керенскому ничего другого не оставалось, как отменить наступление.

Подбили бабки: потери более ста пятидесяти тысяч, Галиция оставлена.

Свалить все беды на большевиков не удалось, более того — их влияние в войсках теперь резко возросло. И не было ничего удивительного в том, что двенадцать полков столичного гарнизона в том же июне вышли на улицы Потрограда под большевистским лозунгом: «Долой войну!» Не прошло и месяца, как начались волнения в первом пулеметном полку, также расквартированном в самой столице, Муравьев слыхал, будто большевики — публика трезвая и рассудительная — пытались удержать пулеметчиков от выступления. Но, видать, там взяли верх анархисты — горячие головы, мастера подливать масла в огонь. И нетерпеливые пулеметчики все же выступили, а за ними — ряд других полков… За солдатами двинулись на улицы толпы рабочих.

Что тут оставалось делать большевикам, считавшим выступление преждевременным? Могли бы умыть руки. Однако они мужественно примкнули к демонстрантам и терпеливо уговаривали не применять оружия, не давать властям повода для расправы. Большевиков поддержали гренадеры — пулеметчикам пришлось поостыть, угомонились и прочив полки. А через день почти весь гарнизон — безоружный! — опять вышел на улицы, и снова с ними несметные тьмы рабочих. Вот тут-то и проявил себя Александр Федорович…

Когда надо было командовать, он болтовней занимался — «главноуговаривающий»! Как в басне Крылова «Кот и Повар»: тратил речи по-пустому там, где надо было «власть употребить». И вот доболтался… Но ведь что характерно: когда привыкшие болтать в конце концов бывают вынуждены действовать, то с непривычки к действиям они тотчас же перегибают палку. Именно это и случилось с Керенским: не придумал ничего лучше, как руками генерала Половцова расстрелять мирную демонстрацию! Притом, что Петроград не забыл еще девятое января и Николая Кровавого… Страх — плохой советчик и для военного и для политика, Какой истерический фальцет слышался в зове вчерашнего «вождя революционном армии», когда он «категорически настаивал», чтобы министр-председатель Львов дал санкцию на разоружение «бунтующих частей» и предание суду «всех зачинщиков и мятежников»! Разве так формулируются приказы и требования в столь решительные моменты?

И все-таки Муравьеву тогда еще казалось, что Керенский способен избегнуть дальнейших крайностей, что он сумеет вернуться к провозглашенным эсерами демократическим лозунгам и в то же время проявить необходимую твердость и выдержку. Поэтому не хотелось расставаться с надеждой, хотелось еще найти оправдание обрушившимся на армию репрессиям. Михаилу Артемьевичу даже казалось порой, что, будь он сам на месте Александра Федоровича, не исключено, что тоже издал бы приказ о запрещении в армии митингов и собраний, о применении оружия против нарушающих сей запрет отдельных военнослужащих и даже целых частей. Не исключено, что — подобно Керенскому — он поторопился бы отправить на позиции более ста ненадежных полков, убивая одним дуплетом сразу двух зайцев: тыл освобождался от вооруженной крамольной силы, а фронт получал почти миллионное пополнение. Да, в ту пору Муравьев еще не терял надежды на Керенского. Человеку свойственно цепляться за надежду и не торопить расставание с ней…

Расставание с надеждой на Керенского было между тем неминуемо и наступило в августе, когда все взоры обратились к Лавру Георгиевичу Корнилову. Во-первых, не какой-нибудь штафирка, а боевой генерал. Даже имя-отчество — в отличие от такового у Керенского — не только не вызывало непристойных ассоциаций со свергнутой императрицей Александрой Федоровной, но, напротив, ассоциировалось с такими любезными офицерскому уху понятиями, как лавровый венец и Георгиевский крест.

Короче говоря, вся надежда была теперь на Корнилова: он один сумеет избавить войска от большевистской скверны и довести войну до победяого конца. И если вчера еще — стыдно вспомнить! — таскали на руках «вождя революционной армии» Керенского, то сегодня тем же привычным манером носили на руках Корнилова, которого сам Родзянко приветствовал как «верховного вождя русской армии». Верные Корнилову кавалерийские полки, юнкерские училища и — возлюбленные чада подполковника Муравьева — ударные батальоны приводились в состояние повышенной боевой готовности. И душа Михаила Артемьевича впервые дрогнула…

Одно лишь смущало его, порождая недобрые предчувствия и сомнения, Это действия Корнилова под Ригой. Снять с Рижского направления сразу несколько полков? Открыть противнику путь на столицу России?! Ну да, он понимал, что здесь был определенный расчет: обречь на гибель преданные большевикам русские и латышские части, руками противника военного

уничтожить противника политического. Но не слишком ли дорогою ценой? Не слишком ли вообще все это? Душа русского офицера Муравьева дрогнула вторично…

И ведь, поди-ка, кто бы мог подумать! Большевики, эти «агенты Вильгельма», якобы стремящиеся разложить войско российское… Распропагандированные ими солдаты и офицеры, не желавшие воевать «до победного конца», и вдруг именно они, а не кто-нибудь, встали насмерть в порядках двенадцатой армии на Рижском направлении, путая Корнилову все карты и вынуждая германцев остановить свой продвижение к Петрограду. Парадокс! Уж на что не отличался расположением к большевикам Борис Викторович Савинков, умнейший из эсеров, даже он был вынужден признать в своем докладе Временному правительству: «Наши полки под Ригой вплоть большевистские, они сражались с исключительным мужеством и потеряли до ¾.своего состава, в то время как другие полки не выдержлрали ни малейшего натиска противника». И душа подполковника Муравьева дрогнула в третий раз.

А когда Корнилов так и не сумвл въехать в столицу на белом аргамаке, на чужих ли штыках, на своих ли, Михаил Артемьевич почувствовал даже некоторое внутреннее облегчение. Однако прежние его симпатии к Керенскому теперь были утрачены окончательно и безвозвратно. Не то что стричься под Александра Федоровича — самого его имени двусмысленного слышать увольте, копнчено!

Еще корчил из себя Бонапарта, безвольную руку за борт френча совал! Жалкий подражатель… Наполеон был до мозга костей военным человеком, его любила Ника, крылатая богиня победы. А этот… Ничтожный шпак!

Нет, если бы волна русской революции подняла подполковника Муравьева, допустим, до наполеоновских высот (а отчего бы и нет, собственно говоря?), он бы даже в маршалы не взял к себе Александра Федоровича. Взвода бы не доверил!

Неповторимый год семнадцатый близился к своему исходу, накатывались новые революционные волны, еще мощнее и выше прежних, грозящие все смести на своем пути. На какие высоты поднимут они Муравьева, к какому берегу вынесут его?

А берега-то у Истории — не песчаные пляжи, чаще — сколы суровые. Здесь нельзя полагаться на волю стихии, нельзя пассивно отдаваться волкам и ветрам: швырнет и расшибет! Но к какому берегу прибиться? К какой партии? Партий вон сколько, а Муравьев один.

Михаил Артемьевич вспомнил родное Бурдуково и, учитывая сельское свое происхождение, решил отдать сердце и шпагу

левом эсерам. К тому же его впечатлительную натуру потрясла и покорила их предводительница, Мария Александровна Спиридонова, — монашески-черным одеянием, неистовым взором великомученицы, хватающими за душу речами и столь редкостным для женщиаы героическим прошлым.

14. ИМ БЫЛО БЫ О ЧЕМ ПОТОЛКОВАТЬ

Иосиф давно уже имел представление об истории революцинного движения в России. Это движение неостановимо. И на смену павшим поднимались новые поколения борцов. Новые поколения… Сколь разные они! Поначалу — одни только дворяне, нередко — представители самых аристократических семей. Затем — не одни только дворяне, но немалое число, а то и преобладающее — разночннцев. А нынешние? Поколение российских революционеров, к которому имеет право причислить себя и большевик Варейкис? Здесь уже, как правило, рабочие. И не только рабочие… У всех прежних поколений есть некая общая черта, роднящая их с нынешними революционерами: борьба не ради себя — ради народа. Пускай по-разному понимались пути этой борьбы, неодинаково виделись конечные цели. Но всегда неизменным оставалось и передавалось, как эстафета, как заповедь: не для себя — для народа! Иосифу видится некий геральдический щит с гербом: красное поле и девиз — «Не для себя — для варода!» Можно бы даже картину такую нарисовать: изобразить в одном строю рыцарей революции, сражавшихся в разное время и различным оружием, на щите которых начертан сей девиз. Можно бы — списав с известного портрета — одному лицу придать черты Николая Гавриловича Чернышевского, революционного демократа а просветителя. И рядом — написанное с натуры лицо другого Николая, Чижова, подольского большевика. И — Герцена с Огаревым, чья клятва прозвучали в Москве с высоты Воробьевых гор… И многих еще можно бы изобразить, чьи честные души откликнулись в ту пору на призывный набат «Колокола», а позднее — на «Манифест Коммунистической партии», всколыхнувший Европу до самых восточных ее окраин… И еще одно лицо хотелось бы изобразить на том холсте — человека, о котором до недавнего времени Иосиф даже понятия не имел…

Лишь недавно узнал он, что летом 1861 года выступал перед крестьянами Подольского уезда студент Московского университета Петр Заичневский. Сын помещика, он призывал крестьян к свержению помещичьего гнета! Вот уж воистину — не для себя…

Спасибо давним друзьям из Подольской городской библиотеки: они помогли Иосифу разузнать некоторые подробности этой чрезвычайно заинтересовавшей его судьбы.

Как выяснилось, Заичневский и его друзья-соратники сумели объединить вокруг себя революционно настроенных студентов

Москвы, издавали и распространяли нелегальную литературу. Заручившись поддержкой прогрессивных профессоров, добились создания в Москве бесплатных воскресных школ для народа. Преподавая в этих школах, студенты-революционеры умело сочетали легальное просвещение с нелегальной пропагандой. Учись же, Иосиф, тактике такого сочетания! А вот чему не надо учиться у Заичневского — это излишней горячности и доверчивости, столь свойственным молодому возрасту. Благородное стремление во всех случаях действовать с открытым забралом, увы, лишь облегчает задачу жандармским ищейкам. Именно так и приключилось с Заичневским: он был арестован и предан суду, На суде держался достойно и мужественно, проповедовал свои убеждения. В тюремных стенах умудрился написать и передать на волю прокламацию «Молодая Россия». Иосифу удалось раздобыть ее переписанный текст, составленный более полувека назад. Особенно потрясли слова: «Больше же ссылок, больше казней! Раздражайте, усиливайте негодование общественного мнения, заставляйте революционную партию опасаться каждую минуту за свою жизнь; но только помните, что всем этим ускорите революцию и что, чем сильнее гнет теперь, тем беспощаднее будет месть».

Иосиф не признает чувства мести. В начале года, при аресте старшего городового Карасева, он не дал этому чувству проявиться. И все же ему нравится эта прокламация, даже самый стиль ее — горячий, мужественный. Сумеет ли он так писать?

Как гневно, как непримиримо обличается автором прокламации прогнивший социальный строй, «в котором все ложно» и «при котором немногие… являются распорядителями участи остальных»! Как бескомпромиссно осуждается «невыносимый общественный гнет, убивающий лучшие способности современного человека»!

Иосифу удалось разузнать, что царский суд лишил тогда крамольного студента всех прав состояния и приговорил к каторге с последующей пожизненной ссылкой в Сибирь. Он представил себе печально известную «Владимирку», заснеженную, по которой сани увозили осужденного — в сопровождении двух жандармов. И такую картину можно бы написать. Маслом — пастель тут неуместна. Правда, «Владимирку» уже изобразил Левитан, но — бесснежную и безлюдную, Иосиф видел ее в Третьяковской галерее. Впрочем, пустые все мечты и прожекты! Не до занятий живописью нынче. Царя-то свергли, но борьба продолжается. Буржуазии удалось удержаться у власти. И не видать конца войне…

Привлекало внимание вот что: Заичневскяй искренне

полагал, что полуграмотный, запуганный народ способен лишь встать на «стороне совершившегося факта», когда правящая камарилья будет свергнута изделию законспирированной и для того немногочисленной когортой заговорщиков, состоящих из представителей интеллигенция и офицерства. Нет, в этом вопросе большевик Варейкис никак не мог согласиться с Заичневским — с этим русским бланкистом. Большевик Варейкис обращался к своему вождю, который — отдавая должное мужеству и революционным заслугам отдельных бланкистов и самого Луи Огюста Бланки — выступил против этого политического течения как такового, ибо считал его несовместимым с марксистской теорией и практикой. «Восстание должно опираться на *революционный подъем народа*… — писал Ленин. — Восстание должно опираться на такой *переломный пункт* в истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее *колебания* в рядах врагов…» Вот где виделось принципиальное расхождение с тактикой бланкистов.

Жаль, безмерно жаль, что не дожил Петр Заичневский до семнадцатого года!.. Иосиф Варейкис непременно встретился бы с этим выступавшим когда-то в Подольском уезде революционером. Им — убеждеенсму большевику-ленинцу и честному бланкисту — было бы о чем потолковать.

15. КОМИССАР ЕРЕМЕЕВ

Десятый месяц года был на исходе. Безукоризненно распланированные проспекты и улицы северной столицы насквозь продувались немилосердными ветрами. И не все зябнущие осознавали, что это неистовствуют очищающие ветры Истории. Одни подставляли суровому ветру лицо, надвинув поглубже шапку. Другие, не выдержав, отворачивались, поднимая воротник и сутулясь.

Под холодным дождем и ветром, по раскисшим от воды дорогам один за другим уходили в сторону Пулкова полки — навстречу наступавшим на Петроград казакам генерала Краснова, на которого возлагал теперь свои надежды Керенский.

Командующим красными войсками только что победившей социалистической революции, призванными не отдать победу обратно в руки буржуазии, был назначен Михаил Артемьевич Муравьев. Подполковник, левый эсер, предложивший свои услуги новорожденной Советский власти.

Помощником при Муравьеве назначили большевика Антонова-Овсеенко, начальником штаба — полковника Вальдена, комиссаром — Константина Степановича Еремеева.

Михаил Артемьевич снова и снова вспоминал, как его впервые провели в Смольный. У входа стояло человек десять с винтовками, на поясах — патронташи. Немало здесь было штатских, в пальто и сапогах, в разнообразных шапках, а один даже в шляпе и с бархатным юротничком на пальтишке. Что могут эти рябчики?.. Впрочем, тут же и солдаты, все в шинелях и папахах, — с этими как-то привычнее, спокойнее. Невысокий усатый красногвардеец в солдатской фуражке и цивильной куртке, с наганом в кобуре проверил пропуск…

Подполковник успел переоблачиться: вместо бывалого фицерского френча надел черную кожаную куртку — первый крик революционной моды. Такая же куртка, только более поношенная, оказалась на одном из большевистских лидеров — Якове Свердлове, — в его пристальном сквозь пенсне взгляде Муравьев ощутил почти нескрываемое недоверие. Что ж, вполне естественно…

И все-таки доверили! Правда, пристегнули комиссара, уж это неизбежно. Впрочем, на комиссара, можно сказать, повезло: спокойный голос, скупые движения, отсутствие какой бы то ни было суетливости — все это благотворно действовало на нервическую натуру Михаила Артемьевича.

Комиссара своего он встретил ненастной ночью под

Пулковом, куда приехал в сопровождении группы офицеров на предоставленном в его распоряжение автомобиле. Они, помнится, догнали направлявшуюся на позиции колонну. Солдаты, в полной походной выкладке, устало месили сапогами дорожную грязь. Но в полку чувствовался порядок, все офицеры были на своих местах.

К автомобилю командующего подошел коренастый человек в чуть заломленной смушковой папахе, с трубкой в зубах. Ручной фонарь осветил весьма приятное лицо, суровую складку меж изломанных бровей, светлые, с поволокой глаза, темные усики.

— Комиссар Еремеев, — назвался он.

Главком Муравьев представился в свою очередь и попросил доложить обстановку. Тот доложил кратко и толково, сразу угадывалась военная косточка.

— Ладно, сейчас разберемся, — сказал Михаил Артемьевич и тут же послал своих офицеров подыскать помещение для штаба.

Выяснилось, что штаб уже существует — в неказистом домике на краю поселка. Там их встретил полковник Вальден, начальник штаба. Он тух же, поскрипывая деревянной ногой, расстелил на столе карту и начал помечать на ней данные прибывшего полка.

— Пускай солдаты отдохнут после марша, — распоряжался Муравьев, — после перегруппируем. Скоро подойдут матросы, поставим их на правом фланге. А Красную гвардию — на левый. В центре — только солдаты. Прибудет еще полк — в резерв. Ваше мнение, полковник Вальден?

— Полагаю, — неторопливо заговорил Вальдея, поглядывая то на главкома, то на карту, — что надо обеспечиться от фланговых ударов. Количественный перевес у нас, а у противника явное преимущество в маневренности: кавалерия и легкая артиллерия. Ударять в лоб им невыгодно. Поэтому рабочих лучше поставить в центре, а кадровые части — на левый фланг. Если до утра противник не вылезет, значит, все так и останется. Тогда поднапрем на Царское с флангов, а рабочие ударят в центре…

— Рабочий полк, — вмешался Еремеев, — еще не полк в полном смысле этого слова. Многие не обучены строю. Они могут действовать только отрядами, иначе возможна путаница и неразбериха.

Муравьев живо стрельнул глазами в сторону говорившего: этот комиссаришка рассуждает, как заправский вояка!

Начальник штаба терпеливо ответил комиссару:

— Именно это я имел в виду. Конечно, необученным рабочим трудно маневрировать. Поэтому, повторяю, им лучше быть в центре, вдоль шоссе. Лишь бы стреляли, большего не требуется, А в маневр запустим солдат и матросов.

— Ладно, — уступил главком. — Составляйте диспозицию,

готовые и рассылайте приказ. И разведку, разведку мне!..

Разведчики уверяли, будто в Царском — никакого движения.

— Странно, — пожимал прямыми костлявыми плечами Вальден. — Прямо неправдоподобно. Вполне боеспособный противник, и никакого шевеления? Что-то здесь не то… Нет, пешая разведка не годится. Нам бы хоть сколько-нибудь конницы… Но, увы, конница вся у Краснова. Хорошо бы послать кого-нибудь в ВРК за обстановкой.

— А что? — Муравьев тут же принял решение и обратился к Еремееву неофициальным тоном, как к давнему знакомому, такие внезапные перемены в обращении должны впечатлять: — Константин Степанович, поезжайте вы, привезите нам обстановку, а? Уж пожалуйста. Камень с души свалите.

— Постараюсь вернуться поскорее, — просто ответил тот и еще больше понравился главкому. Были бы все комиссары такие! Нет, надобно им сойтись поближе, непременно. И Михаил Артемьевич тут же принял второе решение:

— Пожалуй, и мне полезно будет поехать с ним. Ваше мнение, полковник?

— Вполне, — согласился Вальден. — Если даже зашевелятся, то часа через полтора-два, не раньше. Вполне успеете вернуться. Да и мы тут дремать не будем… А вы поторопите их там с полевым телефоном. Чтобы не ездить по каждому вопросу.

— Поторопим, полковник, поторопим. Поехали, Константин Степанович!

Через полчаса автомобиль главкома прибыл в город.

— Я выйду у штаба округа, — предложил Муравьев. — Чтобы не терять времени. А вы езжайте прямо в Смольный, выясняйте обстановку и ждите меня там. Встретимся — сравним данные.

В штабе Муравьев особенно задерживаться не стал. Обстановка была ему теперь в целом ясна, четче обрисовались перспективы. Весьма заманчивые перспективы. Ради таких перспектив, право, не стоило жалеть энергии.

Прежде всего, удалось привлечь к работе кадровых офицеров, с ними Муравьеву было легче столковаться, с ними как-то спокойнее было на душе, даже в самых беспокойных обстоятельствах. Где только было возможно, он вернул офицерский состав на места — кого в строй, кого в штаб. Теперь можно было двинуть на позиции значительную часть гарнизона, и эта задача также была в основном решена. Оставались частности.

Не мешало также привести в чувство население столицы — успокоить одних и предостеречь других. Поэтому на стенах домов появились листовки с его приказом:

«Приказываю всем штабам, управлениям и учреждениям

продолжать свою обычную работу так, как она велась всегда. Гражданам столицы объявляю, чтобы за порядок в столице они не беспокоились. Будут приняты беспощадные меры к восстановлению его, если таковой будет нарушен врагами революции».

Пусть услышат питерцы мужественный голос главкома Муравьева, вышедшего в решительную годину революции на арену истории!..

Ну, а всяческая там прочая политика… с деликатными политическими проблемами вполне управятся его помощник Антонов-Овсеенко и комиссар Еремеев. А то, что оба они помимо всего прочего и в военном деле не новички, тоже хорошо. Новоиспеченный главком не мог не отдать должное большевикам, хотя сам принадлежал к другой партии. Именно благодаря поддержке большевистского руководства на фронт были отправлены двадцать восемь орудий с прислугой из путиловцев. Не завязли бы только в распутице… Да четыре автомобиля с зенитными пушками, еще столько же — с боеприпасами и два санитарных, да две походные кухни… Две сотни вооруженных путиловцев, четыре сотни заводских женских сандружин… Это — не считая еще полутысячи путиловцев, брошенных на строительство укреплений, в их числе полсотни плотников со своим инструментом. Они же, путиловцы, главный резерв большевиков, взялись снабжать фронт горючим и смазкой, наладили ремонт автомобилей. И к тому же отправили бронепоезд и блиндированные платформы… Большевиками же были также приданы фронту четыре бронеавтомобиля из Петропавловки, ручные гранаты из Зимнего, отряды матросов из Кронштадта, рабочая сила для рытья окопов.

Нет, не зря левый зеер Муравьев сделал ставку на большевиков, не зря явился в Смольный! Теперь в его распоряжении насчитывалось свыше десяти тысяч солдат, матросов, красногвардейцев. А у Краснова? Немногим более тысячи. Перевес почти десятикратный! Очень даже можно воевать…

Михаил Артемьевич даже не подозревал, что в Смольном в его отсутствие мог состояться такой примерно разговор:

— Что же ты, товарищ Еремеев, оставил его одного? А может, он еще куда заглянул, кроме штаба? Черт его знает, из офицеров, да к тому же левый эсер, тут нужен глаз да глаз! Это тебе не наш брат рабочий.

— А на каком основании мог я ему возражать? Где мой мандат?

— Мандат вот он, готов, еще печать не просохла. Держи. И не

теряй революционной бдительности.

— Не потеряю. Мы с ней давно сроднились, с революционной бдительностью, еще в Варшавской крепости… И когда провокатору дал палкой по ноге, еще в девяносто шестом, на окраине Вильны…

— По ноге? А что же не по башке?

— По голове убить можно.

— Так он же вооружен был, поди?

— Был, разумеется. «Смит — Вессон» отнял я у него тогда… А мандат, между прочим, прошу переписать заново.

— То есть?!

— Здесь указано полномочие: в случае измены или каких-либо вредных действий главкома отстранить на месте. Не надо этого писать. Пускай само собой подразумевается. А то предъявлю Муравьеву мандат, прочтет он такие слова, неудобно получится. Зачем обижать человека авансом?

Ничего этого Михаил Артемьевич, понятно, не знал. Когда прибыл в Смольный, Еремеев доложил ему, что от Вальдена тревожных вестей пока не было и по обстановке тоже ничего нового здесь не предполагают.

— А я в штабе обстановочку прояснил, Константин Степанович. Завтра вся шайка будет у меня в руках, вместе с Керенским… Конечно, он некоторым образом тоже эсер, арестовывать его мне мало удовольствия. Но политическая необходимость требует! Да и, между нами говоря, Керенский слишком далеко отклонился от нашей партийной программы. Не только левые, даже правые эсеры осуждают его.

Большевик Еремеев спокойно, почти равнодушно выслушал эти откровения и показал свой новенький мандат:

— Вот, Михаил Артемьевич, читайте. Наэначение комиссаром при вашей особе оформлено.

Муравьев демонстративно не стал читать и поспешно протянул комиссару руку:

— Это хорошо, Константин Степанович! Очень даже превосходно! А ведь я сам выпросил вас к себе. Лично товарища Подвойского уламывал.

Еремеев зорко прищурил светлые глаза и то ли просто дернул своей зажатой в зубах трубкой, то ли действительно усмехнулся. Неужели догадался, что главком приврал?

На рассвете в том же автомобиле они помчались обратно к Пулкову.

Впервые за все эти дни дождь прекратился, ветер гнал по светлеющему небу обрывки туч, то и дело проглядывало выбравшееся из-за леса солнце — осеннее, ленивое, негреющее.

Похоже, стало еще прохладнее. Всюду виднелись небольшие костры, окруженные красногвардейцами и солдатами — невыспавшимися, продрогшими.

Главком и комиссар остановились у одного такого костра.

— Как настроение, товарищи?

На вопрос ответили вопросом:

— Скоро пойдем в дело?

— Скоро, — заверил Муравьев. — Нынче.

— Скорей бы! — вздохнул кто-то.

— А куда торопиться? — возразили ему. — Куда рвешься? Жить, что ли, надоело? Из боя не все возвернутся.

— Чего каркаешь, дура? — огрызнулся первый. — Не меньше твоего жить желаю! Чтобы на новую жизнь поглядеть, на справедливую.

— Молодец! — похвалил Муравьев. — Мы с вами еще дождемся новой жизни, товарищи. Да, впрочем, новую жизнь не дожидаться, а завоевывать надо. Верно?

— Верно, товарищ командир.

— Эх, братцы, знать бы хоть, какая она будет, эта новая наша жизнь!..

— А вот это, дорогой товарищ, — вступил в разговор Еремеев, — от нас с тобой зависит. От нас самих зависит. Новую жизнь, как новый дом, ставить надо. Сколотим сруб покрепче. Накроем понадежнее. Окна да двери вставим, печи сложим. А уж после стены побелим, мебелью обзаведемся.

— Скоро ли?

— Смотря как работать будем, — комиссар вынул из костра догорающую с одного конца, обломанную ветку и поднес огонь к своей затухшей трубке. — Если приналяжем артельно… От самих, повторяю, зависит. И главное, чтобы порядок в том нашем доме был, справедливый порядок. И чистота. Чтобы распределение было правильным, без обиды, чтобы добро нажитое, честным трудом нажитое, в жадных руках не скоплялось…

Муравьев слушал и дивился. Ну и комиссар! Хоть по боевой части, хоть по политической, на все руки мастер. И вперед командира не выскакивает, не подменяет, не подсиживает. С таким не то что воевать — побеждать можно!

Поехали дальше. Муравьев снова обернулся к Еремееву, спросил оживленно:

— А ведь вы, Константин Степанович, похоже, бывали в деле?

— Приходилось.

— Оно и чувствуется. Нет у нас этого плохо скрываемого страха перед боем, как у необстрелянных. Рад, что не ошибся. Комиссар-боягуз мне, откровенно говоря, был бы только в тягость.

— А ведь я боягуз, Михаил Артемьевич.

— Шутите!

— Напрасно не верите.

— Но верю. Потому что вижу: ни черта вы не страшитесь, ни пули-дуры, ни шрапнели.

— Насчет пули и шрапнели… тут у нас с вами все еще впереди. Сами увидите… А вот чего всегда боялся смертельно, так это мышей и пауков. Ничего ужасное нет для меня на свете.

Тут складка меж бровей комиссара стала глубже, в глазах увиделось страдание, даже боль скрытая. Наверное, припомнилось что-то. Так предположил Муравьев и не ошибся. Но откуда было знать ему, что, начав с шутки, с пауков да мышей, бесстрашный его комиссар вспомнил, как мерещились ему всюду эти омерзительные твари в те невыносимые дни, когда умерла его маленькая дочурка… Откуда было знать такое Михаилу Артемьевичу? Заповедные глубины своей души комиссар Еремеев главкому Муравьеву не показывал. И показывать не намеревался.

16. ЗАРЫТЫЙ ТАЛАНТ

Подольский большевик Чижов говорил, что зарывать свой талант — великий грех. И Поленов утверждал то же самое. Так не запечатлеть ли Иосифу окружающую натуру — и на непросохших этюдах отобразилось бы оживление екатеринославских пристаней, неудержимое движение днепровских вод, отразились бы неповторимые краски окрестных пейзажей, столь отличающихся от подмосковных…

О победе первой в истории социалистической революции Иосиф узнал, будучи уже на Украине, здесь, в Екатеринославе. Еще в августе прибыл он сюда по заданию партии — для участия в работе местной большевистской организации. Обстановка тут к его приезду была сложнейшей: мало того, что находившаяся пока у власти буржуазно-националистическая Центральная рада безоговорочно поддерживала Временное правительство, так еще вставляли палки в колеса меньшевики и эсеры. Дел и забот хоть отбавляй. Особенно с того момента, когда его избрали членом Екатеринославского комитета РСДРП (б).

Да ведь и зарабатывать на хлеб насущный приходилось. Устроился, правда, без особых хлопот; местному машиностроительному заводу Мантеля требовались опытные токари. Кстати, снова оказался в большом рабочем коллективе — было на кого опираться…

Предприятий в Екатеринославе действовало немало. Здесь, на пересечении железнодорожных линий с древнейшим Днепровским путем, по которому еще киевские князья хаживали в Византию, промышленность развивалась особенно интенсивно. Так, еще в конце предыдущего века зажглась первая доменная печь Александровского завода, завершилось строительство трубопрокатного, и тогда же двинулись первые локомотивы по новой дороге Кривой Рог — Донбасс. Возникали первые марксистские кружки, и высланный из Петербурга Бабушкин, ученик и соратник Ленина, создал местный «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», названный после I съезда РСДРП «Екатеринославским социал-демократическим комитетом». Отсюда, можно сказать, поднялся на трибуну 4-й Государственной думы большевик Петровский. Еще в дни первой русской революции здесь был создан городской Совет рабочих депутатов…

Вести из Петрограда и Москвы доходили сюда не сразу, нередко разрозненные, а порой даже искаженные. Но все же доходили. И Иосиф иногда ощущал внутреннюю готовность,

более того — потребность изобразить на холсте тот или иной эпизод, который он как бы воочию видел взглядом прирожденного художника.

…Небо низкое, угрюмое, мчатся наперегонки тучи, сизые, как перья дикого голубя вяхиря… рябь то и дело проносится по лужам, почти сплошь покрывшим дорогу… и на дороге, трепетно отражаясь в колеблемой ветром воде, стоит подбитый броневик, недвижимый… он прикатил из Петрограда к Пулковским высотам, чтобы защитить революцию, но бой есть бой — и его подбили, и он стоят без движения — цвета жухлой травы, на мокрой бурой дороге… люки задраены… живы ли там, внутри?.. Никаких признаков жизни… и полусотня казаков Краснова в полевой форме, похожих на обычных солдат, а не на ярко-нарядных станичников, начинает окружать безмолвную боевую машину… враги подкрадываются со всех сторон, приближаются, намереваясь захватить, впрячь коней, увезти в свое расположение, и вдруг поворачивается молчаливая башня, оживает в ней пулемет и начинает дышать громко, часто-часто, выдыхая огонь и гибель недругам…

Вот этот бы момент запечатлеть! Иосиф не только будто глазами видит, он пальцами ощущает тонкую кисть, кладущую краску вдоль намеченной углем линии — черной линии поверх белой грунтовки. Но в пальцах не теплое дерево кисти — холодная металлическая заготовка. Привычные пальцы закрепляют ее в шпинделе станка, прилаживают резец, еще движение — шпиндель вертится и вертит заготовку, и тянется из-под резца витая красавица-стружка… И это мог бы он изобразить — так подобрать краски, чтобы заиграл своим блеском металл. А сумел бы так написать, чтобы увиделось стремительное вращение? Может, сумел бы…

Нет, Иосиф Варейкис, не кисть суждено тебе держать — древко знамени!

17. В ШТАБЕ И «В НАТУРЕ»

Муравьеву не терпелось. Упредить удар противника, не ждать у моря погоды! Двинуться по шоссе, за Большим Пулковом развернуться и — вперед!

— Успех неминуем, — убеждал он остальных, сняв фуражку и нервно почесывая начавшую седеть голову. — Надо только захватить казачьи батареи прежде, чем их установят на позиции. Быстрота и натиск! Так ведь учил Суворов? Ваше мнение, полковник?

Темные глаза главкома лихорадочно горели, блеклые от недосыпания щеки зарумянились. На него глядели с интересом и ожиданием находившиеся тут же прикомандированные к штабу солдаты и матросы.

— Мое мнение, — отозвался невозмутимый Вальден, поглядывая то на командующего, то на карту, то на аккуратно разложенные поверх нее записочки донесений, — не торопиться. Наша позиция для кавалерии неуязвима. Значит, придется им спешиться. Но спешенный казак все равно не пехотинец, в душе он остается кавалеристом. А посему предлагаю первым делом обстрелять коноводов, этого казаки не выдержат, коней пожалеют. Если же мы оставим позицию и выйдем на шоссе, там они смогут атаковать нас в конном строю. Зачем же предоставлять им такую возможность? Не говорю о том, что еще не вся наша артиллерия подтянулась…

Михаил Артемьевич с трудом выслушивал столь занудные рассуждения. Он то вскакивал со стула, то снова садился. А Вальден неумолимо гнул свое:

— Здесь мы скрыты, нашу численность можно определить, лишь подойдя на выстрел. Зачем же раскрываться прежде времени? Тем паче что численности противника мы тоже толком не знаем. А если у них дивизия в резерве? Долго ли обскакать на конях наши фланги?

— Волков бояться — в лес не ходить. — Муравьев заходил по комнате, стуча каблуками сапог и звеня шпорами. — Войска ждут моего приказа, полковник!

— Я всего-навсего начальник штаба, — сдержанно ответил Вальден. — Моя обязанность — суммировать все данные и высказать свое мнение. Мое дело — оформить вид приказ. А решать и приказывать — вам, вы командующий.

«К чертям! — подумал командующий. — Продиктую приказ о генеральной наступлении». Но все же овладел собой и заставил себя говорить примирительным тоном:

— Все это я знаю, полковник Вальден. Но согласитесь, бывают же моменты, когда выгоднее всего суворовские быстрота и натиск…

— Суворов говорил еще и о глазомере, — напомнил Вальден.

— А вот это уж по вашей части, полковник. Семь раз отмерить — ваша задача. Моя задача — один раз отрезать.

Начальник штаба теперь непроницаемо молчал, и в его молчании не чувствовалось какою-либо согласия.

— Ну ладно! — Михаил Артемьевич вздохнул шумно. — Нашла коса на камень. Давайте спросим у других. Как видите, я не против демократии… Ваше мнение, товарища?

— Да поскорей бы наступать, товарищ командующий! — откликнулся один из солдат. — Пора кончать всю эту волынку.

— Точно, браток! — поддержал его матрос. — Корабли нас заждались, да и мы по ним соскучились, У нас тут в бушлатиках, извиняюсь, ж… мерзнут. Так поскорей всадим штык в ж… Керенскому и — амба!

Против этих двоих высказались трое, им соображения начштаба представлялись резонными.

— А вы что скажете, Константин Степанович? — обратился главком к комиссару, который знай себе помалкивал.

Еремеев неторопливо вынул изо рта трубку и негромко, будиично произнес:

— Что скажу? Скажу, что мнение полковника Вальдена достаточно обоснованно.

Ссориться одновременно и с начальником штаба и с комиссаром было бы, мягко говоря, неразумно, И Муравьев невероятным усилием воли принудил себя продолжать разговор по возможности веселым голосом, как бы о облегчением:

— Вот и отлично! Пишите приказ, полковник…

Не успели разослать приказ, как с правого фланга донеслись звуки нарастающей перестрелки. Все ближе, ближе… Неужто началось?

Муравьев весь подтянулся, насторожился, прислушиваясь. Как боевой конь при звуке трубы, решительно направился к дверям, бросив на ходу:

— Где шофер? Заводи свой драндулет! Поехали со мной, комиссар. Поглядим в натуре.

И, усевшись, как всегда, рядом с шофером, скомандовал:

— Гони на Кузьмино! Чтобы в ушах свистело, мать его в душу!

Еремеев только трубочкой попыхивал, слушая разудалого главкома.

На пригорке они вышли из автомобиля. Пули здесь

посвистывали редко и видно было далеко. Вон подтягиваются резервы, вкатываясь в окопы. На правом фланге матросы палят без передышки.

— Взгляните-ка, Константин Степанович. — Муравьев передал комиссару свой бинокль. — Что видите?

— Вижу цепь спешенных казаков за деревьями… Еще одна цепь перебежками подтягивается… А вот и всадники в стороне, тоже за деревьями. Посмотрите сами.

— Ну-ка, ну-ка. — Муравьев снова приник к биноклю. — Ага, вижу! Это… это не коноводы. Это, пожалуй, начальство. Наверняка начальство! Ну, сейчас мы их пуганем…

Он обернулся к расположившемуся поблизости резервному взводу:

— Командира ко мне!

Подбежал взводный, козырнул. Главком указал ему на всадников за деревьями, их и без бинокля было видно, отдал приказание. Молодой офицер, истомившийся ожиданием, обрадовался возможности отличиться и заорал самозабвенно:

— Взво-од! Первая шеренга с колена-а… вторая шеренга стоя-а! Прице-ел!.. Залпами-и!.. То-овсь!.. Пли!!

Взвод грянул дружно, как на учении.

— Залпами их, залпами! — Муравьев не отрывал от далеких деревьев горящего взора. — Возьмите бинокль, комиссар, я и так вижу… Ага, не нравится! Ага, лататы!..

Еремееву видно было в бинокль, как врассыпную удирали всадники.

И вдруг над тылом правого фланга возникло белое облачко шрапнели — как нарисованное, через секунду донесся звук выстрела.

— Ну, сволоча! — главком досадливо оскалился. — Теперь будут жарить, на испуг брать.

— То мы их пугаем, — усмехнулся Еремеев, — то они нас.

— Где же, черт побери, ваши батареи завязли? А это что еще там?! Никак, сдрейфили?

Шрапнель подействовала на красногвардейцев. Иные, покинув залегшие цепи, отбегали — поодиночке и группами — к задам деревни, прятались за сараями.

— Необстрелянные, — вздохнул Еремеев и молча направился к сараям. Михаил Артемьевич не слышал, что он там говорил своим разлюбезным братьям по классу, только увидел, как побежали обратно к покинутым цепям фигурки в перепоясанных цивильных пальтишках. «А что? — подумал он. — Из них еще отличных солдат воспитать можно. Уж если нашу деревню серую, забитую обучили воевать, то этих, городских, бойких…»

Тут главком увидел, что противник выкатил две батареи к самому склону. Ну, наглецы! Одна из батарей тотчас шарахнула по приближавшейся роте прямой нлводкой — солдаты повернули вспять, побежали. Одни лишь пулеметчики не растерялись, залегли и открыли ответный огонь.

— А вот это уже по вашей части, Михаил Артемьевич, — ехидно заметил возвратившийся перед тем Еремеев и повел своей трубкой в сторону драпавших солдат.

Муравьев побагровел. Выдернув из кобуры наган, он помчался наперерез бегущим. Полы шинели развевались, главком скакал по бездорожью, как борзая, длинными энергичными бросками. Сейчас ему удобнее было бы в кожаной куртке, но только позавчера сменил ее на более теплую и более привычную шинель.

— Ротного ко мне! — орал он, размахивая револьвером. — Господа офицеры, мать вошу растуды и разэгак!!!

Офицеры, отбегавшие вслед за солдатами, смутились и спешно начали кое-как собирать рассыпавшуюся роту, с грехом пополам выстраивать. Перед главкомом, держа у козырька дрожащие пальцы, вытянулся ротный в чине штабс-капитана, в новеньком обмундировании, с побелевшим холеным лицом.

— И это… это русские офицеры?! — Муравьев задыхался от бега и ярости. — Под трибунал!.. Расстреляю перед фронтом, так вас и равзтак!! Разжалую всех к такой-то матери и назначу унтеров… Ко всем чертям на рога, к дьяволу!

Рота, собранная наконец и выстроенная, не шевелилась и молчала. Муравьев перевел дыхание, спрятал наган в кобуру, бешено взглянул на солдат — на одного, другого, третьего… И снова — к офицерам, уже несколько потише, но так, чтобы слышно было всем:

— С такими великолепными солдатами, с такими орлами и не сумели расстрелять батарею? — Тут он сорвался и снова перешел в крик. — Ну, что вы стоите столбом, штабс-капитан? Там бой идет, а он здесь торчит, как болван тьмутараканский!.. Приказываю, ведите роту! Колонной, так и растак! На сближение!.. Пальба повзводно, залпами!.. Чтобы этих батарей здесь и духу не было! Исполняйте! Ма-арш!!!

Несчастный штабс-капитан судорожно хватанул воздух, с безукоризненной четкостью повернулся на каблуках, бросив при этом руку от козырька к бедру, и начал в свою очередь выкрикивать команды. Рота двинулась, на ходу подтягиваясь и подравниваясь.

— Даю десять минут! — зычно крикнул вслед Муравьев. — Не прогоните огнем, прикажу идти в атаку и брать батарею

штыками, на ура!

Проводив роту взглядом, он повернулся к подоспевшему Еремееву и, неожиданно подмигнув, сказал весело.

— Слыхали, как я их? После моего разноса им теперь никакая батарея не страшна. Ха-ха!.. Фендрики тыловые, Растуды их! Сидят по тылам, пьют, жрут да с мамзелями развлекаются… Ну, ничего, я их научу воевать. Еще с командира полка стружку сниму! Пошли-ка обратно в штаб, Константин Степанович. И в штабе надо быть, и здесь без нас не обходятся, хоть разорвись. А?

Еремеев не ответил, сосал погасшую трубку.

В штабе их встретил встревоженный Вальден: артиллерия и грузовики с боеприпасами застряли где-то в пути, когда прибудут — неясно, а время идет, и Краснов проявляет все большую активность.

Набившиеся в тесную комнату солдаты и матросы возбужденно шумели.

— Здесь штаб или бордель?! — вскипел Муравьев. — Всем посторонним очистить помещение! Расставить часовых! Без доклада никого не впускать!

Солдаты и матросы покидали штаб неохотно, ворчали:

— Опять офицерские замашки! Запрутся тут и втихаря наворотят делов. Начаальство!..

Работать, однако, теперь стало легче. Но по-прежнему не легче было из-за нехватки артиллерии.

— Надо либо получить артиллерию, — сказал Вальден, — либо… Либо атаковать, никуда не денешься. Атаковать обходом с левого фланга.

— Должны же, черт возьми, прийти орудия! — нервничал главком. — Из Петрограда-то они вышли, сам проверял. А на маневр… нет, не решаюсь. Вы же меня тогда отговорили от генерального наступления, а теперь момент утерян… Знать бы хоть, что у Краснова только две дивизии. А ежели больше, ежели резервы за это время подошли и нам сюрприз готовится? Что тогда? Ну, допустим, прикажу сделать маневр. Фронт в результате неизбежно раздвинется. И весь удар противника примет на себя центр, а там красногвардейцы. Видел я их! Одеты кто во что, обуты плохо, боеприпасы на себе таскают — подвоза-то нет. В душе все они герои, не сомневаюсь. Но что умеют? Ну, с пехотой еще кое-как подерутся, не умением — числом возьмут. А против кавалерии? Знаете, как действует атака конницы на пехоту, даже на бывалую? Я-то знаю, изведал в свое время… Нет, пролетариям казачью лаву не сдержать, прорыв фронта будет неминуем. А такое недопустимо, ни в коем случае!

Он походил, звеня шпорами, из угла в угол, вскинул

запавшие глаза на комиссара:

— Константин Степанович, выручайте! Отправляйтесь навстречу артиллерии, разыщите ее, приведите. Вся моя надежда на вас.

Еремеев тут же отправился, и Муравьеву стало легче, он верил в этого комиссара. Не в комиссаров вообще, а именно в этого, своего.

Тем временем подкрался со стороны Гатчины бронепоезд и, сам недосягаемый, начал бить через гору из шестидюймовок. Едва ли не по штабу. И все настырнее проявляли себя полевые батареи Краснова. Санитарам и медсестрам сразу прибавилось хлопот. Матросы установили на своем фланге тяжелое морское орудие и лупили из него по вражеским тылам, но этого было явно недостаточно.

— Что делать, полковник? — обратился главком к Вальдену. — Ведь вы артиллерист.

— Взгляните-ка в окно, Михаил Артемьевич.

Со стороны Красного Села на дорогу вылетали упряжки — одна, другая, третья… Противник тоже заметил их и наспех обстрелял — несколько снарядов взметнули землю у самой дороги. Но упряжки шли на рысях, соблюдая достаточную дистанцию, — ни одна не пострадала.

В штаб ворвался запыхавшийся, взмокший Еремеев, в светлых глазах — победный блеск.

— Разрешите доложить? Батареи прибыли! Снаряды — в ящиках…

Муравьев порывисто обернулся к Вальдену:

— Готовы места для батарей, полковник? Давайте приказ!

— У меня все готово, — и безотказный Вальден проткнул главкому бумагу: — Можете подаисывать.

Вскоре прибывшие батареи подали голос.

— Вот это другой коленкор! — радовался Муравьев. — Теперь мне в штабе киснуть незачем, полковник Вальден здесь сам управится. В организации артогня он дока. Пойдемте-ка лучше на позиции, Константин Степанович.

— Поглядеть в натуре? — усмехнулся тот добродушно.

— Вот именно!

Не успели они подняться на все тот же пригорок, как подбежал офицер, козырнул, крикнул:

— Товарищ командующий! Казаки атакуют!

— А вы чего ждете? — набросился на него главком. — Вызывайте резервы и отражайте атаку!

— Не здесь, товарищ командующий! Вон там атакуют… Видите?

— Теперь вижу. За мной, комиссар! — И, не оглядываясь, главком побежал туда, откуда доносились лихой свиет и частые выстрелы. Еремеев не отставал…

Мчавшаяся на окопы казачья лава не выдержала встречного огня, повернула, пронеслась вдоль первых треншей и отхлынула. Лошади спотыкались и, взметнув копыта, грохались наземь. Вылетали из седел всадники, катились кубарем. Иные, тут же вскочив, во все лопатки улепетывали к ближайшему кустарнику. С обеих сторон неистовствовали пулеметы, били орудия.

— Что, не нравится наш ответ? — азартно орал Муравьев. — Ага, притихли! Не верьте им, они позицию мотают! Но давайте установиться, бейте! Не ослаблять огня! Еще батарею сюда!.. Правый фланг, впере-од! В ата-аку-у! Ур-ра-а!

— А-а-а-а!!! — отозвались на правом фланге цепи и перебежками двинулись вперед.

Тогда Краснов сосредоточил огонь по центру. Били его полевые батареи и шестидюймовки бронепоезда. Но теперь было чем отвечать. Огонь противника явно выдыхался, стал беспорядочнее, реже и, наконец, подавленный, прекратился.

Главком, сверкая глазами, оскалив зубы, не кричал — почти пел, растягивая и смакуя каждую гласную;

— Це-епи-и в ата-аку-у! Резервы впере-од! Колонну вдоль шоссе-е!.. Колонну на Большое Кузьмино-о!.. Впере-о-о!..

— О-о-о!!! — откликались цени. — А-а-а!!! — неслось в ответ, теперь уверенно, победно.

…Под вечер, возбужденный и довольный, еще не успев ощутить усталость, Михаил Артемьевич вернулся в штаб. Ульзбнулся осунувшемуся Вальдену:

— Спасибо, полковник, вы очень помогли мне… Сейчас смеркается, необходима осторожность. Наступление на Кузьмино приостановим. Подтянем резервы и разведаем, где противник. А то могут быть засады. И скажите вестовым — хорошо бы нам чаек… Опять дождик пошел, слышите? Ну, к утру все вымокнут. Всем офицерам передайте, чтобы оставались с солдатами, пускай вместе мокнут. А ля гер ком а ля гер, как говорят французы. На войне как на войне. А то знаю я этих столичных фертов, разбегутся по избам греться да к хозяйкам липнуть, а солдату — терпеть… Что, Константин Степанович, правильно я рассуждаю?

— В принципе правильно, — поддержал комиссар. — Разрешите и мне пойти на позиции, к солдатам?

— Успеете. Попейте сначала горяченького. Вестовые раздобыли чаю и хлеба.

Вскоре явились разведчики и доложили, что в Царском Селе казаков нет, а солдаты готовы перейти на сторону Советов.

— Благая весть! — еще больше оживился главком. — Чего же ждать? Вступим в Царское, а? Ваше мнение, полковник?

— Согласен, — ответил Вальден. — Там богатые склады, боепитание будет обеспечено, И плацдарм расширим. Прямой смысл.

— Решено, вступаем в Царское! — Муравьев встал из-за стола, поправил амуницию, подтянулся. — Пишите приказ, полковник. Я сам продиктую. Пишите…

— Кому приказ? — уточнил Вальден.

— Частям Пулковского отряда. Номер, дату, час, место и все такое прочее сами проставьте. Пишите… После ожесточенного боя части Пулковского отряда… одержали полную победу над силами контрреволюции… Которые в беспорядке покинули свои позиции и под прикрытием Царского Села отступают к Павловскому-Второму и… Написали? И к Гатчине. Пишите дальше…

Диктуя, главком все время расхаживал. Звенели шпоры на его сапогах, скрипело перо в руке Вальдена, шумел за окном дождь. Спать хотелось до невозможности, но все бодрились кто как мог. Комиссара, видимо, спасала от сонливости неразлучная трубка.

— Все, полковник. Ставьте мою подпись. Главнокомандующий войсками, действующими против контрреволюционных отрядов Керенского, подполковник Муравьев. Давайте подпишу…

Подписав приказ, он обратился к Еремееву!

— Как вы считаете, Константин Степанович, должен я съездить в Смольный, доложить об успехе?

— Нэ повредит.

— И я так полагаю. Полковника Вальдена предлагаю назначить командиром Пулковского отряда. Нет возражения, товарищи?.. Вот и отлично! Надеюсь, и Смольный возражать не станет. А то я застрял тут на одном участке. Горячий был денек… Но надо по всему фронту проехать, поглядеть в натуре… Когда предполагаете вступить в Царское, полковник?

— Через три часа, — ответил Вальден.

18. НАШИ И НЕ НАШИ

В углу длинного цеха навалом лежала стружка — будто остриженные кудри сказочного. Великана. Отливала синевой.

Пахло смазкой.

Остановленные станки, большие и малые, разных времен и систем, тишины не нарушали.

Рабочие, расположившись кто на чем, кто где, слушали.

Иосиф слышал собственный голос, гулко звучавший в непривычной для такого помещения тишине. Сегодня в этом цехе он рассказывал своим новым товарищам мантелевцам то же, что говорил вчера в другом цехе, завтра повторит на общезаводском собрании, но, повторяясь, испытывает возбуждение, словно выступает впервые. Такое ощущение усиливается еще и тем, что слушают его с настороженным вниманием, не перешептываясь и не прерывая без нужды. Большинство этих людей мыслят и чувствуют одинаково с ним, воспринимают каждую новую весть так же, как и он. С такими людьми легко столковаться.

Иосиф вытащил из кармана залоснившейся спецовки сложенный лист газеты «Правда», развернул, начал читать сообщение, которое — по его же настоянию — большевики-агитаторы читают сегодня на других заводах и фабриках Екатеринослава, в частях гарнизона. В сообщении говорилось: «Войска Керенского разбиты! Арестован весь штаб Керенского с генералом Красновым во главе, Керенский, переодевшись в матросскую форму, бежал… Авантюра Керенского считается ликвидированой. Революция торжествует…»

Тут его впервые прервали. Когда прочитал им эти строки, зааплодировали, несколько голосов даже крикнули «ура».

— «Честь ареста штаба Керенского, — продолжал читать Иосиф, — принадлежит матросу Дыбенко…»

— Це наш! — удовлетворенно откликнулся рослый вислоусый сверловщик и, словно смакуя звучание фамилия, повторил: — Ды-бен-ко! Це наш…

— Все наши, — поправил его Иосиф. — Все, кто с нами, наши. Как бы ни звучала фамилия. Вот я, например, Варейкис. Так что же, я не наш, выходит? Или меня перекрестить надо, сделать не Варейкисом, а… Вареником, что ли? Только тогда и признаете своим?

Засмеялись. На Украине ценят шутку.

— Розкажить про Дыбенко, товарищ Варейкис, — попросил все тот же сверловщик.

— Расскажу, что знаю. В нашей партии Дыбенко давно. Родом

из крестьян, с Черниговщины…

— От я и кажу, що вин наш! — вновь принялся за свое упрямец.

— Тю, дурнэ сало! — одернули его. — Слухай мовчки!

Иосиф засмеялся вместе со всеми: ну что с таким дурнем поделаешь, как говорить с ним серьезно?

— Да поймите вы, дорогой товарищ! Ну вот, к примеру, Петлюра — наш или не наш? А здешние гайдамаки, вы их знаете лучше меня, так они что, по-вашему, наши? Здесь надо разобраться, товарищи, чтобы не было в мозгах такой путаницы, как в той куче стружки… Здесь, от города неподалеку, вы знаете, стоит на Днепра знаменитый остров Хортица. Там обитали ваши предки, слявные казаки запорожские. Их еще Гоголь воспел в своих сочинениях. А нынешние гайдамаки воображают себя их прямыми наследниками. День ото дня они все больше наглеют, все больше бесчинствуют. Не мне вам рассказывать, сами знаете… Помните, что стало с оружием, привезенным нами для борьбы с Калединым? Вагоны пришли ночью, а наутро… Помните, что получилось?

— Помним, — отозвался мрачный голос. — Явились к шапочному разбору.

— Вот именно! Потому что не научились еще опережать действия врага. А гайдамаки пронюхали про вагоны и не стали дожидаться. Еще до рассвета забрали себе все пулеметы и револьверы. Не им принадлежащие! Не их руками добытые!

— Ничего, товарищ Варейкис, зато винтовки нам достались.

— Это верно. Но, скрашивается, зачем гайдамакам наши пулеметы и револьверы? Для чего им броневик, привезенный из Александровска? С Калединым бороться? Этого они делать не намерены. Более того, они и нам мешают в этой борьбе…

— Сам не гам и другим не дам!

— Так против какого врага, товарищи, понадобилось им это оружие? Может, против Петлюры? Или против Винниченко?

— Черта лысого! То ж против нас.

— Вот именно! — ощущая поддержку, Иосиф почувствовал себя еще увереннее. — Против нас, против рабочих нужны им броневики, пулеметы и револьверы.

— На Озерном базаре те револьверы из-под полы продавались.

— Знаю. Но не мы их покупали. Так ведь?

— А что же губревком смотрит?

— В губревкоме, — зло ответил Иосиф, — соглашателей развелось, как вшей в немытой голове. А где соглашательство, там и попустительство. Попустительство бесчинствам.

Попустительство всегда на руку бесчинствам!

Разгорячась и веря этим людям, Иосиф повторил им то, что говорил вчера в горкоме и о чем намеревался снова говорить завтра:

— Ведь многие из вас, товарищи, имеют, как я погляжу, самое отдаленное представление о событиях. Не только о событиях в Великороссии, но и на Украине. В том нет вашей вины. В том виноваты другие, всяких маестей соглашатели, саботажники и прочие наши враги. Почему, спрашивается, местная печать до сих пор не опубликовала декретов Советской власти? Значит, кому-то невыгодно, чтобы народ знал правду, знал об этих декретах! Значит, кто-то не желает поддерживать программу мирного строительства на фундаменте, который был заложен Вторым Всероссийским съездом Советов! Значит, кому-то не по душе эти декреты! Иначе их бы обнародовали. Верно?

— Верно, товарищ Варейкис!

— В нашем городе, вы знаете, полно всяких «желтых» и откровенно контрреволюционных газетенок. Почему буржуазные газеты продолжают призывать к войне до победного конца? Еще в сентябре мы получили письмо от солдата 15-го Туркестанского полка, 16-й роты. Он пишет, что на позициях уже тогда рвали эти воинственные газетенки. И правильно делали!

— Прикрыть их!

— Когда возьмем здесь власть, непременно прикроем;— пообещал Иосиф. — И арестуем всех поднявших голову контрреволюционеров.

— Ото дило! Бо двум котам у одний торби нияк нэ можно.

— Завтра же, товарищи, на общем собрании рабочих нашего завода мы с вами вынесем свою резолюцию. Мы поддержим рабоче-крестьянскую власть Советов и ее декреты!..

Дружно зааплодировали, — значит, уже, можно сказать, поддержали.

— Мы заклеймим, — продолжал он, — предательство эсеров, меньшевиков и прочих социал-соглашателей…

То ли пыль попала в горло, то ли устал говорить — закашлялся. Подали железную кружку с прохладной водой — отхлебнул, полегчало.

— Спасибо, товарищ… Так вот я о чем говорю… Центральную раду поддерживает иностранная буржуазия. Чтобы сохранить на Украине помещиков, кулаков и других эксплуататоров. Вот почему Центральная рада, пспользуя гайдамацкие части, пытается разоружить рабочих и революционных солдат. И в то же время поддерживает атамана Каледина, поднявшего мятеж против власти Советов. Но и мы с вами не одиноки, товарищи!

Нас с вами поддерживают, к нам идут на подмогу. Из Москвы, Петрограда, из других городов России. Это — наши, наши братья по классу, по революционной борьбе. Независимо от того, как звучат их фамилии!

— Улита едет…

— Эгеж! Дэ ж воны, ци браты? Щось нэ бачимо их…

— Не видно? — вскинулся Иосиф. — А меня видно? Или в тени стою, к окну поближе стать? А может, я не из России вовсе, а из Турции сюда прибыл?

— То ж вы не у счет, бо мы до вас вжо привыкли. Вы ж — наш!

— Дякую, — поблагодарил, усмехнувшись, Иосиф. И озабоченно добавил: — Сегодня наша с вами задача, товарищи, не только вооружиться, но и овладеть оружием. В кратчайшие сроки. Не потому, что мы так уж хотим воевать, нет! А для того, чтобы приблизить мирную жизнь. Начать строить ее на том фундаменте, повторяю, который заложен Вторым съездом Советов и победным Октябрем в Петрограде. И здесь, в Екатеринославе, мы в самое ближайшее время выступим с оружием в руках за власть Советов, против Центральной рады. Придется померяться силами с гайдамаками. И наша сила должна одолеть!

— Одолеем!

— Переможемо!

— К этому надо готовиться. Да не путать божий дар с яичницей, не по фамилиям решать, кто наши, а кто не наши!..

19. К ВОПРОСУ О ДОВЕРИИ

О главкоме Муравьеве Иосифу за последнее время кое-что доводилось слышать, и немало хвалебного. Иные утверждали даже, будто сей бывалый воин в критический момент, по сути дела, спас Петроград и революцию. Хоти Иосиф лично с Муравьевым не встречался и не имел оснований сомневаться в его ратных заслугах и всяческой доблести, однако согласиться со столь завышенной его оценкой никак не мог. Ибо был убежден, что Петроград и революция были спасены не Муравьевым, а рабочими, солдатами и матросами. И фактически главкомом, направившим все усилия оборонявшегося революционною Петрограда, был не кто-либо, а прежде всего Ленин.

Именно Ленин возглавил комиссию для непосредственного руководства ликвидацией мятежа, созданную ЦК РСДРП (б) и Совнаркомом в ночь на 28 октября. Именно Ленин указал Центробалту двинуть на защиту Петрограда флот и вместе с представителями Всенно-морского революционного комитета разработал план расстановки боевых кораблей на Неве, дабы прикрыть подступы к городу. И не кто иной, как Ленин, прибыл в ночь на 29 октября к путиловцам — проследить за подготовкей бронепоезда, изготовлением и ремонтом орудий. А после бессонной ночи он же провел совещание с работниками ВРК и выступил на собрании представителен частей Петроградского гарнизона… Всех этих подробностей Иосиф Михайлович, находясь на Украине, мог пока еще не знать. Но опыт и чутье не обманывали: истинным главкомом там, под Петроградом, был вождь реьолюцил, глава первого в истории Советского правительства.

Сейчас разговор о Муравьеве завязался с немолодым большевиком из городского комитета. Они шагали к пустырю, где обучалась сколоченная Иосифом красногвардейская дружина — более двух сотен штыков! Товарищ должен был убедиться в боеготовности этой не столь уж малой революционной силы.

Первая трудность — добыть оружие — была преодолена. Требовалось немало находчивости, чтобы вооружить рабочие дружины. Скажем, перехватить эшелон, идущий с фронта на Тулу, к оружейным заводам. В таком эшелоне, среди изломанных в боях русских трехлинеек, можно било разыскать и вполне исправные винтовки, отобранные у военнопленных или взятые из захваченных неприятельских пакгаузов. Поэтому вооружение красногвардейцев было весьма неоднородным: русские, немецкие, австрийские винтовки и дажа устаревшие однозарядные

берданки…

Вторая трудность заключалась в обучении, ее ещо предстояло преодолеть. Вот и прибыл товарищ из горкома — поглядеть, как она, эта вторая трудность, преодолевается. И, коли возникнет нужда, подсобить.

По пути к пустырю они беседовали о том о сем, больше — о последних новостях из Петрограда. При этом, естественно, упомянули и героя-главкома.

— Не знаю, — признался Иосиф, — не верю я что-то этому подполковнику. Не лежит душа, да и только.

— Потому что офицер?

— Нет, не потому. Мало ли вчерашних офицеров среди нынешних большевиков? Я убежден даже, что бывших офицеров надо активнее привлекать к революции. Ведь у русского офицерства тоже есть свои революционные традиции, не надо пренебрегать этим в нашей работе.

— Что ж, не ты один так считаешь… А удавалось ли тебе привлечь хоть одного офицера?

— Сейчас сами увидите. Бывший прапорщик. Только что из лазарета, правая рука перебита. Так он ежедневно тренируется в стрельбе левой. Мы ему предоставили возможность, ради нее он, собственно говоря, и взялся обучить наших.

— Исключительно ради возможности пострелять?

— Кто его знает? Сказал, будто это для него главное. Но мне кажется, не только это. Человек он неглупый, весьма образованный. Но пока еще не поручусь, еще не созрело яблочко, еще с кислинкой…

— Лишь бы не с червоточинкой. А то падалицу подбирать…

— Поглядим, что из этого прапорщика получится, — сказал Иосиф. — Во всяком случае, дело свое он знает и работает на нас добросовестно.

— Вообще-то, в инструкторах у нас чаще солдаты… Ну, а этому ты доверяешь?

— Не вполне.

— Так я и предполагал. Потому что не солдат?

— Потому что не большевик.

— Ага… — собеседник был явно не лыком шит и с самого начала разговора шел к определенной своей цели, не теряя ее из виду, как бы они ни уклонялись в сторону. — Теперь понятно. Значит, и Муравьеву ты не веришь потому лишь, что он не большевик?

— Возможно, — согласился Иосиф. — Всем этим эсерам, анархистам, меньшевикам и иже с ними… Что хотите со мной делайте, но нет у меня к ним веры. Как нет веры в бога…

— Ну, в огороде бузина, а в Киеве дядько! Ты можешь потерять веру в бога, Иосиф, это естественно. Мы, большевики, не можем не быть атеистами. Но не теряй веру в человека. Не торопись не доверять, это всегда успеешь.

— Ну да! Когда доверия не оправдают, поздно будет спохватываться.

— Это так. Но вот доверил же ты этому прапорщику и оружие, и обучение своих людей…

— Потому что в случае чего никуда он от нас не денется.

— Не скажи. Мы здесь еще не взяли власть. Да и когда возьмем, не все так сразу будет, как нам бы хотелось… Ты говоришь, поздно будет спохватываться. Но бывает поздно и другое: спохватываться, когда не оправдается наше недоверие, а человека потеряли, не вернешь. Бывает такое… Чем больше будешь верить в людей, тем охотнее и легче люди поверят в тебя. Вот, что ни говори, поверил ты в какой-то хотя бы мере этому своему офицеру увечному — глядишь, и он в тебя поверит и сам к нам перейдет…

Иосиф молчал, слушал и напряженно думал. А собеседник его продолжал несколько наставительно, что свойственно многим немолодым людям:

— Суди человека по делам, дорогой товарищ, по фактическим делам. А не по формальной партийной принадлежности. Ведь именно так судишь ты этого прапорщика. Сам говоришь, дело свое он знэет и делает его не за страх, а за совесть. Вот так же и с другими. А то сам в себе культивируешь этакую… абсолютную непримиримость ко всем и вся.

— Не ко всем и вся, — возразил Иосиф. — К политическим противникам — да! Особенно когда политический противник из каких-то своих соображений вдруг становится политическим союзником. Тут какое бы то ни было благодушие особенно опасно. И где это сказано, что в политической борьбе допустимо примиренчество? Где это написано?

— Тю! Опять я ему про Фому, а он мне про Ерему! Кто говорит о беспринципном примиренчестве? О человеке речь, о живом человеке. И мы обязаны это учитывать, работая с разными людьми, привлекая их на свою сторону. Вот к чему я речь-то веду. Понимаешь теперь?

— Не понимаю.

— Жаль… Нет, не сумею объяснить. Может, другие сумеют. Или сам поймешь, когда постарше станешь.

— Может быть, не знаю… — Иосиф иожал плечами, затем упрямо нагнул лицо, будто боднуть собрался. — Одно знаю твердо: финтить никогда и ни с кем не стану. Не сумею! И

кидаться слепо каждому встречному на шею, лобызаться с кем попало, как на пасху… Ни-ко-гда! Даже когда стану старше. Хоть до ста лет доживу!

— Дай-то бог дожить тебе до ста…

Иосиф засмеялся неожиданно, помотал головой, вздохнул.

— Нет, до ста, пожалуй, не доживу, Хотя и… очень желательно пожить подольше. Увидеть дальнейшее так хочется! Оно ведь сейчас только наминается… А до ста мне не дотянуть, нет.

На пустыре, к которому они приблизились, человек в черной папахе и светлой офицерской шпнели без погон пятился перед наступавшей на него нестройной шеренгой красногвардейцев и, подергивая ритмично правой рукой на черной перевязи, выкрикивал:

— Р-раз! Р-раз! Р-раз, два, три-и! Не терять равнение!.. Слушай команду-у!.. На р-ру-у-ку!..

Теперь шеренга шла, уставя перед собой штыкастые винтовки, будто готовилась заколоть своего командира. А тот, шагнув в сторону и пропуская красногвардейцев мимо себя, кричал второй шеренге, топавшей следом:

— На р-ру-у… А-атставить! Дистанцию, дистанцию соблюдать! Третий слева, взять ногу!.. Внимание! На р-ру-у-ку!..

За второй шеренгой мимо него преходила третья, за ней — четвертая…

20. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА

В последние дни последнего в семнадцатом году месяца рабочие дружины Екатеринослава, наспех обученные инструкторами из фронтовиков, померились силами с частями Центральной рады.

У большевиков не было сомнений в том, что появившийся в городе гайдамацкий броневик будет использован не против Каледина или германцев, а исключительно против рабочих. Как это уже было в Полтаве. Ясно также, что не случайно гайдамаки устанавливают на крышах домов пулеметы, вывозят за город пушки и поворачивают их дулами к заводам. Не случайно расторопные связисты тянут провода полевых телефонов к новым артиллерийским позициям.

Иосиф не был фаталистом, он считал непозволительной роскошью пассивное упование на судьбу и предпочитал брать ее решительно, как быка за рога, тем более что рога эти недвусмысленно нацелены на тебя и вот-вот ударят. Когда слащавые тенора пели с подвыванием романс, где челну предлагалось плыть по воле волн, Иосиф злился и в знак протеста начинал напевать упрямые строки из другой песни:

Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней.

Сформированная им дружина, как и другие красногвардейские отряды, была приведена в состояние боевой готовности. К сожалению, уехал инструктор-прапорщик: сослался на спешную необходимость отправиться в Киев, к невесте. Вот и доверяй!.. Впрочем, какой спрос с офицера, которому интересы рабочего класса не близки? И все же… Что-то такое приглянулось в том прапорщике, вселяло надежды. Не оправдались — жаль! Но надо отдать должное инструктору: свое дело он сделал на совесть — дружина обучена отнюдь не хуже тех, где инструкторами были большевики, будь то солдаты или младшие офицеры.

Всем своим нутром ощущал Иосиф, как накалена обстановка в Екатеринославе. Кабы не зима, можно было бы назвать ее предгрозовой — вот-вот сверкнет и загремит…

Ждать долго не пршплось. Сверкнуло и загремело.

Три десятка красногвардейцев с Брянского завода захватили у перепившихся гайдамаков вышеупомянутым броневик.

26 декабря в десять утра гайдамаки предъявили ультиматум: не позднее полудня всем рабочим Брянского завода разоружиться и вернуть броневик. Брянцы же единогласно постановили: «На позор отдачи оружия врагам революции не идти».

В полдень над Екатеринославом вздрогнуло небо: загодя вывезенные за город гайдамацкие пушки открыли огонь по заводам и рабочим поселкам. Палили беспорядочно — то ли полевой телефон плохо срабатывал, то ли артиллеристы попались неопытные, то ли черт знает почему. Но один снаряд все же попал в барак, где содержались военнопленные австрийцы, избежавшие смерти в окопах и теперь добросовестпо трудившиеся на заводе, — двадцать восемь из них получили ранения, а шестеро были убиты.

К пяти часам пополудни, захватив почту, гайдамака начали пулеметный и ружейный обстрел здания Совета. Один из красногвардейцев неосмотрительно подошел к окну и тотчас был сражен.

Беспечные гайдамаки, уверенные в своем превосходстве, решили было взять здание Совета штурмом и — после особенно яростных пулеметных очередей — пошли в атаку. Их, однако, встретил вполне организованный ружейный огонь. Не предвидя такого отпора и заметив, что при первых же красногвардейских выстрелах один из атакующих свалился замертво, остальные дали стрекача. Даже подстреленного своего товарища не подобрали. В то же время несколько отчаянных красногвардейцев, невзирая на непрекращавшийся огонь со стороны почты, умудрились все же подобрать брошенное тело того гайдамака и втащить его в здание Совета; надеялись, может, жив еще, так зачем зря погибать живому человеку…

Обстрел здания Совета не прекращался всю ночь, но попыток штурмовать больше не было.

Увы, силы оказались явно неравными. А главное, подвергались великой опасности мирные жители. Последнее обстоятельство оказалось решающим для большевиков — они предпочли добиваться перемирия. Даже меньшевики и эсеры поддержали их в этом благородном стремлении.

Но гайдамацкие полковники, чуя на своей стороне изрядный перевес, упрямились, хорохорились, гордо покручивали усы. Наконец согласились приостановить обстрел жилых кварталов и принять парламентеров-брянцев.

Они их приняли, мирных парламентеров. Но как! Продержали всю ночь под арестом, всячески оскорбляли, грозили

физической расправой. А с семи утра 28 декабря снова открыли огонь по Брянскому заводу.

Тем же утром отряды красногвардейцев и полки революционных солдат двинулись отовсюду к зданию Совета, все еще находившемуся под обстрелом, и к зданию почты, где — под охраной офицеров и юнкеров — засело гайдамацкое командование. В то же время уже спешили на подмогу рабочие и солдаты из Синельниково — ехали в классных вагонах и в теплушках. Под ритмичный стук колес летела, в обнимку с паровозным дымом, песня:

Пидэм, Галю, з нами,
з намы, козакамы!
Краще тоби будэ,
як в риднои мамы.
Ой ты, Галю,
Галю молодая!..

Лишь два вагона в составе грозно помалкивали, оба бронированные.

Оттуда же, из Сипельниково, прибыли в Екатеринослав бывалые бойцы Московского отряда, усиленного броневиком. Тотчас отбив у гайдамаков еще и тот броневик, с которого все началось, они подтянули обе боевые машины к зданию почты и заняли своими стрелковыми цепями все прилегающие улицы. К вечеру 28 декабря почта, ставшая гайдамацким штабом, была надежно блокирована. Теперь расстановка сил переменилась — господам следовало бы поубавить спеси.

Но большевики не желали кровопролития. И в тот же вечзр в здании Совета приступила к работе мирная конференция. Здесь собрались представители революционных воинских частей, рабочих дружин и Совета. Они предложили засевшему на почте противнику капитулировать на следующих условиях:

«1. В течение получаса гайдамакам и прочим вооруженным лицам, находящимся на почте, приступить к сдаче оружия.

2. Всех офицеров и всех посторонних на почте вооруженных чиновников арестовать до решения их дела пленарным заседанием Совета.

3. Охрана почты принадлежит караулу из равного количества красногвардейцев и сердюков,[2] причем количество караульных определяется военно-революциоинным штабом.

4. Все оружие, находящееся на почте, сдать в распоряжение

военно-революционного штаба.

5. Солдаты-гайдамаки до выяснения вопроса должны жить в казармах сердюцкого полка».

Тем временем в рядах войск Центральной рады началась сумятица.

Первыми, как обычно, дезертировали и расползлись тараканами по темным щелям всякие уголовные элементы, извечно примыкающие к той либо иной из противоборствующих сторон, чтобы половить рыбку в мутной водице, поживиться при любой возможности и любыми средствами. Пока суд да дело, они приступили к обычным своим подвигам — принялись терроризировать и грабить безоружных мирных жителей. Красногвардейцам, однако, удалось выловить немало этой нечисти.

Многие в панике покидали здание почты, переодевшись кто во что горазд, даже в женское платье.

Рядовые гайдамаки, так называемые вольные казаки и введенные в заблуждение солдаты некоторых частей, также заколебались.

— Що ж цэ таке, хлопци? Невже своих же братив быты?

— Отож! Паны бьються, а у хлопцив чубы трищать…

Условия капитуляции были приняты. Гайдамацкий курень сдал все оружие — от пушек и пулеметов до винтовок и револьверов. Правда, чтобы ускорить такое разумное решение и помочь колеблющимся, пришлось все же послать парочку снарядов…

К Новому году все было кончено. Более двух десятков убитых, множество раненых — такова оказалась цена…

Скорбная песня звучит над центральным проспектом Екатеринослава. Идут по проспекту поющие — в светлых шинелях, в темных пальто. Над головами — три дубовых гроба, чуть покачиваются. В гробах — павшие бойцы Московского отряда: Шибанков, Смылига, Хомыненко.

Иосиф узнал, что у одного из них два брата погибли во время революционных боев в Москве. И еще один, четвертый, из всей семьи оставшийся в живых, шел теперь за гробом, со слезами на окаменевшем лице.

Вы жертво-ою пали-и в борьбе ро-ковой…

Иосиф не может больше петь, он стискивает зубв сдвигает брози, справляется. В горе — становиться сильнее. Иначе нельзя.

Процессия задерживается у здания Совета. Давно здесь гремели выстрелы? Теперь — звучат голоса ораторов.

— Наши братья москвичи, — доносится суровый, звучный голос председателя Совета Эммануила Квиринга, — принесли себя в жертву, чтобы всем нам проложить путь к светлому будущему…

— Мы заверяем товарищей москвичей! — надсадно, глотая слезы, выкрикивает представитель Брянского завода Аверин. — Знамя социализма будет водружено! Как бы ни свирепствовало черное воронье на Дону и Украине! Давайте же все, здесь, над телами погибших товарищей торжественно поклянемся! Никогда, что бы ни случилось, не выпускать из рук алое знамя социализма!

«Не выпустим!» — мысленно откликается Иосиф. Произнеси он сейчас это вслух — прозвучало бы уверенно и грозно. Только вместе с самой жизнью смогут вырвать у него это святое знамя — пускай попробуют!

И оружия тоже выпускать из рук нельзя. Пока не наступит тот светлый день, во имя которого отданы молодые жизни товарищей. И не давать воли слезам. В горе — становиться сильнее!

И не мириться с врагами никогда — сражаться с ними без устали, пока не останется от них одно лишь поучительное воспоминание… «Это есть наш последний и решительный бой…»

«Революция, — обращается к горожанам президиум Екатеринославского Совета, — побеждая по всей России, побеждает и в Екатеринославе…

Екатеринославский Совет, стоя на страже интересов революции, обращается к товарищам и гражданам с призывом и с приказом немедленно вернуться к мирным занятиям, нарушенным контрреволюционным мятежом.

Все магазины немедленно должны быть открыты, все учреждения немедленно должны приступить к работе, всякое промедление грозит полным разрушением хозяйственной жизни.

Совет, охраняющий революционный порядок, не допустит никаких эксцессов и погромов…

Победа за революцией!»

Иосиф разворачивает свежий номер газеты «Звезда», читает редакционную статью, дважды перечитывает то, что особенно созвучно его мыслям: «Екатеринославскал битва и победа — лишь частица общей борьбы».

Почему-то принято считать, что после победы — отдых. После победы — непочатый край дел, забот, сложнейших задач.

Поэтому:

«Военно-революциониын штаб предлагает всем красногвардейцам, не имеющим специальных назначений, немедленно приступить к обычным работам».

Поэтому Екатеринославский Совет призывает:

> «Начиная со второго января все рабочие должны быть на своих местах.
>
> Ни одни сознательный рабочий не может уклониться от исполнения своей работы.
>
> Все к станкам!
>
> Все за работу!
>
> Да здравствует свободный труд!
>
> Да здравствует революционный порядок!»

Так завершился в Екатеринославе первый год Великой Революции и начинался ее год второй для члена городского комитета партии большевиков, члена Президиума и секретаря Екатеринославского Совета рабочих и солдатских депутатов Иосифа Михайловича Варейкиса.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. «НАС ЕЩЕ СУДЬБЫ БЕЗВЕСТНЫЕ ЖДУТ»

Позади — неповторимый год семнадцатый. Впереди — новый год и новый этап борьбы. Новый этап самой жизни. Ибо что такое жизнь без борьбы?

При всей живости своего воображения Иосиф Михайлович даже представить себе не может, как это так — жить и не бороться, ни с кем и ни с чем. Возможно ли такое? Нет, невозможно.

Как бы то ни было, и в наступившем году надо продолжать борьбу, с первых же дней, не медля. Только не в Подольске и не в Екатеринославе, а в Харькове — теперь партия направила его сюда секретарем обкома. Работы хоть отбавляй, нелегкой, непростой. И в редколлегии газеты «Донецкий пролетарий». Но страшился ли он работы, чурался ли ее?

Судя по рассказам местных товарищей, путь ими за последние месяцы был пройден нелегкий. Иосиф Михайлович считал себя обязанным настолько представить себе этот пройденный другими путь, чтобы хоть мысленно ощутить и себя участником недавних событий.

Он представил себе, как напряжена была здесь обстановка.

…На Дон — под знамена атамана Каледина — спешили остатки разгромленных офицерских соединений, ударные батальоны корниловцев. Их путь лежал через Левобережную Украину, через Харьков.

В окрестностях города разбойничали гайдамаки Центральной рады, — этих Иосиф Михайлович хорошо узнал в Екатеринославе и теперь вполне представлял себе, с чем эту публику едят, как говорится.

В Харьковском гарнизоне было немало частей, на которые никак нельзя было полагаться в борьбе за власть Советов. Так, в Украинском автоброневом дивизионе хозяйничали эсеры, а сводный 28-й Украинский пехотный полк состоял в основном из гайдамаков-петлюровцев. Большевики же могли рассчитывать на 232-й и 1-й саперный полки. Еще летом прибыл сюда из Тулы 30-й пехотный запасный полк, где во главе полкового комитета стоял большевик Руднев — молодой прапорщик, впоследствии взявший на себя военное руководство и красногвардейскими отрядами.

Иосиф Михайлович недавно повидался с Рудневым — первое впечатление осталось весьма благоприятным. И невольно припомнился другой офицер, с которым довелось общаться в Екатеринославе. Оба молоды, оба прапорщики. У обоих, похоже,

кровь не рыбья. И еще, пожалуй, интеллигентность — в наилучшем смысле слова, та интеллигентность, от которой делу рабочего класса одна лишь польза. Но в то же время была и некая разница: Руднев — большевик, свой, надежный, а тот… так и не определился — ни богу свечка, ни черту кочерга.

По распоряжению Ленина на подмогу харьковским и донецким большевикам в их борьбе против Центральной рады и Каледина направлялись революционные отряды, оружие и боеприпасы — из Петрограда, из Москвы, из Тулы. Овеянные славой победы над Красновым, прибыли в Харьков солдаты и матросы под командованием Антонова-Овсеенко, который недавно еще был помощником подполковника Муравьева, а теперь они как бы поменялись ролями: вчерашний главком был взят своим бывшим помощником на должность начальника штаба… Подходили с севера кавалеристы и пехотинцы Сиверса, еще одного прапорщика-большевика.

10 ноября минувшего года Харьковский Совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию о переходе всей власти в руки Советов. 21 ноября исполком Харьковского Совета был переизбран, большевики получили в нем более половины всех мест. Председателем Совета стал бывалый большевик Артем. Его знали, ему верили. Одни на него надеялись, другие его побаивались, Иосифа Михайловича он с первых же встреч покорил. Крепкий, надежный. Выражение широкого лица показалось чересчур твердым. Но достаточно было взглянуть в его глаза, чтобы успокоиться. Внимательные, несуетливые и будто готовые вот-вот сдержанно улыбнуться тебе, если ты — свой. Именно так и улыбнулись они Варейкису при той первой встрече.

— Жаль, не было тебя чуть раньше, — посетовал Артем. — Одно только совместное заседание партийных комитетов чего стоило… Кого там не набралось, всякой твари по паре. Как в Ноевом ковчеге. Меньшевики и бундовцы, просто эсеры и эсеры украинские… А от большевиков пришлось мне выступить, Как говорится, коли взялся за гуж…

Теперь Иосифу Михайловичу представлялось, будто он все-таки был на тем заседании и слышал, как Артем, будто молотом, вбивал в уши присутствовавших одно требование за другим:

— Первое. Не выселять насильственно из Киева русских солдат и вообще русских граждан. Второе. Не препятствовать свободному продвижению отрядов Красной гвардии в Донбасс, на помощь местным рабочим в их борьбе против Каледина. Третье. Не мешать свободному пропуску хлеба в Россию для снабжения голодающего русского пролетариата. Четвертое. Не чинить препятствий свободному пропуску в Россию сырья и топлива…

Кто бы осмелился открыто возразить ему? Молчали эсеры украинские и просто эсеры. Помалкивали меньшевики и бундовцы. Делать нечего, пришлось принимать вызов самому Симону Петлюре, прибывшему как раз перед тем в Харьков.

Высокий и тощий, в распахнутой шинели, вышел Петлюра на трибуну. Он понимал, чувствовал, что пафос его газетных статей — стиль в данном случае неуместный. Ибо преимущество спокойного, деловитого стиля Артема будет явным. Приходится с этим считаться.

— Пропустить отряды Красной гвардии в Донбасс? — вопрошал Петлюра. — Не возражаем. Но при условии, что нас предупредят о таком передвижении. Выселять из Киева русских граждан не станем. Ну, а что касается пропуска сырья и хлеба в Россию… Что ж, препятствовать не будем, пожалуй. Но и содействовать — тоже…

Словесная баталия затянулась до поздней ночи. А тем временем большевистскими силами — красногвардейскими отрядами и революционными частями гарнизона — были заняты почта и телеграф, банки и вокзалы…

Иосиф Михайлович уже неплохо узнал город, успел побывать в различных его районах, общался со многими участниками тех событий — картина передвижения боевых сил большевиков виделась с предельной ясностью.

Еще днем по улицам в направлении к вокзалам двинулись красногвардейские дружины — это был отвлекающий маневр: будто Красная гвардия покидает Харьков. Ночью же красногвардейский полк Южной железной дороги под командованием Исаева вышел на заранее намеченные позиции, окружив казармы автоброневого дивизиона. Чтобы избежать бессмысленного кровопролития, в казармы направили парламентеров — с предложением добровольно сдать оружие. В дивизионе поначалу уперлись, даже вознамерились было оказать сопротивление. Но, услышав убедительные голоса красногвардейских пулеметов, передумали — сдались.

Командование 28-го полка оказалось менее сговорчивым. Пришлось начать подготовку к штурму казарм, причем так, чтобы полк не успел покинуть их и развернуться для боя. Сюда же подтянулись и управившиеся с автобронедивизионом красногвардейцы-железнодорожники.

Рабочие Губалов и Сергиенко предложили использовать два бронепоезда — один из них занял позицию на железнодорожной линии вблизи Кардовского сада, другой — за корпусом одного из заводов, откуда в случае нужды можно было обстрелять казармы. От Карповского железнодорожного моста до Новоселовки, в

районе Москалевки и вдоль реки от завода Шиманского разместилась красногвардейская пехота. Узнав, что казармы окружены, командование 28-го полка предпочло улизнуть. И этот гайдамацкий полк был разоружен.

К утру 9 декабря в Харькове установилась Советская власть. После чего здесь состоялся Первый Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший Украину советской республикой, торжественно заявивший о ее нерушимом союзе с Советской Россией и объявивший недействительными все распоряжения Центральной рады.

Так что теперь ждет Иосифа Михайловича на новом боевом посту? Как поется в «Варшавянке», «нас еще судьбы безвестные ждут».

2. ЛЕСОПАТОЛОГ ЮДАНОВ

Киев стоит на горах — поэтому в городе немало таких мест, откуда видно далеко-далеко.

В бесконечность уходящие дали открывались с того высокого места на Левашовской улице, где в полутораэтажном желтокирпичном домике жил с семьей Илья Львович Юданов. Зимой дали эти подергивались морозной дымкой, летом трепетали в раскаленном мареве. Илья Львович, хотя и прожил на белом свете более полувека, все не уставал вглядываться, и порой чудилось ему, будто видит он не только даль пространственную, но и даль временную. А время и пространство, как известно, сродни одно другому, ибо и то и другое не ведают пределов. Вглядываясь в размытые очертания далекого окоема, обращаясь мыслями к «делам давно минувших дней, преданьям старины глубокой», Юданов размышлял о судьбах родного города, соотнося их со своей собственной судьбой.

Он вырос в Киеве и знал его, как знают лицо близкого человека: каждый штришок, каждую морщинку, каждое родимое пятнышко. Здесь, в Киеве, когда-то окончил он гимназию и поступил в университет — уже после того, как дверь этого храма науки открылась пошире для разночинцев. Однако стипендии на долю студента Юданова не досталось, от платы за обучение освободиться не удалось, а помощь всяческих благотворительных организаций была почти неощутима… К счастью, прошло без особых последствий участие Ильи Львовича в нескольких студенческих сходках. А после был введен новый, более жесткий статут — ликвидирована автономия университета, отменена выборность ректора, деканов и профессоров… Теперь все это позади, Илья Львович Юданов — опытный специалист по лесному делу, авторитетный консультант-лесопатолог.

Казалось бы, что за дело было ему — врачевателю деревьев — до многовековой отечественной истории или до политических баталий начала нового века? Но тем и отличалась, как правило, российская интеллигенция, что никогда не ограничивалась рамками профессиональных интересов и узких служебных обязанностей. В этом, кстати, принципиальное отличие русского интеллигента от чиновника. Вот почему лесопатолог Юданов снова и снова обращался думами и сердцем к истории родного города.

На высотах при слиянии Десны с Днепром, в благоприятных природных условиях, люди поселились еще в незапамятные времена. Отсюда, с приднепровских высот, «пошла русская

земля», как выразился летописец. Здесь зародилось древнерусское государство…

Глядя на вознесенные над зеленью садов и парков многоярусные золотые купола древних храмов, любуясь разнообразнейшими, щедро украшенными лепниной фасадами более поздних киевских строений, Илья Львович снова и снова вспоминал о «делах давно минувших дней», однако еще чаще задумывался о событиях не то что последних лет, но даже, если хотите, последних месяцев. Какое участие принимал он сам в тех событиях? Можно сказать, никакого. Потому что сплошь и рядом сталкивался с актами насилия и не позволял себе принимать в них участия, ибо оставался убежденным противником какого бы то ни было насилия пад человеческой личностью.

И конечно же величайшим насилием в его глазах была длившаяся более трех лет небывалая по масштабам война. Но коль скоро война уже шла, избавление от нее Юданов видел лишь в одном: скорейшем ее завершении. Победоносном для России, разумеется. То есть получалось — помимо его воли — нечто парадоксальное: для избавления от насилия следовало довести это насилие до предела? Что-то не складывалось, рассыпалось беспорядочно в переутомленной сомнениями голове Ильи Львовича.

9 ноября ему удалось побывать на площади, где у памятника Богдану Хмельницкому состоялся парад войск, посвященный провозглашению «Украинской Народной Республики». Киев всегда славился обилием ясных дней в году — осеннее солнце, как говорится, светило, да не грело. Оно отражалось в золоте бессчетных куполов Софийского собора и соседнего с ним Михайловского монастыря. Сияло золото погон, аксельбантов и холодного оружия на офицерах, на зарубежных военных атташе. Среди множества воинских мундиров и средневековых одеяний духовенства Илья Львович разглядел ничем особо не примечательные цивильные пальто руководителей Центральной рады, с трудом узнал издали коренастого Михаила Грушевского и тощего жердяя Симона Петлюру.

Еще до войны Юданову доводилось читать труды Грушевского по истории Украины. Там было немало любопытного, но слишком уж назойливо подчеркивались «специальные украинские интересы», искусственно противопоставленные интересам общероссийским. Что же касается Петлюры, то припоминалась его довоенная журналистская деятельность, в частности — обзор украинских: журналов, где особое внимание уделялось «национальному возрождению украинского народа». Говорили, будто отец

Петлюры был простым извозчиком, что сам он бывал то газетчиком, то бухгалтером… Еще поговаривали, что в душе Симон Петлюра ярый антисемит и стоит ему дорваться до власти — жди погромов. Вот и дорвался…

Гарцевали нетерпеливые кони охранных казачьих сотен. Гарцевала, била копытом по граниту постамента осаженная бронзовая лошадь под тяжелой фигурой Хмельницкого, похожего здесь на Тараса Бульбу (на сохранившихся портретах он совсем иной). Казалось, прославленный гетман тоже принимает парад, хотя булаву свою простер в сторону Москвы и Петрограда, где победили большевики. В этом жесте позеленевшего бронзового всадника можно было усмотреть известное его «покраснение», однако некоторые истолковывали на свой лад: дескать, гетман Богдан зовет проходящие перед ним полки в поход на мятежные столицы России. Что по сему поводу думал находившийся тут Грушевский, сказать затруднительно, так как в трудах своих он деятельности Хмельницкого вообще не одобрял, предпочитая нахваливать гетмана Мазепу…

Все это вспоминал теперь Илья Львович, направляясь к своему дому с перекинутыми через плечо двумя вязанками дров, добытых на Бессарабке. Уплатил он за них втридорога, торговаться отродясь не любил и не умел.

Здесь и там поблескивала под неплотным снегом коваряая наледь, ходить по крутогорьям киевских улиц было тяжко. Хорошо, что галоши еще не истерлись, почти не скользили. Поднимаясь от Крещатика по Лютеранской, Илья Львович, всегда преисполненный сострадания к какой бы то ни было божьей твари, помог поднять поскользнувшуюся лошадь. Для чего пришлось снять с плеча вязанки. Благодарный извозчик предложил подвезти — задаром! Но чудак Юданов отказался, попросил только подать вязанки на плечо.

Он подходит к своему желтокирпичпоиу домику на Левашовской. Ставни с окон сняты: в городе пока тихо. Он топает ногами у дверей, сбивая налипший снег, хотя все равно снимет галоши в прихожей. Звонок давно не работает, сломан. Придется постучать. Впрочем, ведь у него с собой ключ. В каком же он кармане?..

В прихожей хозяина встречает улыбающийся матерый волк. Чучело. Было время, когда дверь можно было не запирать: волк был изготовлен мастерски, казалось — живой и вот-вот с улыбкою набросится. Теперь времена не те, на испуг не возьмешь, могут даже из револьвера пальнуть — в чучело…

Илью Львовича встречают также жена и дочь, они помогают ему снять с занемевшего плеча дрова, помогают раздеться. Неля

— младшая его дочурка — вся в мать: такая же синеокая и светловолосая, с гордо вздернутым носиком и надменной нижней губкой. Да, именно так выглядела Елена Казимировна давным-давно, когда ей было лет восемнадцать, когда студент Юданов впервые преподнес ей цветы — белые и красные гвоздики. Он помнит, как она снисходительно приняла их тогда, небрежно удивившись: «О, червоне с белым, цвета флага Ржечи Посполнтой? Дзенкую пана…» После Елена Казимировна разъяснила и без того покоренному Илье Львовичу, что в жилах ее течет благородная кровь польски королей, и любит напоминать об этом по сей день. Неля — такая же, только характером чуть помягче.

Он преходит в свой кабинет, садится в кресло, переводит дух. Здесь он не просто работает — здесь он живет. Помимо обширного двухтумбового стола, крытого зеленым сукном в созвездиях чернильных клякс; кроме невысокого шкафа, в котором уживались книги и одежда; кроме этажерки с журналами и прочих кабинетных атрибутов… кроме всего этого здесь помещался еще и крытый вытертым ковром пружинный матрас, водруженный на козлы, — ложе хозяина. А на письменном столе — словари и справочники, папки с тесемками и вырезки из газет, тут же небольшой чернильный прибор с латунными крышками на двух стеклянных чернильницах, похожими на купола киевских церквей.

На одной из стен, оклеенных выцветшими сиреневатыми обоями, висел увеличенный фотопортрет самого Юданова — в студенческой форме, еще без бороды и лысины, с вызывающе закрученными усиками. Рядом — такой же величины и в таком же паспарту — смеющийся военный, без головного убора, коротко остриженный, похожий на Илью Львовича. Да разве сын не должен быть похож на своего отца? Но разве отец должен пережить своего сына?! Будь проклята эта война! Будь прокляты все войны — прежние, будущие, все без исключения!..

Пониже — поменьше размером, но в дорогих деревянных рамках — три женских портрета. Два из них — Елены Казимировны и Нели. На третьем — Ася, старшая дочь. Она недавно вышла замуж за юриста, и молодожены вскоре уехали в Симбирск — к его родителям. Как будто в Киеве юристам делать нечего! Или Днепр хуже Волги? Черт знает что! Хорошо, что хоть Неля осталась. Надолго ли? Едва успела гимназию окончить, так теперь, видите ли, в лазарет ее тянет, сестрой милосердия стать желает. Дело, конечно, благородное, но… не для такой же девчонки! Там же, в лазаретах… там мужичье сплошное вокруг, обидят — и заступиться некому… Был у Нели заступник, студент-

историк, славный такой, да тоже на войну ушел. Жив ли он, цел ли, бедный мальчик? А ведь Илья Львович к нему, как к сыну, привязался. Особенно после потери своего, единственного… Неужели растреклятая война отнимет у него и этого? Дочь по ночам слезы льет, тайком. Но от отца разве скроешь? И не настолько уж отец недогадлив, чтобы не сообразить, отчего она так в лазарет стремится. На случай надеется, глупышка…

На другой стене — большой портрет графа Льва Николаевича Толстого, маслом, но в простой, без позолоты раме. В одном из ящиков стола хранится несколько писем великого гуманиста. Случилось как-то Юданову поработать в знаменитых дубравах под Тулой и заночевать в Ясной Поляне. Чем-то привлек тогда чудаковатый лесовод внимание Льва Николаевича, они беседовали долго, а после и переписка завязалась.

В углу кабинета белеет чистым кафелем высокая печь, а на печи, почти под самым потолком… Там возлежит пятнисто-полосатый зверь с лениво свисающими мощными лапами. Это Бузук, полноправный член семьи Юдановых, отпрыск дикого кота, возможно, последнего в том лесу, где довелось однажды побывать Илье Львовичу и подобрать осиротевшего головастого котенка.

— Вот такие у нас с тобой дела, Бузук, — произносит Илья Львович со вздохом. — С дровами теперь туговато. А перезимовать надо, альтернативы нет.

Бузук все понимает. И не возражает.

Пора закрывать окна ставнями. И поужинать. Что-то долго не зовут, хотя запах из кухни доносится аппетитный: его любимая картошка в мундире…

Вдруг раздается резкий, решительный стук в дверь. Бузук — шерсть дыбом, уши прижаты — тяжело спрыгивает с печи на шкаф, оттуда на пол и поспешно уползает под ковер, исчезая в пружинных джунглях матраса.

— Я сам, — говорит Юданов всполошившимся домочадцам и храбро направляется к двери. Прислушивается — там, за дверью, тихо. И вопрошает по возможности грозным тоном:

— Кто?

— Откройте, Илья Львович, — слышится голос, вполне приятный и удивительно знакомый. — Это я, Черкасский, Откройте, пожалуйста.

Юданов поспешно отворяет дверь и видит перед собой серую шинель в темно-коричневых ремнях, серые глаза под черной папахой, черные усики на бледном лице…

— Не может быть! — Илья Львович пятится от двери, повторяя, как загипнотизированный: — Не может быть… Не может быть…

— Это я, — офицер улыбается, — Мирон. Не узнаете?

И, стянув перчатку почему-то зубами, протягивает руку — не правую, а левую. Правая же так и остается в черной кожаной перчатке.

3. ИХ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Эти большевики начинали все больше раздражать Муравьева. Всюду совали свой нос, то и дело хватали за руки, ставили палки в колеса. Ведь до того обнаглели, что вознамерились при его штабе большевистскую ячейку создать. Попробуй-ка повоюй! Явилась их целая команда во главе с неким Зефировым и давай его уговаривать. А Муравьев не девица, нечего его уговаривать! И сам он уговорами заниматься не намерен. Да он просто выгнал того Зефирова со товарищи из своего вагона. И для острастки пригрозил еще, что расстреляет каждого, кто самовольно сунется к нему в штаб…

А то вдруг, видите ли, товарищам большевикам для чего-то автомобиль потребовался. Однако автомобиль тот предоставлен в личное распоряжение Муравьева, а не для… коллективного пользования. Вместо автомобиля он дал тем просителям такого жару… в другой раз не попросят!

Или он уже не вправе по своему усмотрению распоряжаться приданным ему транспортом, будь то штабной вагон либо автомобиль? Даже такого права не заслужил? А кто обеспечил победу над Красновым? Кто взял Гатчину? Что бы делали они все без подполковника Муравьева? Так нет же, вся слава, все овации достаются не главкому, а одному из его подчиненных, простому матросу Дыбенко… Конечно, кое-что из лаврового венца перепало и главкому, этого Михаил Артемьевич отрицать не может. Но — несоразмерно! Объедки с пиршественного стола…

А ведь не отпала нужда в Муравьеве, нужен ведь пока еще. Дамоклов меч над революцией не убран. На Дону — атаман Каледин, на Украине — Центральная рада, заигрывающая то с Антантой, то с немцами, но только не с Петроградом и Москвой. Потому-то и создается на Юге группа революционных войск, призванная управиться и с Калединым, и с Центральной радой. И его посылают в Харьков, где разместился штаб. Опять главкомом? Ан нет! Главкомом утвержден Антонов-Овсеенко, большевик. Тот самый, который был всего-навсего помощника и при главкоме Муравьеве. И теперь снизошел, видите ли, оказал величайшую милость: взял бывшего своего командующего к себе, начальником штаба. И на том, как говорится, спасибо.

В беседах с новым командующим Михаил Артемьевич всего этого, разумеется, не высказывал, держал свои мысли и чувства при себе. До поры до времени…

А воевать он будет, как и прежде, не за страх, а за совесть. Он еще покажет, на что способен. Он еще докажет. Еще спохватятся!

Только бы сейчас не подрезали ему крыльев.

Надо взять Киев? Извольте! Муравьев возьмет Киев. С теми частями, которые ему вверены. Но пусть уберут из вверенных ему частей всех этих беспокойных большевистских комиссаров, хотя бы на время операции.

К кому бы обратиться по такому вопросу? К своему главкому? Нет, не к нему: он сам из тех же умников. Так к кому же?

Всякое дело надо начинать с разведки. Михаилу Артемьевичу подсказали, что обращаться ему, по всей вероятности, придется, хочешь не хочешь, а тоже к большевику — к секретарю обкома ихней партии. К некоему Варейкису. Уже сама фамилия секретаря не понравилась Муравьеву. То ли еврей, то ли латыш, хрен редьки не слаще. Этот же Варейкис, говорят, и в газете «Донецкий пролетарий» верховодит. А сам-то, поди, к пролетариям имеет такое же отношение, как Муравьев — к буддийским монахам. Наверняка какая-нибудь подслеповатая канцелярская крыса, чернильная душонка, предпочитающая изводить бумагу в своем комитете, вместо того чтобы отправиться под пули на позиции. Почему-то именно таким представил себе Михаил Артемьевич этого Варейкиса, хотя знавал совершенно иных большевиков.

Ему говорили, будто секретарь любит засиживаться в обкоме допоздна. Вот и надо будет нагрянуть попозднее, когда у того мозги устанут и нервишки поистреплются — податливее будет. В каждом деле своя тактика требуется…

Зимние дни короткие. Давно уже погрузилась в сумрак Университетская горка — древний центр Харькова, темное небо поглотило изящные очертания златоглавой колокольни Успенского собора, едва белеет под мостами замерзшая речка Лопань. В этот поздний час Михаил Артемьевич приближался по коридору к кабинету секретаря обкома. Разведка доложила, что секретарь на месте.

Начальника штаба фронта сопровождала отборная свита. Адъютант и телохранитель по имени Нестор — вооруженный до зубов кавказец, готовый без колебания и промедления пристрелить каждого, кто покусится на неприкосновенную особу его командира. Бывший подпоручик Лютич, тоже из левых эсеров, гнутоногий и франтоватый, недавно прибывший из-под Киева и оказавшийся личностью во многих отношениях весьма полезной. Да двое отчаянных матросов-анархистов — из братвы, лично отобранной Муравьевым еще под Гатчиной. Свита выглядела достаточно внушительно. В тишине почти опустевшего к ночи здания грозно звучал дружный топот сапог, четкий, грубый, да позванивали шпоры самого Муравьева — в такт шагам: динь-дзин, динь-дзин… «Пускай послушает секретарь нашу

приближающуюся неотвратимую поступь, — подумал Михаил Артемьевич. — Пускай трепещет и готовится».

Не постучав, они резко распахнули дверь в кабинет (момент внезапности тоже должен действовать на психику противника!), вошли и увидели стоявшего у стола доброго молодца в незастегнутой солдатской шинели, без шапки. Под шинелью на перехватившем гимнастерку ремне угадывалась кобура. Густые темно-русые волосы, крепко сжатые челюсти, темно-синий взгляд — в упор, исподлобья. Орел! Наверное, из охраны. Переманить бы к себе такого…

— Мне нужен секретарь обкома! — с порога потребовал Муравьев.

— Я секретарь обкома, — просто ответил тот.

«Ну да, — сообразил Михаил Артемьезпч, — ведь секретарей может быть несколько».

— Мне нужен товарищ Варейкис, — уточнил ол. — И немедленно!

— Я Варейкис.

Муравьеву стоило немалого усилия не показать, что растерялся. Ведь он настроился на схватку с совершенно иным противником. Недоработка разведки! Впредь будет наука. Теперь же придется перестраиваться по ходу разговора, менять тактику. Но как, с чего начать разговор? Ах ты, черт побери!..

Начать разговор помог Варейкис:

— Вы ко мне? Что ж, присаживайтесь, товарищи. Располагайтесь, можете курить. Раздеваться не предлагаю, печки остыли.

— Благодарю, — угрюмо буркнул Муравьев, уселся в кресло и закурил — как-никак выигрыш времени. Сопровождающие остались стоять, настороженные. Сам секретарь присел на угол своего стола и теперь молча ждал. Если бы он суетился, нетерпеливо поглядывал на часы, тогда дело другое, тогда было бы проще.

— Я начальник штаба фронта Муравьев.

— Догадываюсь.

— Мы, как известно, собираемся наступать на Полтаву и Киев.

— Знаю.

Вот чертушка! Придется сразу раскрывать карты. Но с какой идти? Во всяком случае, не с козырного туза…

— Извините, что так поздно и бесцеремонно ворвались, — теперь Михаил Артемьевич говорил ивым тоном. Что-что, а быстро менять интонации он умел. — Но день выдался небывало суматошный. Забот полон рот… в связи с предстоящим

наступлением.

— Значит, дело неотложное? — опять все же помог Варейкис.

— Именно! — Муравьев ухватился за этот наводящий вопрос. — Только потому и осмелился потревожить в столь поздний час. Нам, видите ли… Впрочем, не стану финтить. Лично мне…

— Требуется моя помощь? — подсказал секретарь. — Слушаю вас.

Михаила Артемьевича подкупала догадливость и невозмутимость Варейкиса. Однако видел, что секретарь все же не из военных, это чувствовалось. Именно здесь Муравьева явное преимущество. Значит, здесь и надо наносить главный удар.

— Да, помощь требуется, — подтиердил он. — Именно от вас. И, откровенно говоря, на вас вся моя надежда. От вас, можно сказать, сейчас зависит успех либо неуспех готовящегося наступления…

— Я вас слушаю, — повторил Варейкис, и прозвучало это как напоминание: «Ближе к делу!»

— Вы, мне сдается, не служили? — доверительно и, как ему представилось, достаточно внезапно спросил Муравьев.

— Так в чем все-таки заключается ваша просьба? — уклонился Варейкис.

Теперь Михаил Артемьевич больше не сомневался, что хотя секретарь и не служил, но и на обычных рябчиков похож не был, что финтить с ним — дело безнадежное. Но легко ли, спрашивается, так вот запросто требовать от большевистского секретаря обкома, чтобы отозвал из частей своих же собратьев по партии?

— Как вам, вероятно, известно, — начал Михаил Артемьевич, теперь неторопливо и обстоятельно, — в военном деле все зиждется на единоначалии. Еще Наполеон Бонапарт… а что бы там ни говорили, согласитесь, что в военном деле он кое-что смыслил… так вот еще Наполеон утверждал, что лучше один плохой командующий, чем два хороших…

Варейкис слушал внимательно, не перебивал, только сам сел за стол и сделал знак остальным, чтобы тоже садились. Те, успокоившись, не стали упорствовать и разместились на свободных стульях.

— И вот представьте себе, — продолжал Муравьев, — что, допустим, в решающий момент штурма Киева… Короче говоря, дело ожидается очень и очень нелегкое. И вот в такой нелегкой ситуации командир отдает приказ, берет на себя ответственность за жизни солдат. Более того, если требуется, сам идет впереди, увлекая за собою остальных. Но скажите, пожалуйста, если в

такой момент кто-то начнет оспаривать приказ командира, полемизировать… если в такой ответственнейший момент кто-то примется дублировать функции командира, инспектировать каждый его шаг и каждое его слово… Вы представляете, как отразится это на успехе дела? Какой кровью, какими невосполнимыми потерями будет оплачено подобное игнорирование, дублирование, инспектирование! Представляете?

— Я хочу представить себе, товарищ Муравьев, — серьезно ответил Варейкнс, — какая конкретная помощь требуется вам от меня как от секретаря обкома?

— Вот это деловой разговор! — Михаил Артемьевич радостно хлопнул ладонью по колену. — С таким секретарем просто приятно дело иметь!

Радость его была отчасти показной. Как-то не верилось, чтобы такой явно не лыком шитый малый, каким оказался секретарь обкома, мог бы так запросто капитулировать и высказать готовность… А впрочем, почему бы и нет, собственно говоря? Подполковник Муравьев умеет убеждать, он может принудить к покладистости хоть кого — и не таких обламывал. И все же… Ишь, как глядит, не глаза — два дула револьверных! Нет, надобно продолжить разведку боем, не идти ва-банк, придержать козырного туза.

И Михаил Артемьевич закашлялся. То ли от глубокой ватяжки, то ли простыл. Но закашлялся так натужно, что верный Нестор вскочил со стула, посмотрел сострадательно на мучительно хрипящего начальника и обратил выразительный взор к хозяину кабинета:

— Чайку бы горяченького, товарищ секретарь?

— В коридоре направо каморка, — сказал Варейкис, — там самовар, лишь чуток раздуть. А кружку вон на подоконнике возьмите. И вот еще два стакана. Хватит трех посудин на всех на шестерых?

— Конечно, хватит! — повеселел адъютант, поглядел вопросительно на все еще хрипящего Муравьева — тот кивнул: действуй, мол! Нестор стремглав выпорхнул в коридор.

За чаем обстановка разрядилась, секретарь не торопил и за язык больше не тянул, а Муравьеву того и надо было.

— Спасибо, голубчик, превеликое спасибо! Если вы и в остальном так же поможете мне… И знаете что, зовите-ка меня запросто Михаилом Артемьевичем. Ведь мы, военные, тоже устаем порой от всяческой субординации и всего тому подобного…

Он был сейчас обаятелен, подполковник Муравьев, начальник штаба Южного фронта. Он умел быть обаятельным.

— Все мы изрядно утомились за день, — говорил он, обращаясь к Варейкису и передавая адъютанту подстаканник с опорожненным стаканом: — Слетай-ка, Нестор, принеси еще. Все уже напились, кроме хозяина. А пока хозяин промочит горло, разрешите мне рассказать старый армейский анекдот. Я слыхивал его еще в бытность свою на сопках Маньчжурии. Был тогда молодой, как вы сейчас… Генералы у нас там были, прямо скажем, большей частью бездарные. Вот им-то более всего и доставалось в анекдотах. Придвигайтесь-ка поближе, товарищи, слышнее будет.

Спутники Муравьева заскребли ножками стульев, придвигаясь.

— Итак, представьте, некий генерал от инфантерии… короче говоря, упился. Настолько, что стошнило его, пардон, прямо на мундир. Кресты испачкал! Доставили болезного на квартиру. Ну, а перед денщиком-то ему неловко, стыдно. Так выдумал версию. Было когда-то в русекой армии звание майора, после отменили. А генерал запамятовал, что отменили, и… «Ах, — возмущается, — свинья майор! Пить не умеет! Сам напился как свинья и даже мне вот мундир испачкал. Ты уж, Терентьич, будь любезен, почисти его. Ух, свинья майор! Да я его… я ему!..» И уснул. Наутро пробуждается наш генерал в чистенькой постельке, в чистеньком бельишке. Денщик вносит чистенький мундир; «Пожалуйте, вашвысокобродь!» А тот все вспомнил и давай сызнова придуманного майора честить: «Ах, свинья майор! Уж я его и так и этак!..» — «Так точно, вашвысокобродь! — подливает масла в огонь денщик. — Так его, туды и растуды! Он вам, вашвысокобродь, не только мундир замарал. Он вам, извиняюсь, и в исподнее наложить умудрился».

И Муравьев, довольный, захохотал. Раскатился звонко Нестор — адъютант. Затрясся беззвучно подпоручик Лютич, притопывая от удовольствия гнутой ножкой. Дружно и откровенно заржали матросы-анархисты.

А секретарь? Хмыкнул непонятно. Затем отставил недопитый чай и спросил бесстрастно:

— Так я слушаю. Какая же помощь требуется вам от обкома?

Деловито так. Будто и не было только что никакого чаепития, никакого анекдота. Ну, чем проймешь такого? И Михаил Артемьевич рискнул.

— Может быть, — сказал он, — наша просьба прозвучит несколько… э-э… дерзко. Но вместе с тем… Я прошу обком и прежде всего лично вас, товарищ Варейкис… Я прошу отозвать ваших комиссаров из частей, которые отправляются отсюда на позиции.

— Вот оно что! — секретарь не скрыл удивления. — Ин-те-рес-но… А что же командующий фронтом? Эта просьба согласована с Антоновым?

— У командующего хватает забот.

— А у начальника штаба разве мало забот?

— Нет, конечно, не меньше. И одна из них та как раз, которую я вам сейчас изложил… Иначе вся ответственность… и я не поручусь…

— Это что? — Варейкис резко встал, не выходя, однако, из-за стола. — Ваша просьба к обкому или ультиматум?

— Если хотите, требование, — по возможности спокойно ответил Михаил Артемьевич, теперь уже с откровенным вызовом глядя в синие глаза секретаря. Терять было нечего: карты раскрыты, слово сказано.

— Чье требование? Командования фронтом? Штаба фронта? Или ваше личное?

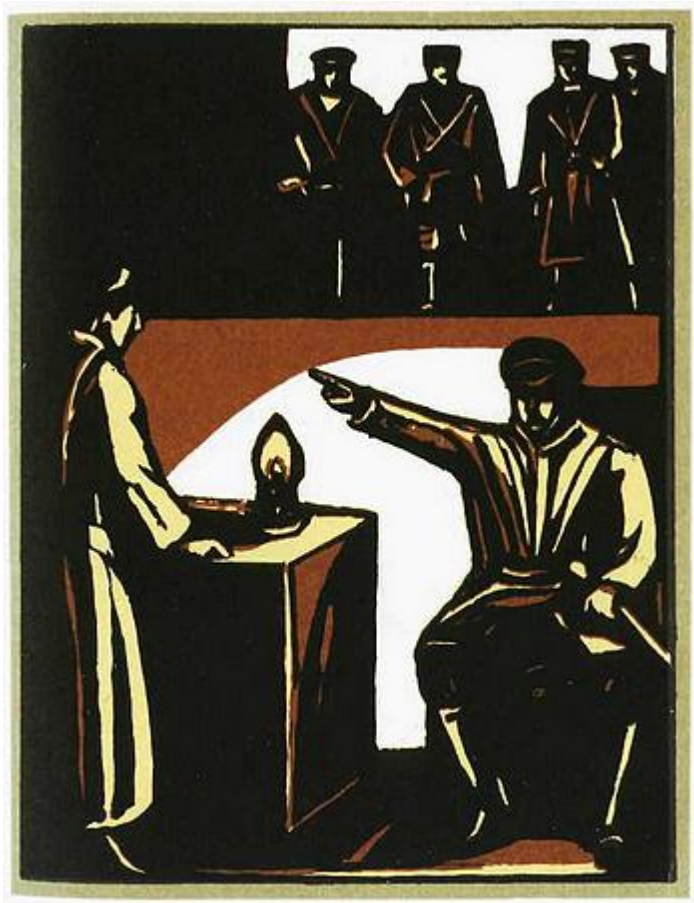
— Поверьте, товарищ Варейкис, что идеалы революции есть мои личные идеалы. А враги революции есть мои личные враги.

— По-нят-но… Такое требование, товарищ Муравьев, обком удовлетворить не сможет. — И Варейкис в свою очередь уставился в глаза начштаба.

То в молчанку, то в гляделки! Михаил Артемьевич ощутил, как с нарастающей быстротой, будто вскипающее молоко, поднимается в душе негодование. Едва сдерживаясь, почти шепотом заговорил:

— Вы берете на себя страшную ответственность! Мое требование преследует лишь одну цель — разгром врагов революции, освобождение Полтавы и Киева. Если эта цель не будет достигнута…

— То виноваты в этом будут, — прервал Варейкис, — не наши комиссары, не большевики. Завтра же я доложу…



— Я тоже доложу! — взорвался наконец Муравьев, затеребив дрожащими пальцами кобуру. — Будет тут мне еще каждый… молокосос! Каждый сопляк!..

Адъютант мгновенно выхватил маузер. Приблизился напрягшийся Лютич, вскочили со стульев матросы.

— Освободите помещение! — секретарь побледнел, но голос его не дрогнул. — Здесь обком партии, а не… Покиньте кабинет!

— Что-о?! Выставлять за дзерь меня? Героя Гатчины? Ты… ты был там, на Пулковских высотах? Нет, тебя я там не видел. А вот они… — Муравьев ткнул пальцем, будто стволом револьвера, в сторону готовых на все матросов. — А вот они были! И эти герои революции не позволят выставлять из кабинета того, кто был там, на подступах к Петрограду, рядом с ними! Под дождем и ветром! Под пулями и шрапнелью! Не по-зво-лят!!!

— Прекратите истерику! Военный человек, героем себя считаете, а закатываете истерики, как кисейная барышня. Стыдитесь! — Варейкис перевел дыхание. — Разговор наш предлагаю считать несостоявшимся. И ваше неприемлемое

требование будем рассматривать как следствие переутомления… Все, товарищи! Я вас больше ае задерживаю.

Одному лишь богу известно, каких немыслимых усилий стоило Михаилу Артемьевичу не пристрелить тут же этого Варейкиса и послушно покинуть его кабинет. Несолоно хлебавши.

А Иосиф Михайлович после этой первой своей встречи с прославленным Муравьевым думал о том, что вот ведь не обмануло предчувствие, когда еще заочно не испытывал доверия к этому подполковнику от левых эсеров. И вместе с тем не отказывался от прежнего убеждения, что без опытных боевых офицеров революционному пролетариату не обойтись. Знал и понимал: как бы ни был велик энтузиазм красногвардейцев, их отряды еще во многом несовершенны, уязвимы. Нужны опытные инструкторы, умелые командиры. Жаль, не удалось в Екатеринославе удержать инструктора-прапорщика. Сейчас такой пригодился бы здесь, в Харькове. А ведь он должен быть не за горами, тот непутевый прапорщик-левша. Если добрался тогда до Киева. Нашел ли он свою невесту?

4. ПРАПОРЩИК-ЛЕВША

В те зимние дли киевляне обратили внимание на появлявшуюся то здесь, то там фигуру молодого прапорщика, сероглазого и черноусого, в черной папахе и черных начищенных сапогах, в потемневшей амуниции поверх длинной светлой шинели. На нем были также темные перчатки, причем правую он никогда не снимал. И кобура на ремне располагалась у самой пряжки — таким образом, чтобы выхватывать револьвер не правой, а левой рукой. Видимо, прапорщик был левша.

Некоторые даже видели, как он выхватил свой наган именно левой рукой, а не правой. Произошло это среди бела дня, на белом снегу, сплошь покрывшем дорожки и могилы кладбища на Байковой горе. С незапамятных времен покоились на этом кладбище бессчетные поколения киевлян, и отыскать чью-либо могилу нередко бывало еще затруднительнее, чем иголку в сене. Прапорщик, однако, нужную ему могилу отыскал и долго стоял перед нею, сняв папаху на морозе. Могила была недавняя и почему-то без креста, просто холмик заснеженный. А неподалеку высился старинный мавзолей над чьим-то родовым склепом, и какие-то двое пристроились у самого входа справить нужду, а прапорщик заметил, живо надел папаху и направился к ним. Что он сказал и что услышал в ответ — неведомо. Только наблюдавшие эту сцену издали уверяли после, будто видели, что разговор был отнюдь не любезным, те двое даже начали наседать на офицера, и тогда в его левой руке мгновенно возник наган…

Другие видели его не раз на Левашовской улице входящим в полутораэтажный домик желтого кирпича либо выходящим оттуда. Однажды он вышел вместе с барышней, синеокой и курносенькой, симпатичной такой. Оба направились в сторону Александровской, наверно, в парк погулять. В парке их тоже видели — то в беседке, то на безлюдных аллеях — и один раз — весело бросающих друг в дружку снежки. Прапорщик бросал снежки только левой рукой, и весьма неловко. Глядеть на эту пару было приятно. Жить бы им да поживать! Кабы не война…

Еще в декабре было заключено в Брест-Литовске перемирие. То-то ликовали повсюду! Радостное «ура!» гремело вдоль всего нескончаемого фронта и в тылах, крутились поднятые на штыках папахи и фуражки, взлетали в воздух… Но затем переговоры в Бресте были прерваны.

Нашлись такие, которые предлагали не только войну прекратить, но и армию распустить, однако при этом мира с германцем ни в коем случае не подписывать. На что надеялись?

На мировую революцию: будто со дня на день по всей Европе пролетариат восстанет, и тогда уж… Что это было — недомыслие, наивность, простота первозданная? Иная простота хуже воровства, верно говорят в народе. Народ зря не скажет…

Прапорщик-левша в мировую революцию не верил. А в революцию русскую… Свершившийся факт веры не требует. И еще до свершения, как и после, не раз пытались приобщить прапорщика к революционному делу. На позициях приезжал к ним в полк большевистский агитатор Чудновский. И в своем же взводе ефрейтор Фомитсв осторожно закидывал удочку. Особенно же энергично обрабатывали в Екатеринославе, когда он, едва выписавшись из лазарета, согласился обучать красногвардейский отряд, получив таким образом возможность натренировать левую руку. Уговорил его один молодой большевик по фамилии Варейкис — их свел товарищ по офицерскому лазарету, оказавшийся тоже большевиком. А Варейкис с первой же встречи приглянулся, произвел впечатление человека вполне интеллигентного — даже не верилось, что всего-навсего токарь.

При первом знакомстве, услыхав фамилию прапорщика, Варейкис поинтересовался:

— Черкасский? Вы что же, княжеского роду?

На такой вопрос приходилось отвечать не раз. И ответив то, что отвечал в подобных случаях всегда:

— Нет, я не из князей. Те князья из кавказских черкасов выходцы, оттого и фамилия такая. Но черкасами еще правобережных украинцев называли. Здесь, довыше, по Днепру, и город есть такой — Черкассы.

— Знаю, — сказал Варейкис. — А ьы, значит, из этих мест, с Поднепровья?

— Да. Мои деды испокон веку на Киевщнне обитали. Но пролетариев в нашем роду не было, предупреждаю.

— А зачем предупреждать? Мы и так видим. Нам важно не ваше родовое прошлое, а ваше личное, сегодняшнее отношение к делу освобождения пролетариата. Если относитесь сочувственно и согласны помочь нам…

Насчет сочувствия прапорщик тогда умолчал, не посмел кривить душой. Но помочь согласился.

Теперь же не торопился с выводами.

Не забыл, как в первый же день его выхода из лазарета трое с красными повязками на рукавах сорвали с него погоны. Могли он отбиться одной рукой? Хорошо еще, что не дошло до стычки… А вскоре согласился обучать таких же, как те, что посягнули на его боевые погоны — личное знамя офицера!

Вновь надел он их, как только возвратился в родной город. И

при полной форме явился в штаб Киевскою военного округа, где потребовал, чтобы его отправили на фронт, желательно — в тот же полк, где служил и был ранен. О своих екатеринославских экзерсисах, разумеется, умолчал.

— Но вы же непригодны к строевой. Уж оставайтесь при нашем штабе.

— В штабе и без меня офицеров хватает. А на фронте воевать некому.

— Без намеков, прапорщик! Мы здесь тоже… не в бирюльки играем. И среди нас, штабистов, немало есть увечных, вроде вас. И даже георгиевских кавалеров… хотя теперь все эти награды — детишкам играть. А что они кровью заработаны — кому интересно?.. Ладно, мы отвлеклись! Вернемся к вашему рапорту. Ведь вы… вы даже на спусковой крючок, простите, пальцем на давить не сможете.

— Я левую натренировал, бью без промаха. Могу продемонстрировать…

— Оставьте, прапорщик, оставьте! Здесь не стрельбище. Уясните же, наконец! Вы отвоевались. Сидеть бы вам да не высовываться, понимаете… Ну, пейте горилку в свое удовольствие. Могу даже компанию составить… Или женитесь, черт побери! Мало ли вокруг хорошеньких киевляночек? Мне бы ваши лета… И благодарите господа, что дешево отделались, могло ведь и всю руку оторвать, и ногу…

— И даже голову. Сам знаю. Однако настоятельно прошу направить меня на позиции. Я не возьму рапорта назад.

Седой подполковник, с которым велся этот разговор, еще раз взглянул на лежавший перед ним рапорт и заметал, что все буквы клонятся в неположенную левую сторону. Отсюда нетрудно было сделать вывод, что писался сей документ собственноручно. Стало быть, и в писании натренировался упрямец, успел! Подполковнику правился этот сероглазый прапорщик, оттого и не прервал его в самом начале разговора привычным окриком.

— Ну хорошо. Допустим, удовлетворим мы вашу прооьбу. Полагаете, тем самым отечество будет спасено и война закончена победно? Да знаете ли вы, наивная душа, что, покуда вы изволили по лазаретам кочевать да приучать свою левую руку писать и стрелять… знаете ли вы, что за это время фропт, мягко выражаясь, видоизменился? Части вымотаны и обескровлены, требуют смены и пополнения. А где взять смену, где взять пополнение? Где? Когда здесь, в тылу, все кому не лень предпочитают развлекаться усобицами, столь роковыми для нас еще ее времен сыновей Мономаха…

— Вот потому-то я и… Мое место на фронте.

— Да что вы заладили одно и то же, как попугай! — вконец рассердился подполковник. — Что за недопустимые пререкания! Вы что же, полагаете, в Киевском гарнизоне боевым офицерам дела не найдется? Да в ближайшие же дни, уверяю вас! Пусть только большевички начнут первыми… да мы их прихлопнем одним ударом. И покончим наконец с этой затянувшейся усобицей!

— Разрешите взять рапорт обратно?

— Что?.. А… Ну да, понятно. Не желаете проливать кровь соотечественников? Угадал я?

— Так точно.

— Тут и угадать нетрудно… Что ж, извольте. Вольному воля… Не будь вы увечным… ваше право конечпо же… А жаль! Очень жаль. Нам такие, как вы, нужны… Возьмите свой рапорт. А передумаете — милости просим, боевым офицерам всегда рады.

— Нет уж, господа! — прапорщик скомкал в левой ладони свой возвращенный рапорт. — К чертям вашу политику! Если мой солдат, закрывавший меня от тевтонской пули, вдруг окажется с большевиками, я в него стрелять не стану! Раз не направляете на фронт, то уж лучше…

В тот же день, поближе к вечеру, увечный прапорщик Мирон Яковлевич Черкасский сделал предложение юной киевлянке Неле Ильиничне Юдановой.

Здесь уместно будет обратиться к недалекому прошлому и поведать кое-что о событиях, предшествовавших упомянутому только что поступку.

Еще до войны Черкасские занимали квартиру в добротном коммерческом доме на Лютеранской, неподалеку от ее пересечения с Левашовской, где стоял домик Юдановых. Семьи дружили издавна. В одной семье росли два сына, в другой — две дочери. И — редкостный случай! — взаимные симпатии детей не противоречили заветным чаяниям родителей.

Но в течение одной лишь недоброй ночи братья Черкасские осиротели: их родители не проследили за печью и уснули, а угарный газ, как известно, запаха не имеет и разит людей коварно, исподтишка, чаще — спящих… Оба брата в ту ночь дома не ночевали: взрослым парням дозволяется иногда заночевать у друзей после холостяцкой пирушки. А наутро — хуже похмелья…

Вскоре началась война. Старший из братьев, едва окончив Политехнический институт и успев вступить в РСДРП, ушел вольноопределяющимся, попал во 2-ю армию генерала Самсонова и в конце августа первого же года войны пал в сражении под Танненбергом, как раз в том самом историческом месте, то есть в тех самых лесах, где еще в пятнадцатом веке объединенные силы

славян разбили тевтонских рыцарей… Ася, старшая дочь Юдановых, некоторое время погоревала о погибшем женихе, но затем утешилась с неким расторопным юристом, забавно окающим волжанином, которого прихотливая Фортуна, сговорившись с Фемидой, забросила зачем-то в Киев.

Младший Черкасский, Мирон, так и не окончив университета, но окончив школу прапорщиков, тоже отправился в действующую армию. Политических взглядов своего погибшего брата он не разделял, однако всегда был готов без колебаний ввязаться в любую потасовку, если попахивало какой бы то ни было несправедливостью. И эта черта нередко сводила его весьма близко с революционерами. Теперь же, вернувшись в родной город, он застал такое обилие партий и программ, что воспринял все это как сплошную неразбериху, и определить, где правые, а где не правые, покамест не сумел. На фронте ему было все несравненно яснее — туда он и стремился, хотя полное право демобилизоваться и зализывать раны.

После визита в штаб округа Мирон Яковлевич сам себе приказал в политические схватки не ввязываться. И — с подсказки доброжелательного подполковника — решился на шаг, о котором давно уже подумывал, то есть сделал предложение Неле.

Предложение было благосклонно принято. Илья Львович даже прослезился, а Елена Казимировна не преминула в который раз напомнить о своем королевском происхождении. Со свадьбой же решили повременить до более спокойных времен.

Что же касается такого немаловажного в жизни человека обстоятельства, как место проживания, то… Квартира Черкасских на Лютеранской была безвозвратно потеряна: пока Мирон воевал, хозяин умудрился сдать его квартиру другой семье. Видимо, рассчитывал, что младший брат по примеру старшего с поля брани не вернется. Однако прапорщик Черкасский вернулся, не отказал себе в удовольствии угостить перепуганного мерзавца левым апперкотом,[3] извинился перед ни в чем не повинными новыми жильцами, забрал немногие чудом сохранившиеся книги и — по приглашению Юдановых перебрался на Левашовскую, в комнату, где до недавнего времени обитали Ася с мужем, ныне укатившие в Симбирск.

Всего этого, разумеется, не могли знать те киевляне, чьи любопытствующие взоры были привлечены прапорщиком-левшой. Не знали они, понятно, и того, что столь демонический в их представлении прапорщик был безоговорочно признан Бузуком — экзотическим котом, обитавшим в доме Юдановых. Кот не только не прятался от нового жильца, но — более того — терпеливо

ждал его в прихожей под дверьми, а дождавшись — терся о сапоги и приветствовал пришедшего коротким басистым кряхтением, поскольку мяукать не умел.

5. «ЧЕРВОНЦЫ»

Вступая когда-то в партию, работая в Подольске, Иосиф Михайлович тогда еще, разумеется, не задумывался о таком политическом явлении, как местный национализм. Здесь же, на Украине, с этим явлением пришлось столкнуться. Не на живот, а на смерть. И потому поневоле пришлось немало думать о таких прежде неведомых ему явлениях, как петлюровщина и гайдаматчина.

Какие корни питали их? В чем источник их силы и где их слабость? Что противопоставляет им революция?

Иосиф Михайлович вспоминал немало исторических примеров, свидетельствовавших, что никакая власть не может долго продержаться, не опираясь на реальную военную силу. Конечно, такая сила могла быть наемной. Даже заемной. Бывали в истории и примеры, когда власть держалась исключительно на копьях или штыках войска пришлого. Но власть, которая не желает быть преходящей, должна рано или поздно опереться на плечи соотечественников, на силу своего народа. Это Иосиф Михайлович в достаточной мере понимал.

Но можно ли утверждать, что того же не понимали политические противники большевиков? Скажем, те же деятели украинской Центральной рады? Конечно, понимали! Никогда не надо считать противника глупее себя — нет более опасного заблуждения, нет более верного пути к поражению.

Не оставляя надежд на поддержку заемных немецких штыков, Центральная рада приступила к спешному созданию собственных, национальных вооруженных сил. И, надо отдать ей должное, преуспела в этом деле.

По селам и хуторам Украины собирались отряды крепких и простодушных хлопцев, ошалевших от возможности покрасоваться в новом нарядном обмундировании и почувствовать себя прямыми наследниками славы запорожского казачества. Иосиф Михайлович не разделял бытовавшего уже в ту пору суждения, будто эти отряды «вильного козацьтва» состояли исключительно из куркульских сынков. Он знал — не только на основании собственных наблюдений, но и по отзывам местных товарищей, — что не так-то все здесь просто. Наслушавшись старинных песен бандуристов и вообразив себя единственными, незаменимыми защитниками «самостийной» Украины, забыв при этом, за что и против чего воевали прежние гайдамаки, садились на коней и хватались за сабля даже бедняки и батраки. Из таких казачьих отрядов формировались гайдамацкие полки — в

короткий срок Центральная рада получила в свое распоряжение реальную вооруженную силу, отнюдь не малую.

Одновременно с формированием верных Центральной раде полков «вильнго козацьтва» и в противовес им поднималась на той же Украине другая сила. Речь шла не только о революционных солдатах и красногвардейцах.

Иосиф Михайлович знал, что еще за месяц до его прибытия в Харьков туда же прибыл двадцатилетний большевик Виталий Примаков, сын учителя и близкий друг семьи писателя Коцюбинского, знаток древнеримских авторов и лихой наездник, еще до революции выступавший против войны и осужденный на вечную ссылку в Сибирь. Тотчас по прибытии в Харьков этот молодой человек умудрился разоружить 2-й Украинский запасный полк атамана Волоха, где задавали тон петлюровцы.

Иосифу Михайловичу не раз и охотно рассказывали, как все это было проделано. Поначалу Примаков сагитировал 3-й батальон полка, затем — опираясь на этот батальон и под прикрытием присланного Антоновым-Овсеенко броневика — совладал с остальными. После чего, подкрепив 3-й батальон красногвардейцами-добровольцами, Примаков в течение недели сформировал 1-й полк Червонного казачества и сам возглавил его.

Сейчас, в январе восемнадцатого года, «червонцам», как их тотчас окрестили в народе, предстояло первое боевое дело.

— Пахаря узнают по его первой борозде, — говорил Примаков, обращаясь к своим хлопцам, — а воина по первому бою…

Иосиф Михайлович смотрел на карту, чтобы представить себе предстоявший «червонцам» путь из Харькова на Киев через Полтаву, — в этом направлении и предстояло нанести главный удар по Центральной раде. На правом фланге, с севера — от Брянска и Курска, двигались семь сотен красногвардейцев. Им на подмогу с северо-запада — от Гомеля на Бахмач и через Новгород-Северский на Конотоп — наступала двумя колоннами сильная группировка под командованием Рейнгольда Берзина в составе трех с половиной тысяч солдат, четырехсот матросов и дюжины орудий. На левом фланге действовали красногвардейцы Екатеринослава, недавние соратники Иосифа Михайловича. А из Харькова прямиком на Полтаву — согласно приказу главкома Южного фронта Антонова-Овсеенко — двинулась главная ударная группа, возглавляемая лично Муравьевым.

Иосиф Михайлович невольно улыбался, вспоминая свою недавнюю стычку с темпераментным подполковником: как ни бесновался Муравьев, а комиссары-большевики из частей

отозваны не были.

Итак, группа войск Муравьева наступала на Полтаву. Впереди шел бронепоезд. В середине его, неузнаваемый под склепанными стальными листами, энергично пыхтел и дымил паровозик «ОВ», или попросту «Овечка», его четыре пары ведущих колес были сравнительно малого диаметра и без пробуксовки брали с места непомерную тяжесть панцирного состава. Спереди и сзади паровоза по четырехосной бронеплатформе, на каждой из них по концам две вертящиеся башни, в каждой башне пушка и два пулемета, с каждого борта еще по два «максима», а в центре крыши граненая башенка со смотровыми щелями. Прогибались рельсы и вдавливались в насыпь шпалы под тяжестью грозной боевой махины.

За бронепоездом в эшелонах следовали отряды солдат и красногвардейцев — нз Москвы, Харькова, Люботина… в каждом отряде — до тысячи штыков да еще шесть орудий. И, кроме того, в передовом эшелоне шел на Полтаву курень, то есть батальон червонных казаков Примакова. Против «вильного козацьтва» Центральной рады — революционная рать «червонцев». Иосиф Михайлович следил за ними с особым волнением: понимал, сколь немаловажный это фактор в сложнейшей обстановке разгоревшегося на Украине противоборства.

Пути, по которым шли бронепоезд и эшелоны, неоднократно портились, но их быстро приводили в порядок полтавские большевики-железнодорожники. Они же заблаговременно передали Муравьеву план Полтавы и дислокацию находившихся в городе частей, — это была неоценимая помощь.

Вместе с тем, как ни гордился Иосиф Михайлович действиями местных железнодорожников и «червонцами» Примакова, он отдавал себе отчет в том, что силы все же пока неравны. Шести с половиной тысячам наступавших советских войск противостояли более двадцати тысяч вооруженных до зубов казаков, солдат и офицеров Ценральной рады, из которых тысяч двенадцать (то есть вдвое больше всех красных сил) сосредоточилось в одном лишь Киеве — испокон веков неприступном.

Но как бы там ни было, а начинать надо было с Полтавы и взять ее во что бы то ни стало.

Подкатив под вечер к городу, бропепоезд открыл огонь по станции Полтава-Южная и на всех парах, минуя семафоры, ворвался на ее территорию. Стоявший на пристанционных путях бронепоезд неприятеля тотчас, не принимая боя, ретировался. Тут же подоспел на параллельный путь эшелон с «червонцами». Казаки расторопно выгрузились и, оставив по два часовых при

каждом вагоне, а с собою прихватив четыре «максима», двинулись пешими цепями на город. Их встретил неуверенный огонь, гайдамаки явно не ожидали столь скорого появления красных. Далее курень разделился: одна сотня направилась к почтамту и телефонной станции, другая — к Виленскому военному училищу, а третья — очищать прочие улицы. Вот когда пригодился своевременно переданный полтавскими большевиками план города!

Следует заметить, что в так называемых по традиции «сотнях» у Примакова насчитывалось по две с половиною сотни бойцов.

Оборонявший Полтаву гайдамацкий полк имени Богдана Хмельницкого откатился почти без сопротивления, остальные части тоже сопротивлялись весьма вяло. Не потому ли, что рядовые гайдамаки не испытывали особого желания драться с «червонцами» — по сути дела, такими же хлопцами, можно сказать — своими братьями? У Иосифа Михайловича такое предположение невольно возникало, но торопиться с окончательными выводами было пока преждевременно, слишком сложна была ситуация на Украине.

Самыми упорными оказались юнкера, но к утру и с ними было покончено. Над Полтавой поднялся красный флаг.

Первое свое боевое испытание «червонцы», оправдав и одежды своего молодого командира, выдержали с честью. В освобожденной Полтаве они, как и положено казакам, сели на добрых коней, захваченных у гайдамаков. Здесь же Примаков, не теряя часу, сформировал из полтавчан еще пеший курень и новый конный полк Червонного казачества, усилив его конно-пулеметной сотней.

Но — по меткому украинскому выражению — не говори «гоп!», пока не перепрыгнул.

Левые эсеры, хозяйничавшие в исполкоме Полтавского горсовета, потребовали, чтобы войска оставили город. Что тут оставалось делать перед лицом такой наглости? Решение, которое было принято большевиками, пришлось по душе Иосифу Михайловичу: левоэсеровский исполком распустить и передать всю власть тут же созданному ревкому. Необходимость такой чрезвычайной меры разъяснили населению в специальном воззвании, где, в частности, было сказано:

«Ясно, что ни один из прибывших отрядов не мог двинуться дальше, пока у него не было уверенности, что в тылу все спокойно, что в тылу все налажено, что подкрепления будут непрерывно прибывать…»

Иосифу Михайловичу интересно было бы знать, как

воспринял все эти события левоосеровский подполковник.

А Муравьев в эти дни испытывал двойственное чувство. С одной стороны, ему, как левому эсеру, следовало бы защитить распущенный большевиками Полтавский исполком и не поддерживать учрежденного ревкома. Но с другой стороны, как военачальник, который только что одержал еще одну победу и был весьма заинтересован в победах последующих, он понимал, что без уверенности в оставленной за спиной Полтаве он не сможет вести войска на штурм Киева, что и здесь большевики — нравятся они ему или нет — оказались объективно правы. Михаил Артемьевич нервничал, раздираемый противоречиями, ссорился с новыми властями Полтавы, выступал с резкими заявлениями и издавал приказы один грознее другого.

Когда Иосиф Михайлович прочитал текст одного из таких приказов, он насторожился и встревожился. И не он один. А в том приказе явно обезумевший Муравьев повелел «беспощадно вырезать всех защитников местной буржуазии». Так и было сказано! «вырезать»! И это — терминология новой власти?!

Дилетантство в политике, да еще опирающееся на вооруженную силу, — опаснейшее явление, чреватое непредсказуемыми последствиями…

Полтавчане перебудоражились, большевики возмутились, и Антонов-Овсеенко, узнавший обо всем из откровенного донесения самого же Муравьева, категорически запретил ему выступать с какими-либо политическими декларациями и вмешиваться в деятельность местных советских органов.

Получив такой запрет, Михаил Артемьевич затаил обиду. Но, делать нечего, пришлось смирить гордыню. Тем более что главкомом всех войск Советской Украины был назначен знакомый Муравьеву еще по Гатчинской операции Юрий Коцюбинский — сын известного украинского писателя, по возрасту мальчишка, по уже офицер с боевым опытом и участник штурма Зимнего, а закадычным другом нового главкома был как раз тот самый Примаков, который со своими «червонцами» находился в подчинении у Муравьева. Все это приходилось учитывать. И при взятии Полтавы червонные казаки Примакова проявили себя как серьезная боевая сила — с этим тоже нельзя было не считаться…

Развивая успех, части Муравьева без боя заняли Ромодан, а оттуда двинулись на Бахмач и Черкассы. Одновременно удалось войти в Кременчуг, где сразу же был сформирован 3-й полк Червонного казачестза — до семи тысяч штыков и сабель плюс десяток станковых пулеметов. В районе Кременчуга удалось также форсировать Днепр, захватить плацдарм на правом берегу и — после длившегося почти сутки упорного боя — разгромить и

обратить в бегство тысячи четыре офицеров, юнкеров, солдат и «вильных казаков» Центральной рады. При этом были захвачены богатые трофеи: орудия, пулеметы, железнодорожные составы.

Муравьев ликовал. Но опять-таки права народная мудрость: не говори «гоп!»…

Откуда ни возьмись, через Кременчуг, оставленный ушедшими вперед войсками, двинулась трехтысячная колонна противника при трех орудиях. На предложение сдать оружие ответили недвусмысленным матом. Чувствовали свою силу. Пришлось оставить город и отойти на Полтаву. И черт его знает, как теперь сложится столь блестяще развивавшаяся карьера Муравьева: не пришлось бы вслед за Кременчугом оставить и Полтаву — тогда о штурме Киева и мечтать не придется. Мпхаил Артемьевич был вне себя, спешно требовал подкрепленый, слал телеграмму за телеграммой. «Потеря Полтавы, — сообщал он в Харьков, — произведет ужасное впечатление и подорвет веру в нас». Антонов-Овсеенко на это ответил: «Обывательски преувеличена опасность у Кременчуга, меры приняты, будьте спокойны и по-прежнему решительны».

По приказу красного командования двинулись на Кременчуг эшелоны с красногвардейцами — ввинчивались в морозный воздух горячие паровозные дымы, звонко стучали колеса на стыках. Шли форсированным маршем сотни третьего куреня 1-го полка «червонцев» — пар шел от заиндевелых коней, вылетали куски льда и пригоршня снега из-под крепких копыт. И, как ни сопротивлялись те обнаглевшие три тысячи при своих трех орудиях, их вышибли из Кременчуга.

Успокоившись и вновь обретя решимость, Муравьев повел войска на Киев. Под его командованием продвигались вслед за рано заходящим солнцем красногвардейцы из Харькова, Полтавы, Сум, Люботина и других украинских городов. Шагали прибывшие на подмогу солдаты 11-го Сибирского стрелкового полка. Грохотали на неровных заснеженных дорогах орудия и зарядные ящики конной артиллерии. Катились по ровным рельсам три бропепоезда: один настоящий, бравший Полтаву, и два самодельных. Лишь под Березанью задержались они у взорванного моста…

Вскоре в Харькове стало известно: вся Левобережная Украина стала Советской. Иосиф Михайлович радовался безмерно.

Он не сомневался, что немалую роль здесь сыграли «червонцы» Примакова. Воображение художника рисовало Иосифу Михайловичу, как шли, курень за куренем, сотня за сотней, «червонцы» Примакова, готовые преодолеть, смести любую преграду на своем пути.

Железные мундштуки и прочные поводья в сильных и чутких пальцах всадников сдерживали и направляли нетерпеливую силу боевых коней. Железная воля, сила духа и душевная чуткость командиров-большевиков сдерживали и направляли необузданную молодую удаль и ярость червонных казаков.

Червонели ленты в гривах и челках коней, на лихо заломленных смушковых папахах всадников, червонели лампасы, значки на пиках и полотнище штандарта. Червоный цвет — цвет революции. Эхо цвет пролитой в боях крови, одинаковой у рабочего и крестьянина, у солдата и студента. Одинаковый у русского и украинца, у поляка и еврея. В куренях и сотнях Червонного казачества стремя в стремя с украинскими хлопцами шли проливать свою кровь дети многих народов, для которых Русь веками была и осталась родной Отчизной, единственной и незаменимой.

6. НЕ ТОЛЬКО НА ПОЗИЦИЯХ

А борьба с врагом, как известно, идет не только на позициях. И порой не знаешь, где, когда и как попытаются ударить тебя в спину. Иосифу Михайловичу не раз уже доводилось сталкиваться с такими неожиданными попытками. Но на сей раз… Такой, казалось бы, на первый взгляд сугубо мирный, далекий от боевых дел участок…

Еще в Подольске, рисуя пейзажи, он не раз примечал: незадолго до перелома погоды, перед дождем, дым от заводских и паровозных труб не улетает в небо, а льнет к земле, расползается повсюду мутной мглой, от которой лишь в горле беспокойство — кашель неудержимо просится. Видел он такое в Екатсринославе, а особенно в Харькове, где заводских и паровозных труб — не счесть.

А сегодня разлилась по городу мутная мгла — слухи. Не к дождю — к иному ненастью. Из каких же нечистых труб они выбрались?

— Сусидка, а сусидка? Кажуть, усих наших диточок у школу нэ допустять. Чи чулы?

— А то як же! Уси про це говорять. И нэ тильки пэ допустять, а хто у школу увийдэ, того звидты прикладами по потылыци…

— Не верю! Я сегодня должна дать диктант. Программа есть программа!

— Да вы вообразите только озверевший солдат или этот… как его… ну, пролетарий с ружьем… вот-вот, красногвардеец… и против детей! Пожелавших, видите ли, учиться…

— Ироды!

— Нет бы германца победить — со школярами воевать надумали!

— А вы как полагали, почтеннейший? Школа, ученье — это все, видите ли, буржуазные предрассудки, проклятое наследие старого мира. Революционерам такая роскошь, как просвещение, ни к чему — одна только помеха в ихней классовой борьбе…

— Брось брехать, товарищ!

— Гусь свинье не товарищ. А брешут собаки.

— Что бы ни было, я пойду в школу. Я педагог, мое место там, с учениками. Что бы ни было!

— Не советую, пан вчитэль. Зря на рожон лезете. Бо, як кажуть, бережэного бог бережэ.

— Мадам Дзюба! Вы пустите сегодня своего Стасика в школу? Я свою Наталочку не пущу. Боюсь!

— Ось побачитэ, громадянэ, до чого ще дойдуть бильшовыки.

Сами дойдуть та й нас довэдуть…

Если бы Иосиф Михайлович знал об этих разговорчиках лишь по сообщениям товарищей! Но он сам слышал, своими ушами, в самых разных местах города. Понимал: очередная провокация.

Но в душе все кипело. Легко ли остудить ее, когда слышишь подобное, когда сталкиваешься с ложью и наглостью? Душу остудить трудно. А голову — нужно.

Чтобы большевики были против просвещения? Чтобы Советская власть закрывала школы? Чтобы красногвардеец замахивался прикладом на ребенка?! Можно ли вообразить что-либо нелепее, противоестественнее?

Другое дело — закрыли все кабаре и кафешантаны в Харькове. И рестораны — только до одиннадцати вечера. Винные склады опечатаны. Это правильно, это по-большевистски! Но чтобы — школы… Чушь какая-то собачья! Какому олуху царя небесного придет подобное в голову?

Но, возможно, все это придумано отнюдь не олухами. Иосиф Михайлович никогда не заблуждался насчет того, что враг — вовсе не дурак. Понимал, что в данном случае провокационный слух придуман и пущен, чтобы сорвать занятия в школах, нарушить нормальный ход мирной жизни граждан. И конечно же обвинить в этом большевиков. Хитро затеяно!

Лучшее средство борьбы с любой клеветой, с любыми обывательскими слухами — открытое, недвусмысленное слово правды. Именно к такому средству должна в подобных случаях прибегать партия большевиков и власть Советов. Для того, кстати, существует своя пресса — надежное оружие в борьбе с неправдой. И грех это оружие не использовать. Таково было его мнение.

И вскоре с газетной полосы прозвучало:

«Ввиду того, что по городу упорно распространяются слухи о предстоящем будто бы разгоне силою оружия учеников из учебных заведений, считая слухи эти чисто провокационными, бьющими на то, чтобы подорвать правильное течение занятий в учебных заведениях, Исполнительный комитет постановил через посредство печати оповестить педагогический персонал, родительские комитеты и учащихся всех учебных заведений Харькова о том, что слухи эти ни на чем не основаны…»

7. ЕЩЕ ОДИН ПОСЕТИТЕЛЬ

В кабинете запахло нафталином. Так ощутимо, что Иосиф Михайлович даже притронулся пальцем к своему длинноватому носу.

Запах шел ог посетителя, точнее — от его пальто. Знать, никакие зимние ветры не выдули этого стойкого запаха, от которого якобы изводится моль и, следовательно, сберегается одежда. Однако пальто на посетителе не выглядело сбереженным. Котиковый воротник, когда-то черный и блестящий, теперь потускнел и поистерся до красноватого оттенка. На ногах у посетителя серели стоптанные боты — от двери через весь кабинет протянулись мокрые следы. Говорил посетитель с астматической одышкой, комкая рукавицы и ушанку.

— Простите, товарищ Варейкис, это я… это снег… Но я вытирал ноги у входа, поверьте!

— Не сомневаюсь, — успокоительно ответил Иосиф Михайлович. — Присаживайтесь. Я вас слушаю.

Лицо посетителя, болезненно-одутловатое, судя по всему, не менее двух суток отдыхало от бритвы.

«Ему тяжко сейчас, — определил Иосиф Михайлович, глядя в утомленные, припухшие глаза. — Очень даже тяжко. Он не привык переносить такие тяжести, это с ним впервые». Хотелось думать, что посетитель — не поверженный враг, а мирный обыватель. Глядя на его больное лицо и столь «ароматное» пальто, видя его унылые глаза, слушая натужное дыхание, Иосиф Михайлович испытал чувство простой человеческой жалости. И решил, коль скоро это не окажется почему-либо невозможным, всячески помочь бедняге, поддержать его. И повторил как можно ласковее:

— Так я слушаю.

— И на том спасибо, как говорится, — несчастный улыбнулся кривовато. — Помните, у Чехова… Это такой очень интересный беллетрист…

— Я читал Чехова.

— Простите, я не… Извините, бога ради!.. Так у Чехова, если читали, помните такую поучительную новеллку…

— Вынуждеп прервать вас. Если можно, поближе к делу. Ведь вы пришли ко мне с каким-то делом?

— Да, я пришел к вам. Именно к вам, товарищ Варейкис… Я буду говорить тривиальности. Народ сказал метко: голод не тетка. Я осмелюсь добавить: и вообще не родственник. А если говорить проще, то, поверьте, очень это плохо. Очень плохо, когда

нечего есть. Когда нечем кормить семью. Когда нет хлеба. Очень плохо тогда. Такая тривиальная истина…

— Да, это истина. И вовсе не тривиальная. Но у нас, вы знаете, норма. И у меня — такая же, как у большинства. А в России рабочие голодают.

— Знаю, знаю! Вы меня превратно поняли. Я не пришел просить хлеба. Я свою норму… свою жалкую норму!.. имею. И не прошу большего. Я хотел лишь сказать, что если человеку плохо без хлеба, то… Ну, вы сами понимаете, без одежды тоже неуютно…

— Конечно, — согласился Иосиф Михайлович, снова взглянув на пронафталиненное пальто и невольно сравнив его — хотя и проеденное молью, но все же более теплое — со своей легкой шинелишкой.

— Да, да, товарищ Варейкис! — перехватил и весьма точно истолковал его взгляд посетитель. — Я ведь вижу, что вы не в собольей шубе щеголяете. Я ведь… потому и пришел к вам… Но нет, не поймите меня превратно! Я не пришел просить одежду…

— Если можно, пожалуйста, покороче. Я понимаю, вы применяете метод исключения, вам так легче. Но, пожалуйста, постарайтесь, изложите вашу просьбу сразу. Без преамбул.

— Без преамбул? Метод исключения? — судя по оживившимся глазам, разговорчивый посетитель был приятно поражен тем, что представитель новой, рабоче-крестьянской власти пользуется столь изысканной лексикой! — Да, конечно, понимаю… Да, вы правы, я посягаю на ваше драгоценное время. Прошу извинить. Вы правильно поняли, методом исключения мне действительно легче. Знаете, есть люди, которым ничего не составляет обращаться с просьбами. Я к этой категории, увы, не отношусь. Мне легче оказать помощь другому, чем попросить о помощи. Но страдают от этого близкие, страдает семья. И я… буквально заставил себя… Вот и верчусь и кручусь вокруг да около, вместо того чтобы сразу и прямо… Да поймите же, товарищ Варейкис, это… это унизительно!

— Успокойтесь, гражданин. Давайте сделаем так. Я помогу вам высказаться. Я буду задавать вам вопросы, а вы просто отвечайте на них. Такая форма не заденет вашего самолюбия?

— То есть… вы предлагаете… как на допросе? Что ж, лучше уж как на допросе, чем как на паперти.

— А вас когда-нибудь допрашивали?

— Никогда, слава богу!.. Простите, я, кажется, сказал бестактность? Спрашивайте, товарищ Варейкис! Я готов отвечать, мпе так и впрямь легче будет. Я только хотел сказать, что без жилья тоже плохо. Спрашивайте!

— Ну вот! — Иосиф Михайлович облегченно рассмеялся. — Вы нуждаетесь в жилье?

— Да! Именно в жилье! И не просто нуждаюсь, а… Иначе я бы не…

— Понимаю. Разрешите задать вам еще несколько дополнительных вопросов. У вас большая семья?

— Да, не слишком маленькая. Моя престарелая мама, она парализована и не только не может ходить, но и… Раньше была сиделка, была прачка, была горничная. А теперь… Нет, я не ропщу, я все понимаю!

— Так вы начали перечислять состав семьи, — вернул его в русло Иосиф Михайлович. — Мать и жену вы уже назвали. А еще?

— Да-да, простите, вечно я отвлекаюсь… Еще четверо детей. Сашенька — гимназист. Но какая теперь учеба? Нет, я понимаю… Анечке — четыре годика, Манечке — три, а Сонечке — и двух не наберется.

— Значит, вы единственный кормилец в семье?

— А что делать?

— А где и кем вы работаете?

— Уже нигде и уже никем. Но я не прошу денег, товарищ Варейкис!

— Я и не могу их предложить, при всем желании. Я помню, вы просите жилье. А где и кем вы работали прежде?

— Я дантист. У меня была частная практика, я принимал пациентов на дому.

— Значит, у вас была своя квартира?

— Разумеется. Иначе я не смог бы практиковать. А теперь. С кого теперь брать свой скромный гонорар? С рабочих? Если ко мне придет с кариозным зубом красногвардеец — мне не только неловко брать с него гонорар, мне даже негде его принять! А явится матрос со щекой, раздутой от флюса, я кое-как найду уголок, чтобы оказать ему неотложную помощь, но вынужден буду причинить ему боль — так он, чего доброго, усмотрит в этом контрреволюционную провокацию и, не задумываясь, пристукнет меня прикладом…

— Так уж сразу и прикладом? — Иосиф Михайлович покачал головой недоверчиво. — А если спасибо скажет? А?.. Так куда же все-таки девалась та прежняя ваша квартира?

— Туда же, куда девался мой кабинет, где я работал. И, поверьте, работал добросовестно! Старался избавить людей от страданий…

— Вас что, уплотнили?

— Именно! Оказалось, что я не врач, а зажравшийся паразит, сосущий кровь… Но мало того, теперь меня и мою семью должны

выставить даже из той единственной комнаты, в которой мы все ютимся, все семеро. Выставить как злостного задолжника по квартплате. А чем, спрашивается, могу я погасить этот долг? Чем?! Нет, я все понимаю…

— Я тоже все понял. Задаю последний вопрос. Хотите работать?

— По профессии?

— Да. Но не в домашнем кабинете, а в советском медицинском учреждении.

— А это… такое возможно? Вам это… нужно?

— Это нужно прежде всего вам. И, полагаю, вполне возможно. Потому что нам тоже нужно. Если согласны, я помогу вам устроиться.

Безработными Харьков был наводнен. И с жильем в городе дело обстояло не легче. Готовился декрет по этому вопросу — в частности, предполагалось освободить от какой-либо квартплаты таких безработных, как этот бедняга дантист; таких нетрудоспособных, как его мать; таких учащихся, как его сын. Иосиф Михайлович быстро написал несколько строк, сложил бумагу пополам, передал посетителю, деловито сказал:

— Здесь указан номер комнаты, в нашем же здании. И фамилия товарища, которому передадите эту записку. Он позаботится и о вашем жилье.

— Огромное спасибо, товарищ Варейкис! Я знал-таки, к кому надо идти!

— Ничего вы не знали. Я-то как раз этими вопросами не занимаюсь… Впрочем, если что не так — известите меня.

Он хотел было добавить, что, по сути дела, нет таких вопросов, которыми не призван был бы заниматься партийный руководитель. Но говорить этого не стал. Лишь ощутил — уже не впервые — то согревающее душу чувство осознанного удовлетворения, когда удается сделать доброе дело, удается помочь тому, кто в твоей помощи чуждается и, главное, помощи заслуживает. Чувство это оказалось, пожалуй, не слабее того, которое не раз доводилось ему испытывать, проявляя непримиримую твердость перед наглостью недруга.

8. ДИАЛОГ

Диалог сей имел место зимним вечером в доме Юдановых на Левашовской улице занесенного снегом Киева.

Женщины в этот час хлопотали на кухне и потому не присутствовали. Зато в разговоре принимал молчаливое участие великолепный кот Бузук, мудрейший из мудрейших. Многозначительно жмурясь и подергивая усами, он вслушивался в знакомое звучание хозяйского голоса.

— Итак, дорогой Мирон Яковлевич, занесло меня однажды за пределы Малороссии, в так называемые Тульские засеки — широколиственные леса. Тянутся они от низовий реки Упы через всю Тульскую губернию и в давние времена не раз защищали Москву от набегов. Свое стратегическое значение засеки со временем потеряли. И Петр Великий издает указ, по которому все эти утесные угодья отдаются Тульскому оружейному заводу. Тогда же, при Петре, в засеках создаются лесничества, первые в России. Учреждается лесная стража. Любопытно, что до сей поры лесные кордоны там называются «казармами», а лесников величают «солдатами».

— Да, действительно, весьма любопытно.

— Это что! А ведомо ли вам, сколько прославленных наших художников побывало в тех благословенных краях? Репин, Шишкин, Ге… Если бы вы увидели эти пышные кроны вековых деревьев, таинственные заросли кустарников вдоль прохладных оврагов…

— Там, должно быть, и охота знатная?

— Да, дичи полно, сам Тургенев наезжал поохотиться… Но это все присказка, Мирон Яковлевич, сказка только начинается. Есть в Тульских засеках такой уголок… Торжественная тишина царит в нем. Только птицам да грозам летним дозволяется нарушать ее. Там, под сенью ветеранов-дубов, под скромным зеленым холмиком, без креста, без каменного надгробья… там спит великий человек…

— Догадываюсь, Илья Львович, Граф Толстой?

— Он! Лев Николаевич Толстой, Вы знаете, что сказал о Толстом знаменитый Кони? Послушайте, я выписал: «Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия», Великолепно сказано! И очень верно! Я бесконечно благодарен провидению, занесшему меня тогда в Тульские засеки. Мне посчастливилось побывать в Ясной Поляне

и даже беседовать с этим великим человеком. И те немногие письма его… я храню их как бесценную реликвию… Я их покажу вам сейчас. Я их мало кому показываю, но вам…

Юданов отпер ящик стола, достал потертый кожаный бювар, вынул из него несколько распрямленных листов, исписанных крупным, с наклоном почерком. Каждый лист начинался одинаково: «Дорогой Илья Львович!..»

— Даже не верится, что это он — мне! Что это его рукою начертано! И вот сегодня, когда его уже нет… Ну что я мелю! Его не может не быть, он есть, он всегда будет!

Илья Львович убрал письма обратно в ящик, вынул оттуда какие-то страницы, полистал, нашел нужное место и прочитал торжественно:

— «Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как Дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что истинное благо человека… в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними… Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее». Вот что ответил Толстой синоду. Вот что такое его вера, его мораль!

— Его мораль, если не ошибаюсь, непротивление злу?

— Да. Он считал, что добро, утвержденное злом, перерождается в новое зло. Ибо зло порождает зло.

— Добро тоже способно породить зло, Илья Львович. Если добро не противится злу, оно неизбежно порождает новое зло. А вы, судя по всему, надеетесь одной лишь воскресной проповедью убедить волка, чтобы он не резал себе на ужин овечку и предпочел поужинать травкой? По для этого надо, чтобы желудок у волка был устроен так же, как у овцы.

— Но Толстой…

— Я немало читал Толстого. Подставь вторую щеку, не так ли? Однако в своем ответе синоду, на который вы сейчас ссылались, он отнюдь не подставляет второй щеки.

— Ну, не в щеке суть. Главное же… Вот он и мне пишет то, что неустанно повторяет и твердит каждому… — тут суматошный старик снова полез в стол за письмами. — Вот, пожалуйста: «… счастье в том, чтобы не противиться злу и прощать и любить ближнего». Не мне одному он так писал. А я… я целиком… целиком и полностью разделяю эту прекрасную мысль. И не вижу в ней каких-либо противоречий. Я вижу в ней точнейшее определение понятия счастья, над которым человечество билось тысячелетиями. Дайте-ка иное определение, болео точное и

всеобъемлющее, попытайтесь. Не сможете!

— Отчего же? У меня, например, свое представление о счастье. Это максимальное приближение к осознанному идеалу.

— Заумно! Заумно, друг мой, и большинству недоступно. А определение Льва Николаевича понятно любому неграмотному мужику. Отсюда и небывалая для России прижизненная популярность. А что творилось на его похоронах!..

— С неграмотного мужика какой спрос, с бедняги? А вот мне, грамотному, в его столь популярном, как вы уверяете, определении счастья ничегошеньки не понятно.

— Что же вам непонятно? В чем усмотрели вы тут противоречие?

— Попытаюсь объяснить. Давайте рассуждать. Скажите, пожалуйста, Илья Львович. Смею ли я считать вас своим ближним?

— Безусловно! Как и я вас. Значит, если вы способны испытывать чувство любви к ближнему… Так ведь и Лев Николаевич призывает к тому же!

— Минуточку! Весь вопрос в том, что Толстой тесно увязывает любовь к ближнему с непротивлением злу. Вот в этой увязке и заключено противоречие. Представьте себе, что некто имярек причиняет зло вам. Вам, которого я люблю. Следуя завету Толстого, я не должен противиться этому злу, которое причиняется вам. Не должен противиться имяреку, а должен позволить ему беспрепятственно причинять вам зло?

— Нет-нет… Ну, право, кто и какое зло может мне причинить?.. Ваш пример звучит несколько… абстрактно, да.

— Еще конкретнее? Извольте! Я не стану особенно распространяться о своем отношении к вашей дочери, к Неле. Вы знаете. Но… не дай бог мне оказаться Кассандрой… но представьте себе на миг такую ситуацию. В нынешних наших обстоятельствах вполне, к сожалению, возможную… Мы с Нелей прогуливаемся по аллеям Александровского парка. И вдруг нам навстречу группа преступных негодяев. Они начинают приставать к Неле с оскорбительными домогательствами. Они намереваются причинить ей страшное зло. Как же в таком случае прикажете поступить мне? Послушаться графа Толстого и не противиться злу? То есть малодушно, подлейшим образом ретироваться и оставить свою невесту, вашу дочь, в лапах этих мерзавцев? Или — еще подлее и отвратительнее — остаться, дабы стать немым свидетелем, но только не противиться?!

— Вы говорите жуткие вещи! Успокойтесь, на вас лица нет!

— Нет уж, Илья Львович! Коли решился начать, доведу до конца. Уж будьте любезны выслушать, как ни задевает это ваши

чувства. О своих не говорю… Так в чем тут мое счастье? В любви к ближнему или в непротивлении злу? Совместимо ли такое непротивление злу с любовью к ближнему? Возможно ли совместить несовместимое? Вот где главное противоречие! А вы утверждаете… Нет, Илья Львович! Такого счастья мне не надобно, увольте! Я в подобном случае лишь могу поблагодарить судьбу за то, что остался хотя бы при левой руке… которая способна удержать наган… и барабан его еще не пуст!..

— Успокойтесь же, ну успокойтесь, я прошу вас… Не надо таких примеров, не надо! Налить вам заварки? Вы же голос сорвали, нельзя же так…

— Спасибо, я лучше из-под крана… Я сам, спасибо…

Мирон Яковлевич вскоре вернулся, вытирая платком усы, все еще бледный. Сел молча, сокрушенно мотнул головой.

— Прошу простить меня, Илья Львович… сорвался… Ни к чему это…

— Ну, и слава богу! — обрадовался добряк Юданов. — Давайте полемизировать… но без эмоций. Не надо… Давайте разберемся… пускай без равнодушия, оно невозможно, но и без излишней горячности. Ладно?

Тот молча кивнул, соглашаясь. Поощренный этим кивком, Илья Львович продолжал:

— Те примеры, которые вы привели… Ведь гений Толстого предугадал такие возражения. И ответил на них. Да, представьте себе! Когда речь зашла о всяческих… ну, скажем, разбойниках. Так он призвал нас не к убийствам, не к казням. Нет! Он призвал нас просвещать этих разбойников. Убедить их перестать быть разбойниками. Вот истинная гуманность великого человека!

— Гуманность? По отношению к кому? К так называемому разбойнику, который наверняка ведает, что творит? Или к его ни в чем не повинной жертае?

— Разве одно непременно исключает другое? Ну да, опять же, чтобы волки сыты и овцы целы… Вам все время хочется примирить непримиримое.

— А разве это так уж недостижимо? Нелегко, согласен. Особенно в России. Давно ли у нас на каждую книжную лавку приходилось едва ли не полсотни винных?.. Но разве не величайшее счастье — преодолеть все трудности и просветить народ, в том числе и разбойников? Пробудить в злодее дремлющие разум и совесть — вот в чем счастье!

— Ценою скольких несчастий? Ценою скольких невинных жертв? Не знаю, Илья Львович, не знаю…

— И я не знаю. Но если Россия не станет лучше, если народ не просветится, жизнь не станет справедливее, и люди не станут

счастливее… Для чего же тогда все это… вся эта… революция? Столько жертв, столько ненависти, крови! Я понимаю, точнее — пытаюсь понять… Дескать, что толку говорить о лесовозобновлении на площадях, не очищенных от сухостоя и валежника… Да, именно это — очищать! И вы, Мирон Яковлевич, так и тянетесь к топору… то бишь к револьверу. Очищать! Но, прежде чем рубить или стрелять, задайтесь вопросом: научены ли вы отличить больное дерево от здорового? Не получится ли так, что вы подвергнете санитарной рубке здоровые деревья, а больные, рассадник всевозможных гнилей, оставите на корню? Ответьте мне!

— Спросите что-нибудь полегче, Илья Львович. Но согласитесь, что, прежде чем просвещать разбойников, надо просветить… дровосеков? Вы сами к этому подвели. Я вам отвечу вопросом на вопрос. Всевозможных революционных партий у нас нынче — как во французском Конвенте, даже больше. К которой из них вы считаете себя ближе? Чья программа вам по душе?

— Моя программа, — заявил старый упрямец, — это программа непротивления злу насилием, программа Толстого. Не знаю, есть ли такая политическая партия и как она называется… Слушайте! Что это? Опять стреляют?

Бузук, услышав донесшиеся звуки, стремглав бросился под матрас.

— Да, — подтвердил Черкасский, прислушиваясь. — Похоже, что шрапнель. Со стороны Лавры…

9. ШТЫК ПРОТИВ ШТЫКА

Ночью было морозно. Но встало в заводских дымах безотказное светило — пригретый его лучами снег подтаял и перестал скрипеть. Иосиф Михайлович подумал, что зима в Харькове все же не столь упорная, как, скажем, в Подмосковье.

Подходя к Ващенковским казармам и увидев у входа часового в непомерном тулупе поверх шинели, опершегося на длинную винтовку с тонким русским штыком, он перестал думать о зиме. Мысли его приняли совсем иное направление.

Мастерская была создана при Ващенковских казармах для проверки и ремонта оружия. Оно поступало сюда со станции, где откатившиеся с фронта остатки старой армии разоружались и расформировывались. Проверенное и починенное оружие направлялось на заводы либо в здание Дворянского собрания, где теперь, при Советской власти, находились военные склады.

В эту мастерскую при казармах и направился сегодня с утра пораньше секретарь обкома Варейкис, чтобы побеседовать с рабочими и солдатами. Когда учуял знакомый запах смазки, увидел привычные глазу станки, промасленную ветошь и поблескивающую металлическую пыль, когда ощутил родственную приязнь к окружавшим его бесхитростным лицам, — тогда мысли перестали бестолково суетиться, построились, подравнялись, и теперь не так уж трудно было высказать их.

— Товарищи! — начал он и сразу же предупредил: — Не подумайте, будто я пришел сюда работать языком. К вам, работающим руками. Руками, вы знаете, и я действовать привычен. Но всем нам с вами надобно уметь трудиться не только руками, а также и головой…

Засмеялись почему-то. Почему? Даже рассердился.

— Ну что тут веселого? Я ведь не веселить вас пришел, для этого клоуны в цирке имеются. Я пришел о деле толковать.

Перестали смеяться. Теперь можно приступать к делу.

— Вот шел я сейчас к вам сюда. Гляжу, часовой стоит, как положено. Подумал: это хорошо, что часовой при входе, что винтовка при нем и штык при винтовке…

— А Декрет о мире еще лучше, — перебил его кто-то бойкий. — А руки при мирном деле и вовсе замечательно.

Здесь народ за словом в карман не полезет. Что ж, Иосиф Михайлович тоже не косноязычный. А с таким бойким народом, если сам не размазня, столковаться всегда можно.

— Согласен с вами, товарищ! Да, мир лучше. И от своего Декрета о мире власть Советов не отказывается. Но вот такая, к

примеру, ситуация. Вы желаете мирно трудиться у станка и мирно ходить за плугом. А тут является к вам некто и наставляет свой штык — того и гляди заколет. Что станете делать? Продолжать свое мирное занятие, не обращая на угрозу никакого внимания? А он вам штык в спину всадит! Чем ответите? Увещеванием?

— На штык, товарищ Варейкис, только штыком и отвечать.

— Штык против штыка, только так!

— Верно, товарищи! Молодцы! Лучше не скажешь. Да, штык против штыка! Вы знаете, о первых же дней нашей революции, невзирая на то, что мы сразу же заявили о своем стремлении к миру, кто только не пытался всадить свой штык в Советскую власть. В нас с вами, товарищи. В каждого из нас. Вы это знаете. Поэтому мы вынуждены, мы обязаны быть всегда на посту. И всегда при винтовке. И чтобы при винтовке всегда был штык…

— И патроны!

— И патроны тоже. Чтобы штыком и огнем ответить на штык и огонь контрреволюции. Да, снова и снова повторяю, Советская власть — за мир между народами. Но никакого примирения с классовым врагом! Советская власть — не добренькая бабушка, готовая стерпеть любую обиду и погладить по головке любого негодяя. Вы знаете, большевики считают необходимым ввести трудовую повинность для всех паразитов и тунеядцев…

— Самим работы не хватает, товарищ Варейкис!

— То особый вопрос, и его тоже будем решать. Но и паразитов трудиться заставим, работать за них, кормить своим трудом всяких дармоедов не будем! И мы не намерены церемониться со всеми, кто так или иначе мешает Советской власти выполнять свой долг перед трудящимися. Мы будем непримиримы и беспощадны к контрреволюционерам всех мастей! Мы не смеем забывать ни на минуту, что революционным завоеваниям пролетариата угрожает штык доморощенной контры и мирового капитализма. Противопоставим же этой угрозе свой штык — штык рабочих и солдат, поднявшихся против насильников. Штык против штыка! Вот почему, товарищи, так важно то, что вы здесь, у себя в мастерской, делаете. Вот об этом хотел я с вами потолковать, для этого и пришел…

Когда выскажешь все и слово твое доберется до тех, к кому оно обращено, — насколько легче становится… До самого конца дня, начавшегося с беседы в мастерской при Ващенковских казармах, настроение у Иосифа Михайловича было приподнятым, дела ладились, помехи устранялись, хотелось передать заряд бодрости другим, верилось в самое светлое и отнюдь не такое уж далекое будущее.

10. БЕЗДЕЛИЦА

Приподнятое настроение сохранилось у Иосифа Михайловича и на другой день. Но какой-нибудь пустячок, этакая мелочишка, безделица, черт знает какая чепуха досадит внезапно — и прежнего настроения как не бывало. Настрой души человеческой, оказывается, штука тонкая…

Вместо давешнего пальто на нескладной фигура дантиста нелепо сидела явно тесная ему шинель. И щеки были выбриты, и глаза ожили. Значит, записка тогда подействовала — бедняге помогли. Отрадно! Однако что жо в таком случае снова привело его к секретарю обкома? Новая просьба? Ведь сказка Пушкина о волшебной колотой рыбке и ненасытной старухе вряд ли когда-нибудь устареет. Так неужели этот дантист… Жаль! Не хотелось бы так думать. Но никакого другого объяснения повторному визиту Иосиф Михайлович пока не находил.

Он суховато поздоровался с вошедшим, не предлагая присесть, сам поднялся из-за стола и вышел навстречу, как бы давая понять, что на долгие разговоры временем не располагает, но и никак не ущемляя человеческого Достоинства посетителя.

— Здравствуйте. Слушаю вас.

— Вы узнали меня, товарищ Варейкис? Я был у вас…

— Да, я не забыл. Надеюсь, все в порядке? Вам помогли?

— Еще как помогли! И вторую комнату… и работа — при госпитале… и обмундирование… и от квартплаты освободили! У меня нет слов! Я так вам признателен, товарищ Варейкис, так признателен!

— Спасибо за признательность. Но — не мне лично, а Советской власти. Так будет справедливо.

— Нет, товарищ Варейкис, нет! И вам лично тоже. Уж позвольте…

— Не позволю.

— Но могу я задать вам всего один вопрос?

— Спрашивайте.

— Когда у вас день рождения?

— Зачем это? — насторожился Иосиф Михайлович.

— Ну, может ли… смеет ли рядовой гражданин республики… имеет ли право поинтересоваться, когда родился один из руководителей республики? Что здесь какого?

— Действительно, что здесь такого? — Иосиф Михайлович пожал плечами и, с трудом подавляя вскипевшее раздражение, повторил: — Что здесь такого? В моем дне рождения… Да, для близких, для друзей — естественно… Но для всех граждан?..

— Но для всех гразкдан вы — один из руководителей республики!

— Я не считаю, дорогой товарищ, что мой день рождения является событием в истории республики.

— Товарищ Варейкис! — не унимался дантист. — Я не согласен, но не смею настаивать. Я все понимаю… Но поймите и вы. Мне так хочется от души поблагодарить! Я хотел это сделать ко дню вашего рождения. Но раз вы не желаете… Тогда позвольте мне сегодня, сейчас же…

Тут он засуетился, добывая из-под шинели какой-то сверток. Затем, настырно тыча сверток в руки хозяина кабинета, залопотал отрывочно:

— Позвольте… в знак признательности… из семейных реликвий, не успели продать… просто статуэтка, забавная такая безделица…

Иосиф Михайлович отступил на шаг, быстро убрал руки за спину и негромко отчеканил:

— Прошу немедленно покинуть помещение.

Дантист посерел выбритыми щеками, решительно положил сверток на стул и молча направился к двери. Со спины, в тесной шинели с растопыренной складкой над хлястиком, он показался таким жалким, таким обиженным…

— Стойте! Вернитесь. Вы забыли свой сверток.

— Я не забыл. Я ничего не забыл!..

— Забыли, дорогой товарищ. — Иосиф Михайлович почувствовал, что нет в нем больше гнева — одни, лишь досада и сожаление, они и прозвучали теперь в его голосе: — Забыли свой сверток. Заберите же его. Пожалуйста. Хотя бы из уважения ко мне…

Эх, дурень, дурень! Так испортил настроение.!.

11. БОЙ ЗА КИЕВ

В середине января в помещении Коммерческого института собрались депутаты Киевского Совета. Большевики предложили объявить общегородскую стачку и поднять вооруженное восстание против Центральной рады. Их предложение было принято…

А тем временем спешили к Киеву лихие «червонцл» Примакова, успевшие одолеть под станцией Круты отборные силы пехоты и конницы, которыми командовал сам Петлюра. Осененные красным штандартом, шли на рысях, обгоняя солнце. За червонными казаками поспевали отчаянные балтийские матросы, бывалые солдаты революционных полков, отряды беззаветно преданных рабочему делу красногвардейцев.

Не стали дожидаться киевляне, поднялись. Арсенальцы, как всегда, начали первыми: разоружили охрану, опоясали заводскую стену окопами и баррикадами. Сюда, к «Арсеналу», стягивались отряды повстанцев, чтобы получить оружие и боеприпасы, продукты и медикаменты. Но еще до рассвета их внезапно атаковала пехота Центральной рады, поддержанная двумя бронеавтомобилями. Атаку, правда, удалось отбить, однако противник подтянул подкрепления и блокировал мятежный завод, отрезав его от прочих районов города. От осажденного «Арсенала» во все концы и обратно, под носом у осаждающих, сновали без устали подростки с неустоявшимися голосами, сегодня добровольные связные революции, а завтра — защитники баррикад, гавроши Киева…

Киевские железнодорожники, расправившись с патрулями петлюровцев, объединились в отряд силою до трех сотен штыков. Красногвардейцы Демиевки — с деревообделочной фабрики, снарядного и пивоваренного заводов — гнали гайдамаков вдоль Большой Васильковской едва ли не до самого Крещатика, оттягивая на себя таким образом часть вражеских сил, затем объединились с путейцами и закрепились на Байковой горе, где установили несколько орудий, прикатили «максимы» и открыли пальбу по железной дороге, тревожа вечный соя погребенных в толще горы неисчислимых предков. Эта пальба вынудила торопившиеся к городу резервы Центральной рады спешно выгрузиться из эшелонов и продолжать движение в пешем строю, под прицельным огнем красногвардейских орудий и пулеметов.

И все же силы были слишком неравными.

Баррикаду за баррикадой, дом за домом, улицу за улицей неустанно штурмовали все прибывавшие и прибывавшие

петлюровцы. Вражеские батареи били прямой наводкой, после чего под прикрытием броневиков устремлялась в атаку пехота. Пленных не брали, раненых пристреливали, закалывали штыками и рубили шашками. Уцелевшие повстанцы уходили проходными дворами, стараясь пробраться под защиту стен «Арсенала». В Киеве много проходных дворов…

От крепостных стен «Арсенала» отлетали желтые осколки прочного кирпича — на многие годы останутся темные оспины, покрывшие в те дни лицо революционной цитадели. И когда пролилась на белый снег красная кровь последних защитников цитадели, тогда в бледно-голубой морозной вышине, над золотыми куполами храмов, забелели здесь и там то ли неправдоподобно мелкие облака, то ли неправдоподобно крупные снежинки. Это рвалась шрапнель, посланная с левобережья подступившими к городу войсками Муравьева, с ходу взявшими Бровары и Дарницу.

…С левого берега виден был высокий правый. Над слегами сквозь прозрачные оголенные заросли светлели многочисленные храмы, увенчанные многоярусными главами, — красота невиданная. Иным храмам — почти тысяча лет! Вон слева внизу — нарядный Выдубецкий монастырь. В том месте, сказывали, прибило к берегу деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, когда сбросили его в Днепр дружинники князя Владимира, и народ все бежал вослед за плывущим Перуном, еще не осознав новой веры, не в силах тотчас отречься от поверженного кумира, и кричал ему: «Выдыбай, боже, выдыбай!» А там, правее, огороженные крепостными стенами сказочные строения Нижней Лавры, над нею — Верхняя Лавра с колокольней, которую видно было за много верст до подхода к городу. Еще правее, в дымке, виднелись купола Софийского собора, Михайловского монастыря и Андреевской церкви. И за всей той красотой несказанной в глубине города все еще лилась кровь: добивали повстанцев.

Скорей, скорей на подмогу! Успеть бы выручить, успеть спасти! Этой великой заботой были охвачены все — от молодых командиров до пожилых ездовых, завзятые «червонцы» Примакова и донецкие красногвардейцы Жлобы, матросы Полупанова — балтийцы с черноморцами, рабочие Москвы и Харькова, Петрограда и Полтавы, солдаты 1-го Кексгольмского гвардейского полка, 12-го и 13-го Туркестанских полков… все, кто подошел к Киеву с левого, восточного, берега и поглядывал в святом нетерпении на неприступные кручи правого. Там заняли позиции отборные части Центральной рады.

Почти три сотни пулеметов были нацелены с Киевских высот

на замерзший Днепр и низкий левый берег. На колокольнях, под куполами, сидели наблюдатели с полевыми биноклями. И четыре десятка зеленоватых орудийных стволов, будто сорок драконьих голов, готовы были изрыгнуть смертоносное пламя.

Правда, не меньше орудия насчитывалось и в войсках Муравьева — тридцать легких и десять тяжелых. Это после того, как к приведенным из Полтавы на конной тяге полевым батареям присоединились поднявшие красное знамя артиллеристы Дарницкого полигона. Да еще артиллерия подошедших к станции бронепоездов… Силища! Михаил Артемьевич невольно вспомнил артиллерийские страсти под Пулковом. Усмехнулся воспоминаниям. И отдал приказ открыть огонь.

Вот тогда-то киевляне и увидели в голубом небе своего города белые разрывы шрапнели. А вслед за тем услышали грохот ответной канонады. Без малого сотня орудийных стволов взревела над Днепром.

А бойцы рвались в бой — выручать погибающих повстанцев. Ждали только команды. И Муравьев дал команду.

Сидевшие на колокольнях наблюдатели увидели несметное множество темных человеческих фигурок, появившихся на левобережье и на льду Днепра, они неудержимо приближались к высоким быкам и фермам Цепного и железнодорожного мостов.

— Ур-ра-а-а!.. А-а-а-а!..

Сорвалась, захлебнулась первая атака: под прицельным пулеметным огнем с правобережья одни залегли и начали отползать на исходные позиции, другие же полегли и не двигались.

Но полтавчане с харьковчанами зацепились все нее за Труханов остров — напротив центра города. Плоский остров простреливался насквозь, голые кусты ивняка не укрывали. Там, где в мирную летнюю пору загорали на песочке пляжа киевляне, теперь лежали убитые, уткнувшись похолодевшими лицами в потеплевший от крови снег. Лежали вперемешку с живыми. И живые упрямо не желали покидать это гиблое место, не желали откатываться обратно в плавни, куда огонь противника не дотягивался.

И отряд Жлобы умудрился не только пересечь по заснеженному льду великую реку, но и вскарабкаться вверх по правому крутому берегу до самых лаврских стен, за которыми — под усиленной охраной — томились в ожидании расстрела почти полтысячи повстанцев. Потеряв чуть больше десятка убитыми и до полусотни ранеными, отряд перебил охранников, освободил приговоренных, вооружил их и — пополненный таким образом — завязал долгий бой с противником. Чуткие колокола лаврских

храмов отзывчиво позванивали с вышины, откликаясь на яростную ружейную пальбу. Центральной раде пришлось спешно перебрасывать к Лавре подкрепления с других участков.

А Муравьев был вне себя. В целом лобовая атака по днепровскому льду не оправдалась. Надо было сочетать удар через мосты с обходным маневром. Но где обходить, какими силами? Известно, что обходить лучше всего конницей. Получалось, что сделать это должны червонные казаки Примакова.

Михаилу Артемьевичу по-человечески нравился этот красный атаман с красивым, вдохновенным лицом под сдвинутой на затылок папахой, в ладном светлом полушубке с темной меховой опушкой, весь в ремнях, у левого бедра — не шашка, а какая-то кривая саблюка старинного восточного образца — то ли из музея, то ли от прадеда-сичевика… Они частенько спорили меж собой, но нетерпимый во всех прочих случаях в столь вспыльчивый Муравьев почему-то смирялся перед этим своим подчиненным, который был намного моложе его.

Так и на сей раз. Начавшись с обсуждения тактических деталей, их разговор все заметнее переходил в принципиальную полемику.

— Передо мной цель, Виталий Маркович, — убеждал Муравьев. — Взять Киев. И я возьму его. Любой ценой, любыми средствами. А вам и вашим конникам придется в этом участвовать.

— Участвовать — да, — отвечал Примаков, теребя темляк своей допотопной сабли. — Побеждать — да. Но не любыми средствами. Не любой ценой. Не ценой крови человеческой.

— Вы что же, намерены воевать… без крови?!

— Без крови в бою не обойтись, Михаил Артемьевич, знаю. Но без лишней крови, без лишних жертв обойтись можно. Я предпочитаю щадить человеческую кровь. В бою — свою. После боя — и чужую.

— А как же мы присягаем, торжественно произносим «не щадя своей крови»? Да вы просто… — Муравьев прищелкнул пальцами, подыскивая слово поделикатнее. — Да это же… мягкотелость какая-то! А мягкотелость и война несовместимы, Виталий Маркович. Так было, так есть, так всегда будет. Командир не может быть братом милосердия.

— При чем тут братья милосердия, при чем тут мягкотелость, Михаил Артемьевич? Извечные законы войны мне известны. И когда требуется, командир должен быть тверже кремня. Более того. Именно мягкотелость порой приводит к излишним, неоправданным потерям. Вот, например, вы мне прикажете вести

своих хлопцев в лобовую атаку, в пешем ли строю или в конном. Мы люди военные, я подчинюсь вам и заставлю других подчиниться мне. А в результате что получится?

— Возьмем Киев. — Муравьев пожал плечами. — Вот что получится. Чем плохо?

— Тем плохо, что лучших бойцов потеряем. Взятием Киева эта война не кончится, и потерянных людей нам в последующих боях очень даже будет недоставать. А главное, Киева так не возьмем. Потому что кони — не козы, на кручи по откосам не взберутся. А в пешем строю… Уже попробовали, что получилось, сами видели.

— Вы, — Муравьев нахмурился, — вы хотите сказать, что всему виной я?

— Нет. И если снова так получится, виноваты будете не вы один. Виноват прежде всего буду я. Потому что проявлю мягкотелость, не сумею твердо возразить вам, своему командующему. И погублю отборную революционную конницу. С таким трудом созданную. Которая еще не раз пригодилась бы. Вот как я понимаю, что такое твердость и что такое мягкотелость.

— А как вы понимаете в таком случае свой воинский долг? Свой долг перед революцией?

— Не надо таких высоких слов, Михаил Артемьевич! Высоким словам тоже может грозить инфляция. Уже грозит. Кто только сейчас не божится революцией, на каждом шагу! Не поминай революцию всуе, так бы я сказал сегодня. Что же касается долга… Не словами, а делами я показывал, как понимаю его. И, надеюсь, еще покажу…

— Что же, Виталий Маркович, так уж никаких слов в подкрепление своим делам не находите? Хотя бы и не слишком высоких. При вашей-то эрудиции…

Эрудиция Примакова была общеизвестна, Муравьев втайне даже завидовал такой славе своего подчиненного и не смог сейчас удержаться от соблазна подкусить его. Жаль только, что не при свидетелях. А тот усмехнулся затаенно, как одни только малороссияне усмехаться умеют, и промолвил тихо:

— О долге, Михаил Артемьевич, хорошо сказал когда-то Цицерон: при определенных условиях предпочтение лучшего худшему не противоречат долгу.

Муравьев только руками развел — крыть было нечем. Хорошо, что без свидетелей! Однако надо было немедля овладеть положением, не уступать мальчишке поля боя. И, наскоро собравшись с мыслями, командующий спросил;

— Ну, а какой же лучший вариант с участием вашей конницы предлагаете вы для взятия Киева? Худший мы с вами обсудили. А

лучший? Не в лоб, а, скажем, обходным маневром?

Вот так-то, голубчик! Возражать начальству нынче в моду вошло, тут все герои. А ты на деле еще разок проявись, как обещался давеча. Молчишь? То-то!

Но долго торжествовать Муравьеву не пришлось. Потому что молчал этот Примаков, чертушка этакий, не более минуты. И предложил сочетать фронтальный удар пехоты с обходным маневром кавалерии. И как раз в этот момент прибыл главком республики Коцюбинский, с порога поддержавший предложение своего друга…

Как только стемнело, «червонцы» тихо двинулись вдоль левого берега вверх по Днепру. Кони увязали в светлеющих снегах, опытные всадники набирали повод, не позволяя нырять и спотыкаться. Напротив Межигорского монастыря спешились и повели коней через Днепр. Кое-где оказалось слишком тонко — не один казак ушел под лед вместе с конем…

Переправившись, построились и помчались на Киев — со стороны Пущи-Водицы, откуда их никак не ждали. В конном строю ворвались на Подол и Куреневку. Почти отчаявшимся остаткам повстанцев почудилось, что это сон, когда из ночного сумрака возникла неведомая конная рать, неся на поблескивающих клинках спасение и надежду. Воспрянув духом, красногвардейцы-киевляне, не мешкая, принялись возводить новые баррикады. Часть «червонцев», спешившись, заняли боевые позиции на этих баррикадах. Остальные направили коней дальше.

К рассвету казаки Примакова взяли также Сырец, где захватили дюжину аэропланов. Продвигаясь вдоль Днепра на юг, оседлали одну за другой переправы. Тем же утром матросы Полупанова и другие пехотные части ударили из Дарницы по мостам, прошли их и начали подъем на правобережные кручи.

Полки Центральной рады, выбитые теперь из Лавры, «Арсенала» и Мариинского дворца, бешено огрызались, откатываясь к вокзалу и Лукьяновке.

Тогда Муравьев снова ввел в дело артиллерию.

— Громить город беспощадно! — неистовствовал он. — Огонь по Лукьяновке! Огонь по Киеву-Пассажирскому!

И снова ему возражали, снова его не слушались. Попробуй-ка покомандуй в таких обстоятельствах! Да, по его приказу полевые батареи открыли огонь, не молчали и бронепоезда. Но стреляли выборочно, щадя город и жителей, и в этом проявлялось ослушание.

— Моя задача — взять Киев и разгромить противника! — орал Михаил Артемьевич в ответ на возражения. — И вообще, что за бесконечные препирательства в боевых условиях? Черт бы

побрал всех этих большевистских умников! Черт бы побрал того Варейкиса в Харькове, который помешал избавиться перед походом на Киев от засилья ревизоров и нянек!

Михаил Артемьевич окончательно терял самообладание, не ощущая даже привычной радости близкой нобеды…

11. ПОГОВОРИМ О ДУШЕ

Революция — дело праведное. Но всегда находятся охотники примазаться к праведному делу — урвать под благовиддым: и благородным предлогом кусок пожирнее да полакомей. Какая только пыль не оседает на истоптанных сапогах революции, какая только грязь не налипает!

Так размышлял Иосиф Михайлович, быстро проходя в свой кабинет, по-прежнему не топленный. Он повесил фуражку на высоко вбитый в стену костыль (что висело прежде на этом костыле — вешалка, зеркало, портрет царя?). Шинель снимать не стал, только расстегнул. Сел за стол, швырнув перед собой чужой револьвер «бульдог», прозванный так за очень короткий ствол, — он тяжело и глухо стукнулся о зеленое в фиолетовых кляксах сукно стола. Задумчиво взглянул на тех, кто вошел с ним вместе. Их было двое.

Безусый паренек в мятой студенческой фуражке без герба, с черными наушниками, а на рукаве темной шинели — красная повязка. Он держал на изготовку артиллерийский карабин, почти упираясь в широкую спину второго.

Этот второй представлял собою фигуру весьма колоритную. Лицо не старое, но уже в склеротических жилках, а блекло-розовые белки глаз придавали ему некоторое сходство с дохлой рыбой. На крупной патлатой голове неприкаянно сидел, сползая набок, цивильный кругловерхий котелок. Вокруг мощной шеи небрежно навернулось шелковое кашне, когда-то бывшее белым, а теперь желто-серое. Из-под расхристанного полупальто виднелся офицерский френч с оборванными пуговицами, из-под френча — полосы матросской тельняшки. Немыслимой ширины синие галифе были вправлены в черные валенки, которые, в свою очередь, были втиснуты в блестящие галоши.

…Сегодня, свернув с Университетской улицы к Бурсацкому спуску, Варейкис заметил в темном закутке между зданием пожарной команды и ломбардом что-то явно неладное. Приблизился и за чьей-то напрягшейся широкой спиной увидел девичье личико, почти детское.

Из-под съехавшего платка выбились волосы, в залитых слезами карих глазах — отчаяние. У обутых в потертые сапожки ног — торба, из торбы высыпались светлые тыквенные семечки, прямо на грязный, затоптанный снег. Лицо девчонки — такого же цвета охры с белилами, как рассыпанные у ее ног семечки.

— Что здесь происходит?

— Не твое собачье дело! Катись, куда катился!

— Зачем же так невежливо? — Иосиф Михайлович подумал, что надо по возможности сдержать свой гнев, полыхнувший неукротимо. Надо разобраться. Он не знал, каким в ту минуту было его лицо, но тот, с широкой спиной, что-то углядел и принял к сведению. И другим уже тоном, с добродушной даже усмешечкой, заговорил:

— Ну, шо ты привязался? Хочешь в долю? Так бы и сказал. Давай поделимся, я не ласый.[4] Насиння[5] тебе, а ее — мне. Ну, шо зенки вылупил? Не нравится мое предложение? Тогда давай все поровну, по-революционному. Поделим с тобой и насиння и ее.

— Свое делишь? — спросил Иосиф Михайлович, едва сдерживаясь.

— Да ты шо, с луны свалился? Теперь все наше, никакой собственности! За шо ж боролись?.. Стой! — и он мгновенно схватил за руку несчастпую девчонку, попытавшуюся было улизнуть. — Куды? От меня еще никто не уходил!

Девчонка зарыдала в голос, тщетно пытаясь вырваться.

— Ты! А ну, отпусти ее!

Иосиф Михайлович плохо помнил, что произошло в последующие минуты и долго ли они длились. Помнил только, как увидел перед собой черное дуло «бульдога» и налитые злобой глаза с розовыми белками, как удалось перехватить и вывернуть крепкую чужую руку, отведя от себя короткий ствол. Тут подоспел студентик с карабином — вдвоем они быстро управились.

Еще в конце семнадцатого года в Харькове сформировалась боевая студенческая дружина, помогавшая коменданту бороться с бандитизмом. Немало студентов-дружинников стали большевиками, многие из них знали секретаря обкома в лицо.

— Что же вы один, товарищ секретарь, без охраны? — бросил укоризненно студент, когда вели обезоруженного верзилу.

Иосиф Михайлович не ответил. Все думал о той девчонке, о затопленных слезами карих глазах на детском личике, бледном, как тыквенные семечки. Живы ли родители? Может, ей помощь требуется? Да и одной ли ей? Скольких война оставила без родных! И встречаются им, беззащитным, вот такие типы, как этот. К сожалению, не так уж мало вокруг всякой накипи. «За шо боролись?» Надо же, на революцию сослался, сволочуга!.. Теперь стоит здесь, посреди кабинета, приуныл без «бульдога».

— Сядьте! — приказал Иосиф Михайлович, кивнув на стул у стены, — и — другим голосом — студенту: — А вы можете идти, товарищ. Спасибо за содействие.

— Позвольте остаться, товарищ секретарь, — возразил тот, выразительно повернув карабин в сторону усевшегося верзилы и

тем самым как бы высказывая опасение, не решаясь оставлять их один на один.

— Не беспокойтесь, в обкоме есть охрана. А у вас я и так время отнял. Извините и еще раз спасибо. Скажите там, на выходе, чтобы прислали двоих.

Студент вздохнул, неодобрительно помотал наушниками своей фуражки и вышел, закинув карабин за плечо.

— Документы есть? — спросил Иосиф Михайлович у задержанного, который сидел теперь поникший, подавленный, сняв с патлатой головы свой неуместный котелок.

— Какие документы? К чему бюрократия, секретарь?

— Бюрократия ни к чему, согласен. А порядок нужен.

— Мать порядка — анархия, — убежденно произнес тот, хотя похоже было, что затвердил механически, не вникая в суть.

В это время явились двое из охраны.

— Присаживайтесь пока, товарищи. Скоро отведете вот этого, хочу с ним потолковать… «Бульдог» у вас откуда?

— Как — откуда? Удивляешь, секретарь. Или я не боец революции?

— Из какого отряда?

«Боец революции» промолчал.

— Ясно! Кустарь-одиночка, значит. Только вот что. На революцию при мне больше не ссылайтесь, не упоминайте ее, так оно лучше будет… Ну, а сражались вы, боец-одиночка, с каким же классовым врагом? Который в юбке да годами еще не вышел? Да еще с «бульдогом» в руке…

Те двое, из охраны, засмеялись.

— Измываешься, секретарь?! — злобно прошипел задержанный. — Над безоружным измываешься?!

— Нет, не издеваюсь. Не имею такой дурной привычки. А вот вам, боец-одиночка… вам издеваться над безоружными и несовершеннолетними… Сестренка-то есть у вас?

— А ты мне в душу не лезь! — надрывно завопил тот, сорвав с бычьей шеи грязное кашне и вытирая им вполне сухие глаза. — Не лезь в душу, прошу тебя!

— Ну вот и расхныкался, — негромко, но жестко заметил Иосиф Михайлович. — Боец-одиночка…

Охрана снова засмеялась. А задержанный скомкал канше, швырнул его на пол и уже тише, но с нескрываемой злобой проворчал:

— Знаю я вас, комиссаров! В душу лезть вы все мастера.

— Вот как? Лично я, например, такому мастерству не обучен.

— Да что с тобой толковать! Вы все чистенькие, не курите, не пьете, с бабами не спите. А мы — грязненькие.

— Интересно. — Иосиф Михайлович откинулся на спинку стула. — Чем же чистенькие не угодили? Ну да, понятно. Если ты сам урод, то красавцы тебя бесят. И тебе хочется, чтобы все вокруг были уродами. Нравственными уродами.

— Это все разговорчики, секретарь! — задержанный вызывающе поднял патлатую башку. — В душу лезете, а души в человеке не признаете.

— Душа, душу, о душе… — секретарь сощурился насмешливо. — Не знаю, есть ли душа у вас, а если есть, то где она помещается и как устроена. А посему лезть в душу к вам, как вы изволили выразиться, никак не могу. Но вот губить невинные души… растлевать несовершеннолетних… да еще именем революции!.. Извините, этого мы вам не позволим! Никому не позволим! Можете не сомневаться. Прошли те денечки, когда всякая нечисть калечила тех, кто послабее. Хватит! Хватит и душеспасительных бесед… Уведите его!

Этот эпизод выбил Иосифа Михайловича из колеи. Но секретарь обкома не имеет права выбиваться из колеи! Так он считал.

Он занялся делами. Их была прорва, неотложных дел. Но мысли снова и снова возвращались к тому мерзкому типу в дурацком котелке и грязном кашне, к разговору с ним. С какой тупостью затвердил он девиз анархистов. «Анархия — мать порядка». Идиотский девиз. Залог порядка в… полнейшем отсутствии какого-либо порядка? В конечном счете что же — вообще не надо никакой власти? И власти Советов, в частности. Вот куда нацелен этот коварный и, выходит, не такой уж идиотский девиз! И сколько же неподготовленных, политически девственных голов забиты сегодня этой анархической демагогией! Значит, надо разъяснять всем, чьи головы засорены, что так не бывает, что рано или поздно вместе «никакой» власти неизбежно придет самая банальная диктатура отдельной личности, какого-нибудь полууголовного вожака…

Иосиф Михайлович вспомнил, что первый контрреволюционный мятеж здесь, в Харькове, затеяли именно анархисты. Еще в декабре минувшего года. Они тогда захватили дом № 57 на Пушкинской улице и устроили там свой штаб (а на черта, если вдуматься, анархистам штаб?). Комендант города Саенко не смог выкурить из того гнездышка вооруженных до зубов бандитов — совладать с ними удалось лишь революционным частям гарнизона. Воинская организованность оказалась все же сильнее анархического хаоса.

Человека мыслящего сам по себе процесс мышления может не то что успокоить, но ввести в колею, возвратить хотя бы душевное

равновесие. И об этом тоже подумал Иосиф Михайлович, ощутив, что мысленная полемика с анархистами вновь настроила его на деловой лад.

Он взглянул на часы, собираясь продолжить прерванную работу, и вдруг — вне какой-либо видимой связи с предшествующим эпизодом и недавними размышлениями — подумал, что, быть может, в эти самые минуты червонные казаки Примакова вступают на заснеженную мостовую Крещатика.

13. ВСТРЕЧА У ВЕРТЯЩЕГОСЯ СТОЛБА

Остатки разгромленных в Киеве частей Центральной рады бежали в Житомир. Им вслед, вместе с довершающими сражение выстрелами, уносился на крыльях январских студеных ветров дружный, жизнерадостный смех победителей, — красных бойцов развеселила шуба Петлюры, обнаруженная в одном из множества вагонов, захваченных на станции Киев-Товарная. При шубе находились и часы драпанувшего деятеля…

По неровным улицам древнего Киева шла красная пехота, в шинелях и папахах, волоча за собой тяжелые «максимы». Терзая конскими копытами утоптанный пехотой снег, проносились на рысях стремительные «червонцы». Меланхоличные ездовые лениво покрикивали на богатырских коней, впряженных в зарядные ящики и полевые орудия. Лошадки помельче, напрягаясь на подъемах и скользя на спусках, тащили множество повозок, двуколок, походных кухонь. И снова пехота — полк за полком, отряд за отрядом. И всюду — конники Примакова, то гарцующие на перекрестках, то мчащиеся куда-то вдоль улиц. Поговаривали, что еще две сотни «червонцев» формируются из киевлян.

На другой день возбужденные подростки расклеивали на вертящихся столбах для объявлений только что отпечатанное воззвание.

Заинтересовавшись, Мирон Яковлевич подошел к такому столбу и прочитал:

«КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ г. КИЕВА.

Граждане!

26-го с. м. в г. Киев вступили революционные войска, шедшие сюда во имя установления на Украине, как и по всей России, власти Советов. Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов.

Отныне власть в г. Киеве переходит в руки Киевского Совета Рабочих и Солдатских депутатов и избранного им Военно-Революционного Комитета. Рабоче-Крестьянское Правительство Украины — Народный Секретариат — по соглашению с Военно-Революционным Комитетом назначило комиссаром по гражданскому управлению г. Киева тов. Григория Чудновского.

Задачей Военно-Революционного Комитета и комиссара по гражданскому управлению является

принятие самых решительных мер в полном контакте с революционными военными властями к возможно скорейшему установлению в гор. Киеве подлинно революционного порядка и нормальной жизни гражданского населения города.

Военно-Революционный Комитет и комиссар по гражданскому управлению призывают всех граждан гор. Киева содействовать ему в этой работе во имя блага революции и всего населения. Военно-Революционный Комитет обращается к товарищам рабочим и ко всем трудящимся с горячим призывом и товарищеской просьбой немедленно возобновить нормальную работу на всех фабриках, заводах, предприятиях, магазинах и во всех казенных и общественных учреждениях, помня, что этого требуют интересы революции. В случае каких-либо попыток со стороны администрации учреждений и предприятий воспрепятствовать нормальному ходу работ Воен. — Револ. Ком. просит граждан немедленно доводить об отом до его сведения. Против всех саботирующих будут приняты самые суровые меры.

По всем делам гражданского управления надлежит обращаться к Военно-Революционному Комитету и гражданскому комиссару.

Прием во дворце — правый подъезд — во всякое время дня и ночи.

Председатель Военно-Революционного Комитета
Андрей Иванов.
Секретарь *Исаак Крейсберг.*
Комиссар г. Киева по гражданским делам
Григорий Чудновский».

Интересно, подумал Мирон Яковлевич, продолжая стоять у столба и глядеть на листок с воззванием, не тот ли это Чудновский, который вел у них на фронте агитацию? Боевой такой… Уже будучи в лазарете, прапорщик Черкасский слышал, будто после Февральской революции Чудновский стал членом корпусного комитета, а после объявился в Петрограде, участвовал в октябрьских событиях и был комиссаром у преображенцев. Если чернявый и с ямочкой на подбородке — значит, тот самый. Можно бы, конечно, пойти взглянуть. До Мариинского дворца — рукой подать. Правый подъезд, в любое время дня и ночи… А зачем? По каким таким гражданским делам? Попросить работу? Но какую? Что сумеешь ты, однорукий? Да мало ли что! Не

безрукий же вовсе… И не безграмотный. Да хоть учить школяров, вести историю он сумел бы. Но надо ли это новой власти? И, поди, безработных профессиональных педагогов хватает? Как бы там ни было, но быть дармоедом у Юдановых он тоже не намерен. Ну, а если все же по военной части? Значит, к красным. Другой власти в городе нет сейчас. А чем, собственно говоря, эта власть нехороша? Ну да, рабочие для них — «товарищи», вон на столбе написано. А увечный прапорщик — в лучшее случае «гражданин». Но чем плохо «гражданин»? Или «господин офицер» больше ласкает слух?

— Прапорщик? — окликнул его кто-то негромко и будто даже с радостным удивлением. — Ну да, Черкасский!

Оглянувшись на голос, Мирон Яковлевич увидел подпоручика Лютича. Точнее, бывшего подпоручика. Потому что на светлой папахе — лента красная. И шинель — как и у Черкасского — без погон, но не офицерская, а солдатская, на крючках (наконец-то в шинель переодеться догадался — кривые ножки прикрыты!). Какой уж тут подпоручик? Товарищ Лютич, иначе не назовешь. Улыбается, руку протягивает. Рад или прикидывается? Кто его знает? Чужая душа — потемки… Не слишком торопясь и не снимая перчатки, он протянул Лютичу левую руку.

— Извините, что не правую. И перчатку могу только зубами.

— Помню, дорогой, все помню! — Лютич энергично тряхнул левую руку Черкасского. — Поверите ли, чертовски рад вас видеть. Иду, понимаете, мимо, взглянул и… Господи, да это же наш прапорщик! Столько пережито вместе… Родное лицо…

«Ну, так уж и родное!» — подумал Мирон Яковлевич.

Они медленно зашагали рядом.

— Не глядите так хмуро, Черкасский! — Лютич подмигнул зачем-то. — Вы ведь не все еще знаете. Помните, когда вас ранило, сознание потеряли? Я ведь был при том…

— Да, вы были, — подтвердил Мирон Яковлевич, глядя под ноги. — Помню.

— А что у вас под гимнастеркой было припрятано, помните?

Он помнил. Более того, догадывался, в чьи руки могла попасть тогда прокламация, которую перед самым делом дал ему ефрейтор Фомичев.

— Большевистская прокламация была у вас там, Черкасский. За такую бумаженцию в те дни… сами знаете. Наш эскулап как вытащил ее, так и обомлел. Хорошо, я тут же перехватил. И не дал делу хода. Хотя, сами понимаете, мог бы…

«Вполне даже мог бы, — подумал Мирон Яковлевич. — Еще как мог бы! Если бы не Февральская революция. Она-то и помешала, не что иное».

— Понимаю, — сказал он.

— Экий вы немногословный! — Лютич вздохнул как бы с сожалением. — Еще хуже, чем были. А ведь ротный наш… Помните его? Добрый был старик. После спился, бедняга… Так он ведь любил с вами тары-бары разводить. Его-то вы удостаивали. А от меня что личико по сей день воротите?

— Никак не ворочу, — возразил Мирон Яковлевич И откровенно уперся в Лютича своими серыми глазами. Тот не выдержал, опустил веки.

— Ладно, Черкасский! Злопамятный вы человек. А я вот зла не помню. Я — простой…

Держи карман шире! Иная простота хуже воровства.

— Я простой, — повторил Лютич. — И скажу попросту. Кто старое помянет, тому глаз вон. Больше того скажу. Это проклятый царизм души наши калечил. Но теперь я прозрел. Все мы протерли глазки! И солдаты на меня не в обиде. Они поняли, что подпоручик был такой же подневольный…

— Так вы в полку еще? — Мирон Яковлевич наконец оживился. — Я слышал, будто наш полк где-то под Киевом. Значит, не ушел на Житомир?

— Да, полк был отозван с фронта под Киев. Но раскололся здесь натрое. Одни перешли на нашу сторону, другие ушли с желтоблакитниками на Волынь, а третьи — по домам, к бабам под юбки. Вот то, что мне известно.

— Известно?.. Так вы… Вы что же, не с полком разве?

— Нет, Черкасский, не с полком. С некоторых пор. Когда узнал, что полк наш брошен против красных… Принял решение. И не жалею, нет! Меня лично товарищ Муравьев ценит, при себе держит. Это, доложу я вам, величайший полководец русской революции. Служить под его началом, сражаться под его знаменем — счастье, истинное счастье!

— Что ж, рад за вас.

— Ну, слава богу, наконец-то! Давно бы так, Черкасский! А вы-то сами? Где, что, с кем?

— Нигде, ничто и ни с кем.

— Ну да, понятно. Вы отвоевались. Простите, прапорщик, я задал бестактный вопрос.

— Прощаю, подпоручик. Но не отвоевался я. Хотя и увечный. Еще повоюю. Во всяком случае, не теряю надежды.

— Ого! Геро-ой вы. Похвально. А только… извините, эа кого же воевать намерены? За какую идею? Не бойтесь, если что, — не выдам.

— Я боюсь только щекотки, Лютич. Забыли?

— Бука вы, Черкасский. Букой были, букой и остались.

Ладно, я не настаиваю. Я ведь так спросил, по простоте душевной. А что… я не навязываюсь.

— Не обижайтесь, Лютич, — заговорил он как можно мягче. — Просто настроение паршивое. И на вопрос ваш отвечу откровенно. Сам еще не ведаю, за кого воевать. Ведь воевать — не усы подстригать. Приглядываюсь, рослушиваюсь. Размышляю. Трудно! На фронте было проще: впереди — тевтонец, позади — отечество. Какое ни есть, но все же отечество, единственное, незаменимое. Теперь же… Кого ни послушаешь — все эа народ, за революцию. Кому же верить прикажете? Каждый хорош, каждый прав. Но так ведь не бывает, чтобы правый правого изо всех сил старался к праотцам отправить.

— Правый правого, говорите? — переспросил вадумчиво Лютич и неожиданно заявил, с этаким вызовом: — А я вот левый! Я — с левыми эсерами, Черкасский. И Муравьев тоже с ними. Самая революционная партия, поверьте! Анархисты тоже не мямли, но мне, как офицеру, не близки, я все же предпочитаю четкую дисциплину. Не мямли и большевики, спору нет. Но большевики, меньшевики там всякие и все прочие — всех их смоет волнами революционного прибоя, поверьте! А мы, левые эсеры, останемся, вот увидите. Потому что мы с землей крепче связаны, на крестьян ставку делаем, А крестьянство — это главный резерв армии. Армия же — сила, которая решает все. И крестьянин в землю глубже прочих корнями ушел. Поэтому мы не будем смыты. И тот, кто с самого начала был с нами, в наших рядах, тот не прогадает, тот не пожалеет. Так что давайте к нам! Я могу рекомендовать вас. Я вас представлю самому Муравьеву. Будете при штабе, Михаил Артемьевич боевых офицеров ценит и жалует. Только нюням неженкам спуску не дает, но вас-то я знаю… Ей-ей, Черкасский! Хватит вам томиться, решайтесь. Лучшег момента не будет.

— Спасибо, Лютич. Я подумаю.

— Сколько же можно думать? Да не уподобляйтесь вы Гамлету! Сейчас время действий, а не раздумий. Ну же!

Лютич наседал, Черкасский уперся.

— Вы где квартируете, прапорщик? Где можно вас кайти?

«Черта лысого!» — подумал Мирон Яковлевич и ответил уклончиво:

— Покамест кочую — то здесь, то там.

— А хотите, я вас устрою на постой? Меня же можете всегда найти в штабе, на Печерске. Спросите Лгютича, этого достаточно. Приходите-ка завтра, с утречка пораньше, а? За ночь примете решение. Утро вечера мудренее, как сказала Баба-Яга Иванушке. Верно?

— Подумаю. Спасибо.

— Не волыньте, прапорщик, по-дружески советую! Хотите, открою вам военную тайну? Знаю, что вы не проболтаетесь. Более того, считайте это первым актом нашего доверия к вам. В ответ на ваше недоверие… Так вот, на Румынском фронте у нас полнейший бедлам. Дезертирство повальное, дыры затыкать нечем. Вот мы и готовимся уйти из Киева, в еще более теплые края, на Одессу. Михаил Артемьевич поведет туда свои самые верные части. Со дня на день ждем приказа. Так что не теряйте времени, пока мы здесь. Приходите, буду ждать. Вам теперь в какую сторону?

— За угол, направо.

— А мне налево. Я ведь левый… До завтра, Черкасский. Жду!

Каким бы ни был расхваленный Лютичем Муравьев «великим полководцем революции», размышлял Мирон Яковлевич, но если в его свите подвизаются такие типы… Именно это обстоятельство и смущало. А интеллигентный токарь Варейкис тогда, в Екатеринославе, оказался ему настолько симпатичен, что даже посотрудничали немного. И ефрейтор Фомичев, опять же. Большевики… Лютич — не с ними… Они — против Петлюры сегодня и были против царя и Керенского вчера. Все, казалось бы, подходит привередливой душе прапорщика-левши. Но он не торопится. Если сделает выбор — неизбежно придется пролить чью-то кровь. Кровь соотечественников!

Вскоре прапорщик Черкасский увидит и такую бумагу:

«Рабоче-крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов…»

А он-то — «элемент трудящегося класса»? Не пролетарий и не землепашец. Но и не паразит ведь! Или ратный труд уже не требуется Отечеству? Требуется. Иначе не создавали бы Красную Армию. Не писали бы:

«Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет…

Воины рабоче-крестьянской армии состоят на полном государственном довольствии и сверх всего получают 50 рублей в месяц…»

Стало быть, все же — труд! И он не считает себя нетрудоспособным, невзирая на увечную руку. А полсотни рублей в месяц в семейном бюджете, право, не окажутся лишними. Самому же ему много ли надо? Мирон Яковлевич вспомнил афоризм, который пришелся ему по душе еще в студенческую пору: кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений.

И еще будет сказано в той бумаге:

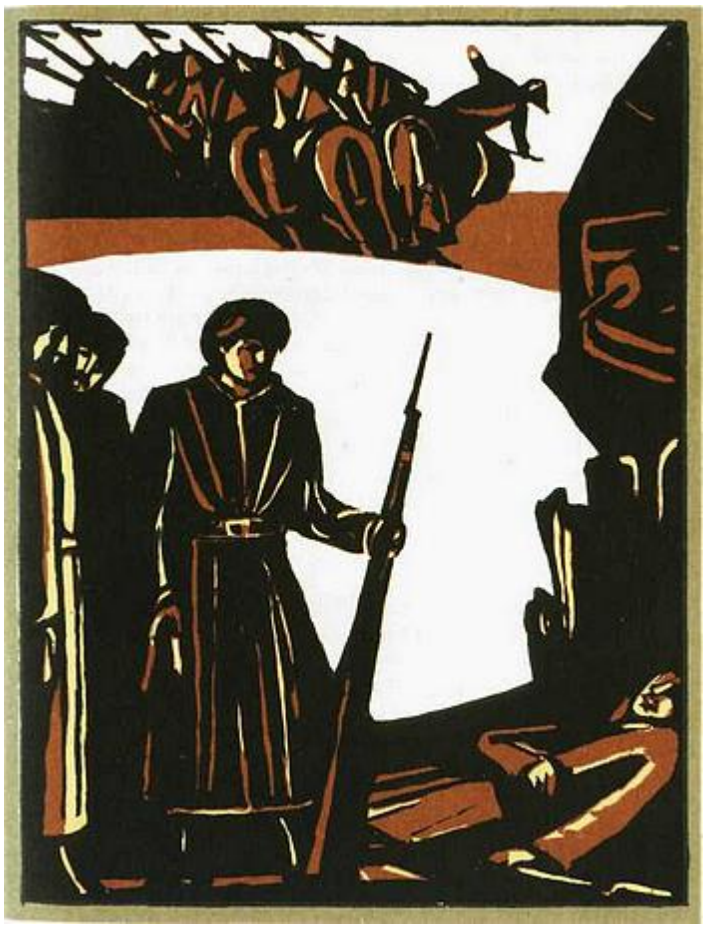
«Товарищи! Бьет час всеобщего мирового восстания угнетенных всех стран против вековечных поработителей. Факел революции в нашей стране зажигает в разных углах Европы мировой пожар, который разрушит старые устои империалистического государства. Вперед, товарищи… Жизнь зовет вас стать в ряды воинов революционного дела. К вам, товарищи воины Красной Армии, взывает мир об освобождении от цепей и оков алчного капитализма. Его конец настал. Во всех концах земли занимается пламя революции!

Идите, все трудящиеся, под знамена рабоче-крестьянской Красной Армии!

Запись производится в Военно-революционном штабе…»

Далее указан будет адрес.

Черкасский дважды прочтет этот текст. Затем подумает, что защита Отечества для него дело понятное и привычное. А вот разжигать некий мировой пожар… Пожмет плечами. По указанному адресу так и не пойдет.



14. УБОГИХ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

Зимой 1918 года на 4-м областном съезде Советов рабочих депутатов Донецко-Криворожского бассейна была провозглашена Донецко-Криворожская Советская республика. В нее вошли Донбасс, Криворожье, Харьковская и Екатериносяавская губернии, промышленные районы области Войска Донского, включая Ростов, Новочеркасск и Таганрог. В избранном съездом обкоме Советов на пять большевиков приходилось три эсера, один меньшевик и двое беспартийных. Зато в Совнаркоме республики, возглавленном Артемом, были исключительно большевики. И в их числе Варейкис, которого, не освобождая от поста секретаря обкома партии, назначили к тому же заместителем наркома, а вскоре и наркомом соцобеспечения.

Иосиф Михайлович, как и его товарищи, в те дни не мог предположить, что создание Донецко-Криворожской республики лишь распыляло силы в борьбе за власть Советов на Украине, что Ленин отзовется об этом шаге неодобрительно, что в недалеком будущем придется исправлять ошибку и войти в состав Советской Украины.

В те дни Иосифа Михайловича тревожило иное.

Вышибленная из Киева Центральная рада заключила договор с Вильгельмом: в обмен на немецкие штыки. Для борьбы с большевиками отдавались богатства Украины — хлеб и мед, говядина и свинина, птица и молоко, руды и уголь. А Троцкий прервал переговоры в Брест-Литовске… И орды изрядно проголодавшихся немецких и австрийских вояк с энтузиазмом вторглись в пределы сказочного края — на «подножный корм».

Привычно держа равнение и ногу, маршировали по зимним дорогам многие сотни бывалых офицеров в островерхих шлемах, за ними — тысячи и тысячи вышколенных солдат в плоских широкополых касках. По пути к вломившимся на Украину германским дивизиям пристраивались полки гайдамаков, дюжих и нарядных, с трезубцами на смушковых папахах, упрямых и безжалостных. Заблудших…

Шли немецкие эшелоны и бронепоезда от Ковеля на Сарны и на Луцк — Ровно — Шепетовку — Бердичев… Под прикрытием бронеавтомобилей спешила вражеская кавалерия по шоссе Луцк — Ровно — Житомир… Ломая плохо организованное сопротивление остатков прежней русской армии, с ощутимой быстротой продвнгались передовые отряды немцев — от каждой дивизии по батальону пехоты, с артиллерией, броневиками, самокатчиками и конницей впридачу. Следом накатывались

основные силы противника.

Весь этот тяжелый кулак был в конечном счете нацелен на Киев. Перехватить и удержать его не было никакой практической возможности. Так один акт предательства способен перечеркнуть результаты долгой героической борьбы. Центральная рада предала и продала свою землю и ее народ, именем которого претендовала на власть.

Один за другим пали Луцк, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир… Если падет и Киев, тогда настанет черед Харькова и Донбасса.

Вот что тревожило в те дни Варейкиса и его товарищей.

Артем направил кайзеру ноту, в которой недвусмысленно заявил, что Донецко-Криворожская Советская республика к сделкам Центральной рады никакого юридического касательства не имеет. Никто, однако, не тешил себя иллюзиями: ясно было, что плевать хотел кайзер на подобные ноты. И Артем с Рудневым безотлагательно приступили к формированию полков для отправки на фронт.

Иосиф Михайлович хотел идти с этими полками. Он был молод и не слаб, еще в Подольске научился владеть оружием, да и без оружия умел в случае необходимости постоять за себя. И его место там, где трудно и опасно, где, можно сказать, решается судьба революции. Ему же предлагают заниматься вопросами призрения, опекать стариков в младенцев, утирать вдовьи слезы. Тоже, спору нет, нужное дело. Но разве таким делом не мог бы заняться другой товарищ — более преклонного возраста и менее крепкого здоровья? Наконец, из женщин кто-нибудь. Какое-то необъяснимо бесхозяйственное отношение к кадрам, иначе не назовешь!

Все его попытки добиться отправки на фронт, неоднократные обращения к Артему и Рудневу ничего не дали.

— Да знаешь ли ты, — отвечал Артем, — что мы и так отправили на позиции больше половины всех харьковских большевиков? Ни одного нашего агитатора здесь, можно сказать, не оставили. Теперь каждый на счету! Не ты один просишься, и не тебе одному отказываем. Вон Буздалина и Моргунова из горкома тоже не пустили…

Тогда Иосиф Михайлович решил обратиться к самому Орджоникидзе, чрезвычайному комиссару на Украине, как раз прибывшему в Харьков. Неужели этот горячий и героический человек, боровшийся с царизмом на Кавказе, принимавший участие в Октябрьском восстании и защищавший Петроград от Краснова, один из ближайших соратников Ленина, — неужели такой человек не сумеет понять, что попечительство над

недужными, утешение вдов и опекание сирот — дело сугубо женское, а молодому боеспособному мужчине в такой момент, как сейчас, место на фронте? Неужели Орджоникидзе не поддержит столь естественной просьбы?

Но не прозвучит ли обращение к чрезвычайному комиссару как жалоба на Артема? Нет, через голову-Артема он ни к кому обращаться не станет. Но ведь Артем уперся и тем самым как бы развязал ему руки? И не просит же Варейкис какой-то поблажки для себя, не просится с опасного участка на безопасный. Наоборот! Так какого же рожна… Нет, нет, все это — самооправдание, так не годится. Как же быть?

Он поступит, как поступал киевский князь Святослав, который, идя в поход, посылал предупреждение: «Хочу на вы идти». Вот таким же образом и он предупредит Артема, что намерен обратиться к Орджоникидзе. Так будет правильно.

Разговор свой с Артемом так и начал, сославшись на честного забияку-князя:

— «Хочу на вы идти…»

Артем же, выслушав до конца, весело сузил глаза.

— Ну что ж, иди к Орджоникидзе. Я не обижусь. А знаешь ли, кто рекомендовал мне тебя на этот участок, в Наркомат по делам призрения?

— Кто?

— Сам товарищ Серго. Ну, что теперь скажешь?

Иосиф Михаилович опешил.

— Ты вот Святослава вспомнил, — продолжал Артем. — Нам, конечно, князья не указ. Но мы, большевики, не гнушаемся учиться у кого бы то ни было, если есть чему. Я, когда кочевал по Востоку, слыхал такую поговорку: и от врагов многому научаются мудрые. Хорошая поговорка, умная… А был в древнем Киеве еще и Владимир Мономах, один из потомков Святослава. Читал его «Поучение»?

— В Подольске.

— Молодец, ты у нас вообще начитанный. Так в том «Поучении» сказано примерно то же, что и в восточной поговорке: «Чего не умеете, тому учитесь». А помнишь, что писал он по поводу вдов и сирот? Притом, что поучал перед врагом не трусить и сам совершил немало ратвых подвигов. Помнишь?

Иосиф Михайлович помиил смутно. И потому в тот же день обратился к библиотекарям. Ему дали «Поучение» Владимира Мономаха, где помимо всего прочего было сказано:

«Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека».

Вспомнилась почему-то девчонка с рассыпанными тыквенными семечками, привиделись ее испуганные, залитые слезами глаза.

15. РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО

Дверь с выломанным замком косо болталась на одной петле. Валялась на снегу сорванная с окна ставня, зияла угловатая дыра в разбитом стекле. Сквозняком выносило наружу выдранные страницы книг.

В прихожей, на грязном, затоптанном полу, в отвратительной вонючей луже лежало на боку чучело волка, все исколотое штыками. Поверженный зверь все улыбался, он не мог иначе…

А в комнатах… Вышиблешше стекла книжных шкафов и расколотое зеркало на дверце опустевшего гардероба. Сорванные со стены и растоптанные фотографии. Раскиданные изувеченные книги.

Где письма Толстого? Из ящиков стола все вышвырнуто: искали деньги и ценности, нашли совсем другое — обозлились. Не ведали, что нет ничего ценнее тех писем от Льва Николаевича! Ну да, бандиты грелись, топила печку бумагами и книгами…

Содержимое чернильниц растеклось по всему столу. Всюду плевки, мокрые следы сапог. И распоротый матрас.

В соседней комнате было самое страшное: на фоне распахнутых дверец и выдвинутых ящиков буфета, в котором не осталось хрусталя и серебра, а фарфор превротился в осколки, над раздвижным столом, уже без скатерти, за которым лишь сегодня утром дружно завтракала семья, на спускавшемся с потолка оборванном шнуре — вместо привычной люстры — висел в затянутой петле огромный, неестественно длинный кот. Глаза его, прежде мудрые, теперь выпучились, выражали ужас и наводили ужас. Задние лапы повешенного кота едва не касались стола. Казалось, Бузук стоит в нелепой позе, вытянувшись вверх, будто изо всех сил стараясь дотянуться до потолка, с задранной мордой и разинутой пастью, беззвучно взывая к невидимым отсюда небесам.

Тут же на столе, под казненным животным, лежал листок бумаги, выдранный из бювара и придавленный обломком старинной японской вазы. На листке было написано: «Далой буржуев пиющих нашу кров! Анархия мат порядка!» Писали, видимо, чернильным карандашом, то и дело слюнявя его, — пьяно-неустойчивые буквы то бледнели, то вновь набирали яркость.

Все это застали Юдановы и Черкасский, вернувшись в домик на Левашовской.

Только что все они, преисполненные негромкой радости, сошли со ступенек одного из подъездов розово-бирюзового

Мариинского дворца, где сам комиссар по: гражданским делам товарищ Чудновский поздравил с законным браком гражданина Украинской Советской республики Черкасского Мирона Яковлевича и гражданку Юданову-Черкасскую Нелли Ильиничну. Только что они намеревались нешумно отметить в скромном семейном кругу это неповторимое событие. И вот…

С Нелей началась истерика — с трудом привели в чувство, теперь лишь тихо и безостановочно плакала. Мирон Яковлевич тщетно пытался успокоить ее. Илья Львович метался в отчаянии по комнатам, все надеялся отыскать письма Толстого (а вдруг все же не сгорели?). Елена Казимировна сперва окаменела, затем — прямая, напряженная — медленно достала ведро, медленно подошла с ним к крану и включила воду.

— Мирон Яковлевич, родной мой! — она в который раз не позволила себе разрыдаться. — Об одном умоляю. Снимите там… Бузука, уберите куда-нибудь. Я не могу…

Черкасский пытался осмыслить случившееся.

С такой откровенной наглостью, почти в центре города, среди бела дня, как раз когда утомленные патрули возвратились в казармы… Слава богу, что не оказалось дома женщин — страшно даже представить себе, что тут могло быть! И в то же время точила досада, что все произошло в его отсутствие: уж он бы не одну бандитскую сволочь уложил на месте преступления.

Судя по записке, здесь похозяйничали анархисты, которые пришли в Киев с войсками Муравьева. Нет, он ни минуты не жалеет, что не откликнулся на предложение Лютича. Водить в бой подобное отребье он не намерен! Однако делать нечего, придется обращаться к нынешним властям, больше не к кому. И Мирон Яковлевич снова отправился в Мариинский дворец.

Там выслушали его рассказ внимательно и сочувственно. Сообщили, что Муравьев уже отправился под Одессу, на Румынский фронт, с ним ушли и анархисты, последние буквально только что. Вполне возможно, что перед самым уходом и напакостили: дескать, ищи ветра в поле. Но оставлять такого дела, конечно, никак нельзя — революция должна решительно избавляться от любых компрометирующих ее попутчиков. Поэтому попросила написать все, как было, дали бумагу, ручку и чернила. Заметив, что пишет он левой рукой и с превеликим трудом, предложили продиктовать. Хотя надежда на возмездие была почти потеряна, Мирон Яковлевич продиктовал все, что считал нужным для дела, и поставил свою подпись. Росчерк его, естественно, теперь изменился, правой рукой получалось иначе, но это не вмело какого-либо значения.

Понимая, что ничего другого предпринять он больше не

может, Мирон Яковлевич заторопился домой.

Вниз по Александровской неторопливо проследовал конный патруль червонных казаков. Томно избоченясь, всадники набирали повод, сдерживая лошадей, скользивших по оледеневшей мостовой. Один из них оглянулся на пересекавшего улицу человека в офицерской шинели и черной папахе. Румяное лицо молодого казака выражало более бесхитростное любопытство, нежели революционную бдительность. Мирон Яковлевич не удержался и по-свойски подмигнул «червонцу». На душе чуть полегчало.

Когда пришел, Неле все еще было худо. Плакать перестала, но дрожала, бедняжка, безудержно. Илья Львович совсем раскис, сидел на стуле поникший, глядел бессмысленно на покосившийся портрет Толстого, на его бороду — всю в прилепленных окурках. Простейшее дело — подойти и хотя бы убрать с бороды своего кумира эти возмутительные окурки, хотя бы с этого начать… Нет, с места не двигался. Даже не оглянулся на вошедшего зятя, ни о чем не спросил.

Только Елена Казимировна, побледневшая и осунувшаяся, держалась все же молодцом, пыталась навести в царившем вокруг кошмарном хаосе хоть какой-нибудь порядок. И даже пыталась пошутить насчет своей королевской крови, но не договорила, чуть было не сорвалась, однако справилась и продолжала мести, вытирать полы и отжимать коченеющими пальцами холодную мокрую тряпку, поднимать и расставлять по местам опрокинутые стулья, а заодно следить за плитой в кухне, где уже готовился наскоро какой ни есть обед…

Птицы покидают разоренное гнездо. А люди? Люди поступают по-разному.

Юдановы не хотели, но решили покинуть Киев. Вечером в тот же день, после недолгого семейного совета, вознамерились — пока не оборвалась железнодорожная связь с Россией — добираться до Симбирска. Безотлагательно, налегке. В Симбирске — Ася с мужем, там далеко от наступающих немцев, как-нибудь устроятся, что-нибудь придумают, не пропадут.

16. ЗАБОТЫ

Заместитель наркома социального обеспечения Варейкис крутнул головой — отросшие волосы упали на лоб, он тут же откинул их привычным движением.

Забот полон рот. Более всего донимает безработица, унаследованная от прошлого и усиленная затянувшейся войной. В одном только профсоюзе харьковских металлистов — более трехсот безработных. А среди торгово-промышленных служащих — до полутысячи.

Что можно сделать сегодня же, без промедления? Дать им бесплатные или хотя бы дешевые обеды? А оставшихся не только без хлеба, но и без крова, разместить по общежитиям? Явно недостаточно! Ну, можно еще организовать общественные работы. Не только можно — нужно! А из каких фондов оплачивать их?..

Иосиф Михайлович начинает шагать по кабинету.

Он уже советовался с наркомом финансов Валерием Межлауком и наркомом труда Борисом Магидовым. Разногласий меж ними вроде не возникало. Но иной раз даже при полном согласии воз не сразу с места сдвинешь.

Шагание по кабинету не помогло — пороха не выдумал. Снова сел за рабочий стол. Принялся за изучение очередной бумаги, которую только что принесли.

Судя по стилю, текст составлял профессиональный писака — не тотчас вникнешь. Пришлось перечитывать.

«Выполнение означенных распорядительных действий… не может не замедлиться ввиду чрезвычайных обстоятельств настоящего момента, и, помимо этого, своевременное оповещение о них страховых присутствий представляется крайне затруднительным ввиду расстройства почтовых сообщений. По крайней мере Областной народной комиссариат труда, к ведению которого также относится социальное страхование, никаких указаний и распоряжений по сему предмету от Совета и Центральной комиссии до сих пор не получил и в точности даже неизвестно, действительно ли означенные учреждения уже организованы…»

Но ведь это явно адресовано Магидову, а не Варейкису. Опять напутали! Передать бы по назначению — пускай нарком труда ломает голову… Однако этак можно превратиться в бюрократа похлеще царских…

А упрек в бумаге, при всей витиеватости изложения, резонный. Но что же они там конкретно предлагают? Ага, вот:

«Ввиду вышеизложенного и во избежание совершенно

ненужной задержки, быть может, весьма продолжительной, с осуществлением страховых законов, представляющих величайшую важность для рабочего класса, является совершенно необходимым предоставить страховым присутствиям Донецкой республики право временно, впредь до устранения указанных препятствий, самостоятельно выполнить все те необходимые распорядительные действия по проведению социального страхования, кои по законам и декретам возложены…»

А может, это все-таки не Магидову, а Варейкясу и никто ничего не напутал? Тем более надо разобраться до конца.

«…Впредь до издания Страховым советом и Центральной комиссией страхования безработицы соответствующих распоряжений и указаний…»

Фу ты, аж спина взмокла!

Но в общем-то бумага дельная. Только почему бы то же самое не изложить попроще да покороче?

Интересно, лет этак через десять, когда социализм победит по всей стране и во всех областях жизни, неужели и тогда где-нибудь еще отыщется хотя бы один, который даже самые правильные мысли будет излагать вот таким казенным «штилем»?

И еще. Не целесообразнее ли было бы объединить, во избежание дублирования и путаницы, два наркомата — труда и соцобеспечения? И наркомом оставить Магидова. А Варейкиса — на фронт, от канцелярщины подальше. Снова потолковать с Артемом, что ли? Ведь фронт все ближе и ближе…

17. СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГЛОТОК

«Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20(7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, *и до сих пор нет ответа*… Совет Народных Комиссаров постановляет: … *Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны… Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови… Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.*

Социалистическое отечество в опасности!..

Совет Народных Комиссаров

21-го февраля 1918 года.

Петроград».

Если бы этот ленинский декрет показали Черкасскому, когда он в последний раз приходил в Марианский дворец… кто знает, какое принял бы тогда решение увечный прапорщик?! Но ему без лишней волынки выдали необходимые документы и подсказали, как лучше добираться от Днепра до Волги.

И в то время как прапорщик Черкасский сопровождает свою семью в Симбирск, командующий Муравьев тщетно пытается закрыть бреши на Румынском фронте, а в Харькове занимается вопросами соцобеспечения и продолжает рваться на позиции Иосиф Варейкис, — в это время председатель Совнаркома Ленин ведет отчаянную борьбу, от исхода которой зависят судьбы и Черкасского, и Муравьева, и Варейкиса. Судьбы всего первого в истории социалистического государства и миллионов его граждан. Ленин ведет борьбу за МИР.

Он начал ее, эту борьбу, еще в октябре минувшего года, когда подписал принятый Вторым Всероссийским съездом Советов Декрет о мире — один из первых декретов Советской власти. Он продолжал ту же борьбу, когда Антанта бойкотировала все мирные инициативы Советской России, вынудив тем самым последнюю вступить в сепаратные переговоры с германо-австрийским блоком и подписать с ним соглашение о перемирии.

Противник вел себя на переговорах с наглостью,

возраставшей день ото дня. Что, русские предлагают демократический мир без аннексий и контрибуций? Предложение, пожалуй, приемлемое, но… при условии, что и Антанта его поддержит. Что, страны Антанты не желают поддержать? В таком случае германская делегация не связывает себя никакими обязательствами и требует — ни много ни мало! — более ста пятидесяти тысяч квадратных километров российской территории, в том числе земли Украины, Белоруссии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии.

Перед лицом такого беспардонного нахальства приходилось прерывать переговоры, но затем снова возобновлять их — с превеликими усилиями и на еще более тяжких условиях. Германская сторона разговаривала только языком ультиматумов. Как же все это было тяжко, как унизительно! Но разумной альтернативы не существовало, приходилось снова и снова смирять свои чувства.

Заметим, кстати, что сознательное смирение своих чувств, пусть даже самых благородных, порой требует несравненно большего мужества, большей силы духа, нежели следование своим душевным порывам. Не всем это удается. Находились товарищи, полагавшие, что со дня на день грядет революция по всей Европе, что без этого фактора одной Советской России все равно не устоять, а стало быть — и переговоры о мире с якобы обреченными режимами ни к чему.

— Никаких соглашений с империалистами! — кричали горячие головы. — Революционную войну международному империализму!

Иные договаривались даже до того, чтобы рискнуть самим существованием Советской власти в России, — мол, ради мировой революции.

«…Революционная фраза о революционной войне, — возражал им Ленин, — может погубить нашу революцию… Революционная фраза есть повторение революционных лозунгов без учета объективных обстоятельств, при данном изломе событий, при данном положении вещей, имеющих место».

Сколько же требуется выдержки и сил душевных, чтобы, не срываясь, терпеливо вести трезвую полемику с безответственными авантюристами и близорукими фразерами, способными извратить и погубить любое правое дело!

Но крикуны и фразеры не унимались. А кровь на фронтах лилась, старая армия разваливалась, новорожденная Красная Армия едва начинала становиться на ноги и набирать силу, в тылу царили голод и разруха, не покончено было с распоясавшейся уголовщиной, а немецкие аппетиты все

возрастали и возрастали. Мир, только мир — любой ценой! — необходим был молодой республике, как необходим глоток воды умирающему от жажды. Все прочее — после, а сейчас — глоток воды, незамедлительно! Пока не поздно…

За этот спасительный глоток, за мирную передышку продолжал бороться Ленин.

«Революционные партии, — напоминал он, — строго проводящие революционные лозунги, много раз уже в истории заболевали революционной фразой и гибли от этого.

До сих пор я старался внушить партии бороться с революционной фразой. Теперь я должен делать это открыто…

Только безудержная фраза может толкать Россию, при таких условиях, в данный момент на войну, и я лично, разумеется, ни секунды не остался бы ни в правительстве ни в ЦК нашей партии, если бы политика фразы взяла верх».

Нужно ли пространно комментировать такое, исполненное неподдельного драматизма и порожденное органическим чувством ответственности, заявление лидера партии и государства?

«Пусть знает всякий, — заявил Ленин, — кто против немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую власть».

Он убедил и победил. 23 февраля на заседании ЦК РСДРП (б) за немедленное подписание мира проголосовало семь человек против четырех, при четырех воздержавшихся. В ночь на 24 февраля ВЦИК и СНК РСФСР, одобрив решение ЦК партии, сообщили германскому правительству о готовности подписать мирный договор на предъявленных перед тем условиях, самых тяжелых за все время переговоров. 3 марта в Брест-Литовске советская делегация подписала четырнадцать статей и разных приложений мирного договора. Экстренно созванный в начале марта VII съезд РКП (б) одобрил ленинскую позицию в вопросе о мире. 15 марта Брестский договор был ратифицирован Чрезвычайным четвертым Всероссийским съездом Советов, после чего его одобрил германский рейхстаг и ратифицировал кайзер Вильгельм II.

Советская Россия получила небольшой, но жизненно необходимый, спасительный глоток…

Одна из статей Брестскою мирного договора позволяла немцам продолжать оккупацию Украины — на основании сговора Вильгельма с Центральной радой. Бои на Украине продолжались. Местные большевики старались по возможности не втягивать в борьбу с интервентами Российскую Советскую республику, которая только что с таким трудом и такой немалой ценой

завоевала мирную передышку. «Брестский мир, подписанный Советской Россией, — отмечал несколько позднее председатель Народного секретариата Н. А. Скрыпник, — означал: мир для России, война на Украине. Это еще означало — не провоцировать Советскую Россию на новые военные бои против германского империализма, а, наоборот, своей борьбой на Украине, задержав наступление германской армии, дать время российским рабочим и крестьянам организовать свои силы на защиту Советской власти».

18. ФОМИЧЕВ

Рядом с дорогой темнел над утоптанным снегом колодезный сруб с воротом. Оледеневшая добротная бадья была прикована к барабану колодца железной цепью. Тут же валялось деревянное корыто, некстати напоминавшее детский гробик. Вода в колодце не замерзла, можно было опустить в него бадью — просто бросить, барабан сам раскрутится, освобождая намотанную цель, только успей отскочить от бешено завертевшейся железной рукоятки. Но сразу пить остерегись: вода ледяная, обожжет горло — но только голос, но и место в строю потеряешь. А захочешь коня напоить — вдвойне остерегись: запалишь верного товарища, загубишь ни за что, другого такого не добыть тебе…

— Они всенепременно к этому колодцу выйдут, — убеждал Фомичев.

А неразлучный с ним Митрохин добавлял уверенно, обращаясь к остальным:

— Уж это точно!

Остальные — трое молоденьких солдат в новых необмявшихся папахах — прислушивались к словам бывалых товарищей, охотно верили. Перед боем неопытный, малообстрелянный воин с особой остротой ощущает потребность поверить кому-то более бывалому, довериться безоговорочно.

Все пятеро притаились за полуразрушенным сараем, выставили трехлинейки в сторону колодца и дороги, набрались терпения.

Ждать, однако, пришлоось недолго. Вскоре показались направлявшиеся к колодцу всадники. Фомичев и Митрохин тотчас признали вильгельмовских конников: насчитали девять пар. Немецкие кавалеристы восседали на своих высоких с подстриженными гривами лошадях, вытянув выпрямленные в коленях ноги, упираясь каблуками начищенных сапог в стремена, уверегшо выпятив украшенную множеством пуговиц грудь. Рыцарская посадка со средних веков сохранилась, когда на турнире или в бою всадник и зо всех сил стремился не вылететь из седла от встречного удара. Эти и впрямь походили на средневековых рыцарей: в правой руке — длинное копье с ярким двухвостым значком, на голове островерхий шлем…

Прицелились в передовую пару и по команде Фомичева дали залп.

Одна лошадь вздыбилась «свечкой». Другая же, наоборот, рухнула на колени — и мордой в снег. Оба всадника — из седел вон, не помогла рыцарская посадка. Остальные сперва опешили,

затем разом поворотили лошадей и — карьером прочь от гибельной засады. Вслед им — уже не залпом, вразнобой — снова ударили русские трехлинейки.

— Молодцы! — похвалил Фомичев. — А теперь…

И не договорил. У самого колодца взметнуло землю из-под снега, грянуло в уши.

— Ложи-ись! — крикнул Митрохин, схватив замешкавшегося солдатика за ремень, сшибая с ног и сваливая на снег. — Ложись, сейчас еще долбанет!

Еще долбануло. И еще. Затем вроде прекратилось.

— Дураки, зря колодец загубили, — заметил Митрохин, приподнимаясь и оглядываясь. — Ни себе, ни людям. Верно я рассуждаю, Фомичев? А, Фомичев? Ты чего?.. Ты чего это, а?!

Фомичов лежал, как лег, лицом вниз. Подтянув правую ногу, будто собрался ползти по-пластунски. Ничего снаружи не было заметно, только свалилась с головы старая фуражка, и снег под темным чубом стал алым.

— Ты чего, а? — тормошил его Митрохин, уже понимая «чего», но продолжая повторять кривящимся непослушным ртом: — Ты чего, а?..

Четыре года подряд не брали солдата ни пуля, ни штык. Ефрейтором стал, Георгия заслужил, в большевики вступил… Какой был герой, какой товарищ! Поищи теперь таких… Ох, война ненавистная, лучших людей ты отнимаешь у народа! Говорят, на место павших новые бойцы встанут. Да хватит ли богатырей на многострадальней Руси? Почти четыре года не выпускаем винтовку из рук, поим землю кровью своей. Кто же у нас останется, если такие орлы улетают?..

Трое молодых, сняв папахи, растерянные и бледные, слушали причитания Митрохина, смотрели, как скатываются по его скулам слезы. Поглядывали на расширявшееся под головой Фомичева алое пятно — будто подстелено уснувшему воину боевое знамя.

— Ну-ка взяли его, — скомандовал Митрохин. — Понесем. Здесь не оставим…

19. ВЕСТИ С ФРОНТА

Начало весны всегда радует, так было испокон веку. Но мартовские дни восемнадцатого года вызывали в душе Иосифа Михайловича не радость, а напряженность. С растущей тревогой воспринимал он каждую новую весть с фронта.

На второй день марта телеграф передал из Киева — всем Советам Украины:

> «Имея перед собой превосходную в числе армию противника и не желая давать в г. Киеве бой, мы решили отступить на время за Днепр и оставить Киев. Рабоче-крестьянское правительство Украины выехало в Полтаву… Все Советы должны направлять свои вооруженные отряды в этот город. Спешпость и энергия прежде всего.
>
> Народный секретарь *Коцюбинский»*

В тот же день другие телеграфные аппараты передали из Брест-Литовска совершенно иной текст — от «Председателя Совета министров Украинской республики» господина Голубовича германскому канцлеру:

> «Я пользуюсь случаем своего однодневного пребывания в Бресте в гостях у главнокомандующего германскими войсками на Восточном фронте для того, чтобы с большой радостью сообщить вам о вступлеяии украинских и германских войск в нашу старую и новую столицу Киев… Мы приписываем освобождение нашей страны главным образом помощи, которую мы просили у германского правительства и которую нам оказали победоносные германские войска. Сердечно благодарю вас от имени украинского народа и его правительства. С неподдельной радостью я встретил весть об освобождении Киева… Германские войска еще находятся в нашей стране, но, как только они исполнят свой долг, будет отдало распоряжение об их отозвании».

Чуть позднее Иосиф Михайлович вспомнит это возмутительное послание. Не пройдет и двух месяцев, как германские оккупанты разгонят за ненадобностью призвавшую их Центральную раду и заменят ее другой марионеткой — новоявленным гетманом Скоропадским… Символическая

фамилия!.. Не оценили немцы «сердечной благодарности» в свой адрес. И сами оказались неблагодпрными. Такое случается с хозяевами по отношению к холуям.

А сейчас, только что ознакомившись с текстом телеграммы на Бреста, Иосиф Михайлович думает о другом. Господин Голубович распинается в своей любви к Киеву и «от имени украинского народа» выражает «неподдельную радость» по случаю вступления в город вражеских: полчищ, позванных Центральной радой на подмогу, поскольку собственными силами самозваные «представители народа» совладать со своим народом не сумели. В то же время сын видного украинского писателя, первый главком Советской Украины Юрий Коцюбипский скрепя сердце принял решение оставить юрод, чтобы не вести бои на улицах, не превращать в руины неповторимые строения, не превращать в калек и покойников мирное население. Так кому из них дороже Киев? Кому из них блкяе народ? Ответить не так уж сложно.

Чем дальше на восток продвигались интервенты, чем ближе к Харькову продвигалась линия огня, тем острее ощущал нарком соцобеспечения Донецко-Криворожской республики противоестественность своего «тылового» положения, тем нетерпеливее продолжал рваться туда, где красные войска, истекая кровью, вели неравный бой.

Он подходил к висевшей на стене карте и, глядя на ее условные знаки, представлял себе безрадостную картину вынужденного отступления, горящие камышовые кровли хат, взорванные мосты и брошенные на обочинах повозки. Видел, как заливает украинскую землю темная лавина вражеского нашествия.

Австро-германцы заняли Черкассы, Бахмач, Жмеринку, подошли к Золотоноше. Красные части откатывались на Ромодан. У Знаменки, встык между левым флангом передовых кременчугских отрядов и правым флангом армии Муравьева, ударили гайдамацкие полки.

Иосиф Михайлович знал, что едва начавшая создаваться Красная Армия еще слишком немногочисленна, а прежние фронтовые соединения предельно обескровлены. Что же касается красногвардейских дружин — их возможности были ему особенно хорошо знакомы. Поэтому не удивлялся, когда слышал, что держатся красногвардейцы по-разному: отряды, сформированные на крупных предприятиях, сражаются стойко, но собранные на мелких — недостаточно дисциплинированны. Не удивлялся. Огорчался. Удивляло же другое: необъяснимое, непоследовательное поведение чехословацких частей, которые против немцев стояли насмерть, а стычек с гайдамаками всячески

избегали. Иосиф Михайлович подозревал, что там ведется какая-то нехорошая агитация…

Война шла преимущественно вдоль железных дорог: разрозненные силы красных, ощущая явный численный перевес неприятеля, пока еще не решались отрываться от своих эшелонов. И эшелоны один за другим откатывались все дальше на восток, все ближе к Харькову. Относительно успешно защищались лишь узловые станции и заводские районы. Не было единой линии фронта, единого командования. Поэтому Иосифа Михайловича обрадовало известие о назначении испытанного большевика Антонова-Овсеенко главковерхом Украинского фронта.

Вселяло надежду и то, что по всей Украине начали действовать партизаны. Один из товарищей Иосифа Михайловича по Донецкому Совнаркому, вожак харьковских красногвардейцев, народный комиссар Кожевников по приказу главковерха приступил к планомерной организации партизанской борьбы. Восемьдесят человек отправились с этой целью в Сумской, Лебединский, Ахтырский, Глдянский, Зеньковский, Полтавский и Богодуховский уезды, провели там многолюдные собрания и митинга более чем в ста населенных пунктах, распространили более тридцати тысяч листовок и прокламаций. Постоянную связь с Кожевниковым поддерживали посредством шифров по телеграфу и телефону, а также через связных. В результате более восьми с половиной тысяч бывших фронтовиков добровольно вступили в создававшиеся части регулярной Красной Армии, а более полутора тысяч, получив оружие и боеприпасы, влились в партизанские отряды.

Запланированная кайзеровским командоваакем легкая и быстрая «прогулка» по богатой украинской земле срывалась. Полковник Штольценберг докладывал вышестоящему начальству; «Имеющиеся в наличии войска недостаточны как по своему личному составу, так и по вооружению. Для продолжения операций необходимы дополнительные части». И дополнительные части оккупантов перебрасывались с запада на восток, в то время как новые формирования Красной Армии и партизанских отрядов в свою очередь продолжали наращивать контрудары по врагу.

Иосиф Михайлович знал, как неустанно следит за событиями на Украине Ленин, как заботится о том, чтобь получившая передышку Россия по возможности поддерживала не прекращавших борьбы украинских товарищей. Знал, что лишь за первые полтора месяца весны в распоряжение Антонова-Овсеенко было отправлено 112 тысяч винтовок, 378 пулеметов, 150 минометов и бомбометов, множество боеприпасов и перевязочных средств.

Валерий Межлаук рассказывал Иосифу Михайловичу, что Орджоникидзе привез от российского Совнаркома несколько миллионов рублей и позже дважды увеличивал текущий счет главковерха, — все эти средства пошли на ведение боевых действий против захватчиков.

И все же, несмотря на все отрадные сдвиги, несмотря на панические доклады немецкого полковника Штольценберга, Иосиф Михайлович осознавал, что силы попрежнему неравны. Слишком неравны! Он уже слыхал, что многодневный бой пятитысячного отряда харьковских и донецких красногвардейцев против двух корпусов германской армии закончился в пользу врага, который занял Полтаву и теперь неудержимо приближался к Харькову.

Доколе же он, боеспособный мужчина, будет просиживать штаны за канцелярским столом и узнавать о сражениях, в которых сам участия не принимал? Его место — на линии огня. Но Артема не переупрямишь, а нарушать партийную дисциплину в такое нелегкое время… нет, этого он себе позволить не может. Что же придумать?

20. ВОЗЗВАНИЕ

Перед Иосифом Михайловичем текст написанного Артемом воззвания Совнаркома Дснецко-Криворожской республики.

«Ко всем!

Движение германо-гайдамацких банд в южные республики делается все более и более упорным. Это движение сопровождается самыми зверскими насилиями над беспомощным и беззащитным населением. Советы разгоняются и расстреливаются. Земли у крестьян отбираются и возвращаются помещикам. Восстанавливается царство попов, крепостников и эксплуататоров. Такая же участь — участь восстановления самодержавия капиталистов, заводчиков и помещиков — грозит и населению Донецкой республики. Кабала грозит крестьянам Харьковской и Екатеринославскоп губерний, рудничная каторга с произволом десятников и ставленников капитала грозит шахтерам. Немецко-гайдамацкие банды несут с собой расправу, произвол и ужасы белого террора.

Озабоченный защитой социалистических завоеваний революции, Совет Народных Комиссаров Донецкой республики не видит другого выхода для спасения этих завоеваний, как только в самой решительной борьбе с насильниками.

Борьба с палачами революции и предателями бедноты и рабочего класса — борьба с ними не на живот, а на смерть — это было первым словом Совета Комиссаров Донецкой республики, это же будет и последним нашим словом.

Мы не намереваемся сдать без боя ни одной пяди земля, ни одной позиции рабоче-крестьянского социалистического отечества, мы намереваемся отстаивать со всом пролетариатом и крестьянами Юга каждый мост, каждый переход, каждую деревню и улицу города.

Братья рабочие и крестьяне! Пусть каждый из вас поймет опасность вражеской победы, не скрывайте от себя того, что враг будет захватывать каждый клочок земли, заливая его кровью. Но он зальет кровью, задавит насилиями весь край и тогда, когда население широко откроет ему свободную дорогу.

Вот почему мы не должны без борьбы пустить его. Вот почему мы должны употребить все силы, чтобы сломить его движеаше, разбить его силы, уничтожить его без остатка!

Все для этого должны окружить его беспощадными, неусыпными, вечно подстерегающими со всех сторон нападающими на него отрядами.

Не может быть места для колебаний. Не может бы места для промедления!

Все против разбойников империализма, все протш душегубов рабоче-крестьянской свободы!

Совет Народных Комиссаров Донецкой республика призывает все честные элементы общества, все, что есть лучшего и беззаветного среди идейной молодежи, под ружье для борьбы с врагом.

Есть ли в социалистическом отечестве самоотверженная молодежь?

Совет Народных Комиссаров Донецкой республики объявляет трудовую повинность.

Совет Народитых Комиссаров приступает к ряду мероприятий по ликвидации остатков капиталистических отношений.

Совет Народных Комиссаров объявляет, что в этот критический момент, когда решается судьба Юга, он сам отдаст свои личные силы на дело защиты революции и социализма.

Совет Народных Комиссаров Донецкой республики приступает к образованию Полка совета комиссаров и объявляет, что при первом же известии о приближении к центрам Республики банд врага Совет Народных Комиссаров во всем своем составе выйдет на позицию, чтобы принять в борьбе с врагом непосредственное участие.

Мы хотим отстоять нашу свободу.

Мы хотим разделить судьбу всех наших товарищей, сражающихся на фронте.

Да здравствует социализм!

Да здравствует борьба пролетариата и трудовой бедноты против его врагов!

Совет Народных Комиссаров Донецкой республики

Председатель *Артем (Сергеев)».*

Ниже шли подписи наркомов.

Чем дальше Иосиф Михайлович читал, тем больше

волновался. Разве сам он не причисляет себя к самоотверженной молодежи, разве не стремится ежедневно и ежечасно встать под ружье? И как это правильно, как по-большевистски — чтобы сами наркомы в составе своего полка, вместе со всеми вышли на позицию. Вот в таком первозданном виде, ничего не меняя, надо будет незамедлительно опубликовать это воззвание в «Донецком пролетарии». В набор, время не ждет!

Иосиф Михаилович решительно ставит свою подпись между подписями комиссара финансов Межлаука и комиосара почт и телеграфа Кожевникова.

21. ГОРЕЧЬ И МУЖЕСТВО

Все чаще доносится грохот отдаленной канонады. Иосиф Михаилович невольно прислушивается к пока еще глухим, но будоражащим звукам. И тут же заставляет себя не отвлекаться. Он — на последнем заседании Харьковского Совета рабочих и солдатских депутатов. Выступает Артем.

— Громкие слова ни к чему, — говорит он, и в голосе его горечь и мужество. — Суть в том, что приходится выступать здесь, на нашем пленуме, последний раз. Конечно, каждый из вас, вероятно, думает о том — и, надеюсь, думает так большинство, — что Советская власть, которая взяла в руки управление всей страной, власть, которая стоит во главе Харькова, что она, поскольку могли вы наблюдать, не является кучкой авантюристов, как ее любили называть наши враги, а людьми, преданными делу, за которое боролись и умирали лучшие люди человечества…

«А завтра, — думает Иосиф Михайлович, слушая эти слова, — быть может, настанет и наш черед умереть. И мой, и всех товарищей, кто сейчас вот здесь, рядом, справа и слева от меня. Что ж, я готов. Готов ли? Да, готов, хотя и невесело это, и не хочется, и страшновато даже… Но если нужно… Всем трудно сейчас, не тебэ одному. Вон Артему не легче, даже еще тяжелее, чем нет там».

— Весьма возможно, — говорит Артем, теперь голос его звучит совершенно спокойно, деловито так. — Весьма возможно, что успех, который немцы имели в начале наступления на Киев, на Украину, будет продолжаться. Но около двух дивизий уже завязли в своем стремительном шествии, когда дошли до пределов нашей республики. Это понятно. Донецко-Криворожский бассейн — это не бесформенная страна, это не бесформенное население… Как бы ни были плохи наши отряды, как бы мало они ни были обучены, недостаточно знакомы с техникой военного дела, степень быстроты продвижения немцев сейчас в пятьдесят раз меньше, чем тогда, когда было их наступление на Петроград… Повторяю, весьма возможно, сейчас мы обращаемся к пленуму Совета в последний раз. Придется идти на следующие позиции: базироваться на рабочих Донецкого бассейна — горнорабочих и рабочих металлургической промышленности…

Да, соглашается с этими словами Иосиф Михайлович, надо опираться на рабочих. Сам в недавнем прошлом рабочий, сын рабочего, он не может не соглашаться в этом с Артемом, не может мыслить иначе.

Выступление Артема продолжается.

22. «ВЕЛИКИЙ ИСХОД»

— А с готовой продукцией как быть? — спрашивал представитель завода, коренастый, со степным прищуром. — И с ценнм сырьем? Может, ликвидировать? Чтобы врагу не досталось. А?

— Что еще за настроение! — Иосиф Михайлович хотел произнести эти слова построже — не получилось: челюсти свело неудержимой зевотой. Только и удалось не слишком явно раскрыть рот, отчего выжались непроизвольные слезы.

Он потерял счет бессонным ночам. Хорошо еще, если хотя бы часа три беспокойного сна наскребешь за сутки.

Справившись с еще одним зевком и не пытаясь больше говорить строгим тоном, сказал как сказалось — деловито и устало:

— Товарищ Артем дал четкое указание. Готовую продукцию и ценные материалы упаковать. Будем вывозить. Кстати, много у вас семей фронтовиков?

— Хватает, товарищ Варейкис. Большевики у нас почти все на позициях. И беспартийных рабочих немало.

— Все эти семьи взять на учет. И тоже подготовить к эвакуации. Семьи ушедших на позиции — в первую очередь. Постараемся в пассажирских составах. А товарняки — под оборудование, для воинских частей, с вооружением и боеприпасами…

— Обидно, товарищ Варейкис! — вздохнул тот, опуская свои степные глаза. — Невозможно обидно.

— Знаю, что обидно. — Иосиф Михайлович тоже вздохнул, но глаз опускать не стал, хотя глядеть было больно, будто мелким песком запорошило. — Да иного выхода у нас нет.

— Что же, выходит, так и отдадим город? Без боя даже?

— Нет, товарищ, не без боя. Будем драться.

В эти далеко не радостные, бессонные дни и ночи Иосиф Михайлович держался со спокойной уверенностью. Непозволительно большевику выглядеть скисшим. Тем более что такими бравыми молодцами глядят бойцы вновь сформированных не без его участия отрядов.

Даром, чю иные в пальтишках да фуражках. Не беда, что винтовки и пулеметы разных систем. Главное, все одеты и обуты, накормлены и вооружены. И к казармам своим идут бодро, под развернутым кумачовым знаменем, с лихой старинной песней.

Ой, хмэлю ж май, хмэ-элю!
Хмэ-лю-у зэлэ-нэ-энький…

Тонкий голосок у запевалы — на высоких нотах будто женский, зато слышен во всех шеренгах. И с детства привычные к пению глотки малороссиян зычными басами, с отчаянным присвистом, дружно подхватывают:

Дэ ж ты, хмэ-элю, зыму зымува-ав
та й нэ ро-озвыва-ав-ся!

Теперь все — на казарменном положении. Особенно тесно в Ващенковских казармах, где не так давно Иосиф Михайлович проводил беседы в оружейных мастерских. Вчера они с Артемом были там на митинге. После недолгих речей сформировали Первый Харьковский пролетарский полк — уже не красногвардейский, а красноармейский, с надежным большевистским ядром — коммунистической ротой. Командиром полка избрали товарища Нехаенко, председателя завкома у паровозостроителей. Вскоре его заменит Александр Воронин, тоже большевик, но помоложе… Полку этому, как самому надежному и стойкому, предстояло прикрывать отход красных частей.

Вскоре отход начался. Отходили не сразу, не все…

Ночью, в темноте, почти на ощупь, рота заняла позицию на Холодной горе. Здесь было и впрямь прохладно. Иосиф Михайлович, беря свою винтовку на предохранитель, ощутил правой ладонью неприятный холод вспотевшего от ночной сырости металла. Деревянное ложе в левой руке тоже повлажнело, но все же казалось теплее, не таким неживым.

Еще с вечера на южной окраине Харькова разорвались первые снаряды. А на утренней заре с разных сторон затараторили пулеметы. И, будто вспугнутый ими, рассеялся туман. Теперь Иосиф Михайлович мог видеть Холодногорский мост и склоны самой горы, усеянные томными кучками брустверов. Поначалу ему даже почудилось, будто это лежат убитые, не по себе стало, но в колце концов разглядел, что всего-навсего выброшенная перед окопами земля, не успевшая зарасти травой.

Итак, сбылось наконец-то! Сбылось то, к чему он так упорно стремился: он — на позиции, в руках — винтовка!

Теперь, когда все обрело предельную конкретность — вплоть до неживого холода вспотевшего металла под ладонью, вплоть до кучек выброшенной земли, показавшихся было телами убитых, — теперь Иосиф Михайлович осознал то, о чем прежде как-то не задумывался. Он впервые как следует понял, а точнее — ощутил всем своим еще не насытившимся жизнью существом, что все испытанное до сих пор — в юношеских ли потасовках на задворках Подольска или когда обучался приемам штыкового боя, при встрече ли с громилой-анархистом на улице или с воинственным Муравьевым в кабинете — не идет ни в какое сравнение с тем, что предстояло теперь. И, викуда не денешься, не по себе становилось от изнурительного ожидания этого предстоящего.

Иосиф Михайлович старался следить за собой, но не знал, что улыбается слишком часто и принужденно, что слишком охотно и поспешно откликается на любое обращение, на любой разговор, что сам говорит больше обычного и с неестественной бодростью. Однако бывалые солдаты, которых немало было в роте, знали, что именно так ведут себя перед первым своим делом многие необстрелянные, они видели состояние своего комиссара, понимали его и относились сочувственно, тактично. В свое время каждый из них сам прошел через такое.

Наконец — скорее угаданная, чем услышанная, — команда:

— А-о-гонь!

И — лихорадочная пальба, когда едва успеваешь ударом ладони двигать уже согревшийся затвор… и пальцы неловко досылают еще обойму и еще… и вот уже нет ни одной обоймы, все израсходованы… Теперь — в контратаку, и опять почему-то не расслышал команды, только увидел, как справа и слева поспешно выбираются из окопов бойцы. И тогда сам — животом на бруствер, винтовку — вперед, помогая коленом встать, тут же устремиться туда, куда все. И делать то, что делают все — справа и слева… И крикнуть «ура!», но при этом не услышать своего голоса, а лишь ощутить его горлом.

И — то, что уже после будет осознано как рукопашная, недолгая и яростная, когда действуешь прежде, чем сообразишь, что именно следует делать. И не до страха в те бессознательные секунды — страх одолевает перед боем и осознается после; вовсе не испытывают никакого страха, наверно, только психи. Главное тут — не уронить себя…

После, возвращаясь на свою позицию, долго не могли отдышаться, торопливо, кашляя, затягивались махоркой, чтобы унять неподвластную дрожь.

— Возьми огонька, комиссар.

— Спасибо, товарищ… Спасибо…

— Ничего, комиссар! Не подкачал…

Для первого такого раза большей похвалы не бывает.

Сражавшийся до последнего дня на Холодной горе Николай Руднев доложил Антонову-Овсеенко:

«Оборонять Харьков было невозможно, немцы глубоко обошли с левого фланга, ценные грузы успели вывезти. Большая часть войск с Основы и Холодной горы вывозится эшелонами на Змиев и Купянск, часть войск отступает походным порядком на Купянск. С правого фланга войска прорвались через Дергачи на Казачью Лопань».

Эшелоны с войсками и беженцами, с оружием и боеприпасами, с продовольствием и обмундированием спешили к донецким копрам — все еще надеялись, что туда немцы не доберутся. Но на войяе всего не предусмотришь…

До ста тысяч красных бойцов — иные с семьями — покидали Украину. Примаков назвал это «великим исходом».

Иосиф Михайлович уходил одним из последних в число товарищей, державших путь на Ростов.

23. ПОЗОР

Четыре неприветливых стены. Неуютная койка. Надежно запертая дверь. Над головой — потолок в причудливых бликах от неяркой лампочки. Нет простора в камере, нет свободы.

Михаил Артемьевич, не в силах успокоиться и совладать с собой, шагает из угла в угол — по диагонали, так все же на какой-нибудь аршин длиннее. Он вспоминает медведей и леопардов, виденных в зверинце: они вот так же без устали шагали туда и обратно по тесной клетке, запрокидывая голову на поворотах. Может, и ему запрокидывать голову на поворотах? Да, этак недолго и рехнуться!

Как случилось, что он, главком Муравьев, отбивший Краснова и Керенского от Петрограда, громивший Каледина, взявший Киев и спасавший Одессу, он — не последний из героев свершившейся резолюции и начавшейся гражданской войны — очутился в ЧК?

Михаил Артемьевич — в который раз уже — вспоминал одесскую эпопею, совсем недавнюю…

Не успел он тогда, зимой, насладиться киевским триумфом, как был переброшен на развалившийся Румынский фронт, где пришлось действовать и против внешнего противника, и против доморощенных частей генерала Щербачева. Кто упрекнет его в том, что он действовал недостаточно энергично?

На всем протяжении фронта от Одессы до Знаменки его части сражались не на живот, а на смерть. Его бойцы, его орлы… они сражались, как львы! Сам Антонов-Овсеенко признал это. И что же? Льва-предводителя — в клетку? За что, спрашивается?!

Ну да, уже в марте Одессу пришлось оставить — 1-я и 2-я армии отходили по суше, а часть 3-й армии морским путем переправилась в Крым и оттуда была переброшена под Лозовую… Да, приходилось отступать. Но не из-за недостатка отваги, в этом ни своих бойцов, ни себя самого Михаил Артемьевич упрекнуть никак не может. И никто не посмеет упрекнуть! Разве не ясна причина оставления Одессы и последующего отступления? Она — в явном военном превосходстве вторгшихся в пределы Украины сил противника. Полдюжины регулярных германских и австро-венгерских дивзий шля на Одессу. Это — не считая гайдамацких частой. Впереди — бронепоезда, бронеавтомобили, мотопехота. Всепробизающий кулак с кастетом!

Спору нет, Совнарком трезво оцэвил обстановку и не ставил перед защитниками Одессы невыполнимых задач. Только две задачи указывались в директиве Совнаркома; максимально затормозить продвижение противника и не оставлять ему в

Одессе ни хлеба, ни металла. Кто упрекнет Муравьева в том, что он не сделал все от него зависящее для выполнения этих двух задач? Разве не досталось противнику на правом фланге, на линии Помошная — Знаменка, разве не драпал он к Бобринской? А на ловом фланге, у Слободки, разве не были выведены из строя германские бронепоезда, разве не ретировались немцы до самой Рыбницы, откуда — лишь получив свежие подкрепления — сумели возобновить свое продвижение на восток? Не доставалось разве воякам кайзера от сформированных в самой Одессе отрядов бомбистов? Мало ли захватчиков навсегда полегли под Слободкой и у Бирвулы?

Да, подтянув резервы со стороны Жмеринки и создав угрозу обходного маневра со стороны Бессарабии, противнику все же удалось выбить Муравьева из Одессы. В германских штабах тоже не идиоты сидят, тоже обучены, как развивать успех. И генерал Кош, едва взяв Одессу, тут же посадил свою пехоту на тридцать два грузовика, придал им шесть бронеавтомобилей и, не мешкая, погнал всю эту колонну на Николаев, где находилась база русских военных кораблей. Хитро было рассчитано и дерзко осуществлено! А вслед за Николаевым пал Херсон… Видит бог (если он существует все же), Муравьев делал все, что мог.

И в таких-то условиях требовать от него, чтобы войны велась в белых перчатках? Ах, грабежи! Ох, насилия! Ух, расстрелы! Вот ведь что, как выяснилось, ставится ему в вину.

Но Михаил Артемьевич, пардон, самолично ни одетой девицы не изнасиловал, ни одного обывателя не укокошил и ни одной буржуйской квартиры не ограбил. А что подчиненные ему бойцы, особенно фронтовая солдатня и братва из матросов-анархистов, порой баловались… Так лес рубят — щепки летят! Славнейшие полководцы всех времен и народов поднимали солдатский дух обещаниями всяческих незамысловатых утех в награду за храбрость и смотрели сквозь пальцы, если какой-нибудь бравый герой, только что игравший в кошки-мышки с самой «курносой», вознаграждал себя бесхитростными радостями жизни, единственной своей жизни, которой он ежечасно рискует, добросовестно выполняя предначертания командования. Какой военный не знает и не понимает этого? Разве что некоторые чистоплюи из большевичков? Вот им-то, никому иному, обязан Муравьев своим упижением!

Больше того, иногда — чтобы не потерять авторитета и рычагов управления войсками — он сам приказывал расстреливать особенно распоясавшихся насильншков и мародеров. Но ему даже это ставят теперь в вину: дескать, без суда и следствия расстреливал. Но какой еще суд, какое

следствие в боевой обстановке?! Ну, как тут служить, как воевать при таком отношении, в таких условиях? Ни встать, ни лечь, ни боком повернуться!

Михаил Артемьевич устал метаться по камере, присел на заскрипевшую койку, сгорбился, уперся локтями в колени и охватил пальцами голову.

А что же было еще перед арестом? Какая-то мешанина в голове… Неприемлемые предложения Антонова-Овсеенко о новом назначении, явно не соответствовавшем заслугам Муравьева… Поездка в Москву, обращение к самому Троцкому… Попытка назначить Муравьева командующим Кавказской армией сорвалась: воспротивился председатель Бакинского Совнаркома Шаумян, воспротивился так решительно, что даже Троцкий вынужден был пойти на попятную. А чем, спрашивается, не угодил Муравьев Шаумяну? Но не так-то просто сломить Муравьева, он не терял зря часу — отправил свой штаб в Царицын, сам собирался выехать следом… Не успел! Чекисты оказались проворнее.

Теперь его ждет суд ревтрибунала. Работает следственная комиссия. Вот тебе, Михаил Артемьевич, и суд и следствие. Никто не пытался самочинно пристрелить тебя, ссылаясь на военную обстановку. Так-то… А дальше что?

Михаил Артемьевич не знал, что вскоре после взятия Киева в одном из его штабных вагонов собралась группа большевиков и приняла решение: послать делегатов к Ленину — доложить о муравьевском стиле командования.

Не ведал он и о полученном следственной комиссией письме председателя ВЧК Дзержинского, где говорилось;

«О Муравьеве комиссия наша неоднократно получала сведения как о вредном для Советской власти командующем. Обвинения сводились к тому, что худший враг наш не мог бы нам столько вреда принести, сколько он принес своими кошмарными расправами, расстрелами, самодурством, предоставлением солдатам права грабежа городов и сел. Все это он проделывал от имени нашей Советской власти, восстанавливая против нас все население. Грабежи и насилия — это была его сознательная военная тактика, которая, давая нам мимолетный успех, несла в результате поражение и позор…»

Михаил Артемьевич не читал этого письма, но все содержащиеся в нем обвинения от следователя слышал.

Что было делать? Что мог он предпринять в создавшемся положении, на что надеяться? Одна была надежда, последняя. На своих товарищей по партии, на левых эсеров. Неужели они отдадут без боя такую фигуру, как Муравьев?

И надежда оправдалась. Узнав о случившемся, начали хлопотать. За дело живо и энергично принялся левый эсер Александрович, используя свое положение заместителя председателя ВЧК. Упор делался на боевые заслуги Муравьева, на неосознанность допущенных им ошибок и тому подобное. Был еще порох в пороховницах у левых эсеров! Сообща вызволили Михаила Артемьевича.

По рекомендации Троцкого и того же Александровича он чуть ли не прямо из камеры был отправлен в Казань — на должность главкома только что открывшегося Восточного фронта.

Надо сказать, что освобождение и новое назначение Муравьева удивило и насторожило многих военных. «Заявляю самый решительный протест, — телеграфировал в Совнарком Подвойский, — против назначения Муравьева Главкомом, ибо это назначение принесет непоправимые вред Советской республике. Особепно это назначение повредит планомерной работе по организации настоящей армии». Рейнгольд Берзин, бывший поручик, участник мировой войны и боев с войсками Центральной рады, передавал с Западного фронта по прямому проводу: «Не знаю, каковы политические и оперативные соображения, почему он назначен, по его назначение оставило тяжелое впечатление».

Во избежание каких-либо рецидивов и недоразумений при новом главкоме был создан Реввоенсовет в составе трех большевиков — Кобозева, Мехоношина и Благонравова.

24. ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

— Ничего, дорогой, у тебя еще все впереди, — темные глаза Орджоникидзе на крупном лице глядели с веселой добротой, а говорил он строгим тоном, с изрядным акцентом, но по-русски правильно, слов не коверкал.

С первых же часов прибытия из Харькова в Ростов Иосиф Михайлович стремился встретиться с чрезвычайным комиссаром с глазу на глаз, чтобы вернуться к прежнему разговору об отправке на фронт. Поскольку Донбасс оккупирован, Донецкой республики как таковой фактически не существует, нет соответственно и ее наркомата соцобеспечения. Числившийся наркомом Варейкис получается как бы полководцем без войска. А главное, он уже побывал в бою, под Харьковом, уже понюхал пороху, и просто грех великий задерживать его по-прежнему в тылу…

Но тут неожиданно Орджоникидзе сам вызвал ого, и Иосиф Михайлович, воспользовавшись случаем, прямо с порога атаковал чрезвычайного комиссара, разом высказав все свои соображения. И услышал в ответ, что все още впереди. Орджоникидзе, немного помолчав, вновь заговорил — теперь не только голос, но и глаза его стали строгими.

— Я тебя выслушал, товарищ Варейкис. Теперь ты послушай, что я скажу, для чего вызвал тебя. С этого нам, пожалуй, и надо было начать, не так ли?

— Извините, товарищ Серго. Погорячился.

— Извиняю. Я и сам не прохладный. Только нам, большевикам, часто приходится свою горячность сдерживать. Как коня. Горячий конь — это неплохо. Но при одном условии: если рука всадника держит его в узде. Я давно знал, Иосиф, что ты не из льда вытесан. Да в твоем возрасте, я бы сказал, нехорошо даже быть с холодной, как у рыбы, кровью. Но мне товарищи говорили, даже уверяли меня, будто ты умеешь сдерживать свою горячность. И я охотно поверил. Скажи, ошибся я?

Иосиф Михайлович оторопел было от внезапно и в упор заданного вопроса. Но быстро овладел собой и твердо ответил:

— Со стороны виднее, товарищ Серго. И если партия требует, горячности своей проявлять не буду.

— Вот правильный разговор! — обрадовался Орджоникидзе. — Да, партия требует, вопрос именно так и стоит.

«Куда он клонит? — подумал Иосиф Михайлович, настороженно слушая чрезвычайного комиссара. — Зачем вызвал?»

А тот, после недолгой паузы, продолжал:

— Итак, о чем речь? Мы вот посоветовались с Артемом и другими товарищами. И решили предложить тебе новое дело, рекомендовать тебя на новый пост. Хотим направить тебя в Симбирск…

— Опять в тыл?!

— Вчера там был тыл, а завтра — фронт. И нам нужны там проверенные, надежные люди. Достаточно мужественные и в то же время достаточно осмотрительные. Инициативные и дисциплинированные. Энергичные и при этом достаточно выдержанные. Как на фронте! Таи сейчас требуется именно такой товарищ. А ты, Иосиф, зарекомендовал себя именно таким.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. В СИМБИРСКЕ

Иосиф Михайлович, новый председатель Симбирского комитета РКП (б), заставил себя хоть на часок оторваться от заваленного бумагами и книгами просторного стола, покинуть кабинет и выйти к Волге продышаться.

Он вышел к Венцу — бульвару, который и впрямь, подобно венцу, обрамлял высокое чело старой части города. Еще в мае, когда Варейкис только прибыл в Симбирск, его привел сюда председатель губисполкома Гимов, усатый богатырь. Иосиф Михайлович тогда еще заметил, как мало населена эта часть города, и Гимов пояснил, что — из-за оползней. Они на первый взгляд по очень-то заметны, но почти ежегодны, а однажды оползень был столь ощутим, что снес не одну постройку…

Отсюда, с косогора, далеко проглядывалась Волга — вся в мириадах маленьких сверкающих светил, порожденных солнцем. Вода текла нескончаемо, как мысли, и уносила в неведомые края невесть откуда приплывшие обломки погибших деревьев, а неисчислимые чада высокого солнца, приплясывая на ее поверхности, оставались на месте. Волны, на которых плясали солнечные блики, издали казались мелкими. Среди светящейся воды кое-где белели отмели и темнели поросшие лесом острова. А дальше, за Волгой, виднелись сочно-зеленые луга левобережной поймы, ивняки да осокори вдоль продолговатых стариц.

Летнее солнышко — не скупое. Иосиф Михайлович сбросил кожаную куртку, расстегнул стоячий ворот гимнастерки, снял фуражку — ветер взвихрил волосы, не успевшие еще отрасти как следует после недавней стрижки. В эту пору с короткими волосами удобнее, а к зиме он снова отрастит их и опять станет похожим на разночинца-шестидесятника, — многие не раз делали ему такой комплимент.

Он взглянул на карманные часы — самому себе отмеренное время отдыха еще не истекло. Расстелил куртку под старым вязом и с облегчением сел, прислонясь измокшей спиной к теплой коре комля. Захотелось снять сапоги, однако такой роскоши себе не позволил. Лишь скинул с плеча и положил рядом неразлучную полевую сумку — в ней, всегда при себе, хранил он важнейшие документы, директивы из Москвы и второй том «Капитала», а первого тома во всем Симбирске не нашлось.

Здесь, в Симбирске, родился Ленин. Это обстоятельство приводило Иосифа Михайловича в тихое изумление: ведь надо же было так всему случиться, что именно ему, Варейкису, доверили столь ответственный пост именно в этом городе. А то мало ли

губернских городов в России? И хотя он познал тяжесть ответственности и привык к ней, насколько вообще можно привыкнуть к такой тяжести, но на сей раз она оказалась особенно велика.

Отчего? Быть может, оттого, что здесь родился Ленин. И оттого, что обстановка складывалась чрезвычайно напряженная, прав оказался Орджоникидзе: скучать тут не приходилось. Все эти причины Иосиф Михайлович осознавал. Но помимо всего прочего его все чаще тяготило подсознательное предчувствие испытаний.

Он старался не поддаваться предчувствиям, ибо считал это предрассудком и мистической блажью, недостойной большевика. Он принуждал себя снова и снова трезво взвешивать все стороны реальной политической ситуации и тщательно выверять свою линию, ее соответствие линии партии, продумывать каждое свое слово и каждый поступок.

На первых порах очень помог и поддержал Гимов, лишь внешне пугающий солидностью и угрюмостью. Они даже подружились, как могут подружиться двое неслабых духом мужчин, одинаково мыслящих и делающих одно общее дело.

Иосиф Михайлович с первых же шагов решил сделать ставку на печать — это эффективнейшее оружие в политической борьбе. В газете «Известия Симбирского Совету» весьма вольготно чувствовали себя левые эсеры, опереться на нее — все равно что в непогоду пересекать Волгу на челне-душегубке. И, выступая 26 мая с докладом о текущем моменте и задачах парторганизации, новый председатель партийного комитета выдвигает идею: создать свою, большевистскую газету. К сожалению, идею эту осуществить не удалось, поскольку на такую роскошь, как две газеты, попросту не хватило средств. Но главное — не унывать, не сдаваться, настойчиво искать выход, И неунывающий, настойчивый Варейкис находит его: коль скоро не создана отдельная большевистская газета, способная конкурировать с левоэсеровекпми «Известиями», остается лишь одно — сделать существующую газету большевистской де-факто, добиться главенствующей роли большевиков в редакции. И в кратчайшие сроки это удалось.

Иосиф Михайлович сколотил из большевиков боевую и дружную редакционную группу, сам — за счет и без того недолгого сна — принялся писать полемические материалы в номер, читать и править написанное другими. Главное — не уступать ни одной позиции левым эсерам! И в результате — закономерная победа, теперь то же «Известия» фактически превращаются в рупор симбирских большевиков.

Далеко не последнюю роль сыграл тут Саша Швор —

щупленький очкарик, но невероятно деловитый, энергичный, задиристый — от не только принял на себя все редакторские заботы, но поспевал еще на различные собрания и митинги. Он появлялся едва ли не одновременно в комитете партии и в редакции, на партсобрании и на им же организованном митинге, на заводе и в казарме. Его узнал и полюбил весь трудовой Симбирск, а Иосиф Михайлович день ото дня все больше привязывался к этому надежному, незаменимому товарищу.

Если бы в партийной среде все были такими, как Гимов и Швер! Но, к сожалению, встречались и другие — случайные и далеко не случайные темные личности, те, которые прилипли к партии, ставя перед собой исключительно корыстные цели. Такие типы не ощущали к себе никакого внутреннего стремления бороться за интересы и дело партии, они готовы были бороться лишь за сугубо шкурные интересы — под любыми лозунгами и даже под органически чуждыми их натуре партийными боевыми девизами.

Ну, нет уж! Подобного нельзя допускать.

Иосиф Михайлович с удовлетворением думает о том, что все-таки удалось провести перерегистрацию симбирских большевиков. Пускай ряды их в результате поредели несколько, но зато стали сплоченнее и боеспособнее.

Не столько числом, сколько чистотой и надежностью каждого своего бойца должна быть сильна партня. Тогда никакие неожиданности, никакие испытания не страшны ей.

А новые испытания не заставляют себя ждать. Из глубоко тылового города Симбирск нежданно-негаданно стал прифронтовым. И в который раз уже вспомнил Иосиф Михайлович напутственные слова товарища Серго…

Что же произошло?

Еще за год до свержения царя, по согласованию с военными миссиями Антанты, на территории России был создан Чехословацкий стрелковый полк — преимущественно из числа австро-венгерских военнопленных. Летом 1917 года, уже при Временном правительстве, полк вырос в дивизию, а к осени — в сорокапятитысячный корпус во главе с русским генералом Шокоровым. Корпус этот использовали при подавлении «аграрных беспорядков» на Украине и против киевских повстанцев, короче говоря — для поддержания Центральной рады. Затем он был провозглашён составной частью французской армии, и командование корпуса не пожелало откликнуться на предложение правительства Советской Украины: либо совместно сражаться против немецких оккупантов, либо разоружиться. Командиры корпуса в ответ на такое предложение потребовали

незамедлительной отправки в Западную Европу. И, не дожидаясь ответа, начали самовольное продвижение, захватывая эшелоны и станции. Тем самым они, естественно, мешали вынужденному отходу с Украины советских войск, в составе которых, кстати, героически сражались красногвардейские отряды чехословаков-мнтернационалистов.

В конце марта 1918 года — во избежание международных осложнений — Советское правительство согласилось эвакуировать корпус через Владивосток. Но при условии сдачи оружия. В ответ на такое предложение несколько тысяч солдат корпуса тут же добровольно вступили в ряды Красной Армии, в составе которой к тому времени уже действовал 1-й Чехословацкий революционный полк командира Штромбаха. Остальные же должны были разоружиться и — как частные лица — продвигаться небольшими группами к Владивостоку, где ситуация осложнялась из-за начавшейся японской интервенции. Оттуда — по океану — надо было добираться до Европы почти кругосветным маршрутом. Но другого безопасного пути в ту беспокойную пору не было.

Однако в результате происков Антанты корпус не только отказался разоружиться, но 25 мая 1918 года поднял мятеж, нацеленный в спину революции. Ленин всячески стремился к мирному урегулированию, указывая, что против власти Советов «идут не чехословаки, а их контрреволюционный офицерский состав». В то же время — перед фактом вызывающей несговорчивости мятежных белочехов, перед лицом новой и непредвиденной серьезной угрозы — приходилось принимать все необходимые меры для защиты молодого государства. Был спешно создан Восточный фронт. Главкомом фронта был назначен уже знакомый Иосифу Михайловичу левый эсер Муравьев. Почему он?..

Из Казани, из штаба Восточного фронта, прибыл в Симбирск нарочный с поручением от членов РВС Кобозева и Благонравова. Они рекомендовали создать в Симбирске Чрезвычайный военно-революционный штаб, возглавляемый большевиками, — чтобы ослабить позиция левых эсеров, засевших в губвоенкомате и гарнизоне. Начальником штаба стал Варейкис.

Итак, уже третья работа по совместительству, а по сути дела, все три занимаемых Варейкисом поста сводятся к некоему единому — посту партийного руководителя в городе, который стал прифронтовым и является Центром губернии, объявленной на военном положении.

1 июня Иосиф Михайлович собрал всех большевиков городской организации и сказал, что в создавшихся условиях

особое значение приобретает вопрос о военной подготовке и личном вооружении каждого члена партии.

— Буржуазия, — говорил он, — пользуется всеми средствами, чтобы напасть и разбить нас. Мы обязаны сплотиться, организоваться и обучиться военному делу. Нам необходимо приняться за дело, не ждать ни одного часа и приступить к обучению всех членон партии, дабы быть готовыми по первому же призыву встать под ружье!

Тут же, по его предложению, избрали военную комиссию по обучению. И были начаты регулярные военные занятия. Затем на фронт, под Самару, ушли сводный отряд красногвардейцев-текстильщиков, пулеметная команда и часть отряда интернационалистов. Многие из этих; бойцов-симбирцев пали в сражении у станции Липяги…

А он?

А он, пославший их и сам оставшийся в живых, расселся здесь под развесистым вязом и любуется пейзажами?! Блаженствует, прохлаждается?! Передышки захотелось? Там, на позициях, тоже не отказались бы от передышки!

Иосиф Михайлович рывком вскакивает, наскоро отряхивается и оглядывается — вокруг ни души. Пальцы — под ремень и от пряжки в стороны, фуражку — на голову, сумку — на плечо, куртку — пока на руку.

Он тяжело дышит, гневаясь на себя, не прощая себе даже недолгого отдыха — этой неуместной и недопустимой, по его убеждению, слабости. Теперь он широко шагает, торопясь обратно. К своему рабочему месту. На свой пост.

2. МУРАВЬЕВ В КАЗАНИ

Одна из башен казанского кремля, уступчатая, островерхая, напоминала Боровицкую башню кремля московского. Но масштабы, конечно, не те… Другая башня казанского кремля, тоже островерхая, белела на голубом фоне безоблачного июньского неба. Жара над городом стояла непробиваемая, в здании штаба фронта на Проломной улице было душно. Михаил Артемьевич расстегнул ворот светлого летнего кителя, вытер чистым платком взмокшую шею и решительно поставил подпись под только что сочинённым первым своим приказом по войскам нового фронта. Уже подписав, все же не удержался и еще раз перечитал, испытывая приятное чувство удовлетворения:

«Объявление войскам. Декретом СНК для борьбы с чехословаками и контрреволюцией учрежден Революционный военный совет, в составе которого я состою главнокомандующим всеми силами, действующими против восставшей контрреволюции. 18 июня я вступил в командование; как всегда, призываю вас, крестьян и рабочих, солдат и матросов, беспощадно бороться за свою власть, которую хотят отнять у вас помещики, капиталисты, чтобы вернуть себе обратно землю и волю, как это они сделали на Украине, в Финляндии, на Кавказе и в Польше. Не скрою своего впечатления, что нет уже у нас больше революционной энергии. Призываю вас всех воспрянуть духом и снова, как один человек, встать на защиту революции, на ее завоевание».

Всего несколько дней тому назад еще томился он и камере ЧК, угнетенный неведением и преисполненный отчаяния. И вот он снова на коне, снова обращается к войскам и не сегодня завтра поведет их в бой, навстречу новым победам.

Однако уроки из происшедшего Михаил Артемьевич для себя извлек. Теперь он будет осторожнее, постарается не конфликтовать с большевиками, поладить с их комиссарами — членами РВС… А ладить с ними, ох, тяжело! Ежедневно, ежечасно приходится сдерживать себя, стискивая зубы, чтобы не грянуть кулаком по разостланным картам, не вызвать верных своих ореликов, дабы схватили этих назойливых опекунов и спорщиков да расстреляли их к чертям собачьим… Нет уж, снова испытать унижение ареста — увольте, хватит, главком Муравьев не такой дурак, он будет покладистым, как никогда прежде. До поры до времени. Пока не пробьет его звездный час. А он пробьет, непременно пробьет! Только бы дождаться, выдержать, сберечь резервы собственных сил к желанному моменту своего часа.

— Нестор, голубчик, испить бы прохладительного, а?

— Айн момент! — Перетянутая тонкими в серебряных бляшках ремнями, возникла перед глазами черкеска старшего адъютанта, вспыхнула алым пламенем в дверях кабинета и исчезла.

Отчаянный джигнт! Не то что бутылочку прохладительного — хоть самого Вельзевула, если потребуется, в «айн момент» из преисподней добудет и доставит своему командующему. Предай как пес. А куда деваться псу от хозяина? В лес убежать? Там волки сожрут. Отсюда, подумал Михаил Артемьевич, и пресловутая собачья преданность, надо полагать…

Ну, жарища! Как говорится, теплую встречу уготовила Казань новому главкому — прямо хоть вовсе китель скидывай. В гимнастерку хлопчатобумажную переодеться, что ли? Несолидно вроде…

Но не так жара казанская допекла Михаила Артемьевича, как эти трое, приставленные к его особе.

Мехоношин — военная косточка, из бывших лейб-гвардейцев, однако главком — без пережиму, на всякий случай — пытался протестовать. «Командировка Мехоношина, — заявил он тогда, — меня пугает… Ничего доброго от этих новых революционных штабов не жду, меня и так наградили таким штабом, что по нем веревка плачет». Веревку, правда, пришлось упрятать подальше, а с прибывшим Мехоношиным познакомиться поближе. Оказался спокойным и стойким.

Благонравов тоже, казалось бы, свой брат офицер, но ухо с ним надо держать навостренным: этот еще в октябре семнадцатого показал себя, когда был комендантом Петропавловки и спутал карты мятежному полковнику Полковникову. Хорошо, что удалось теперь назначить к этому бдительному Благонравову заместителя — Колегаева, своего человека, из левых эсеров, занимавшего пост казанского предгубисполкома.

Более всех прочих беспокоил Кобозев — матерый такой большевик, из путейцев, угрюмый и бородатый, прозванный Стариком. Подкову легче согнуть, чем такого переубедить в чем-либо.

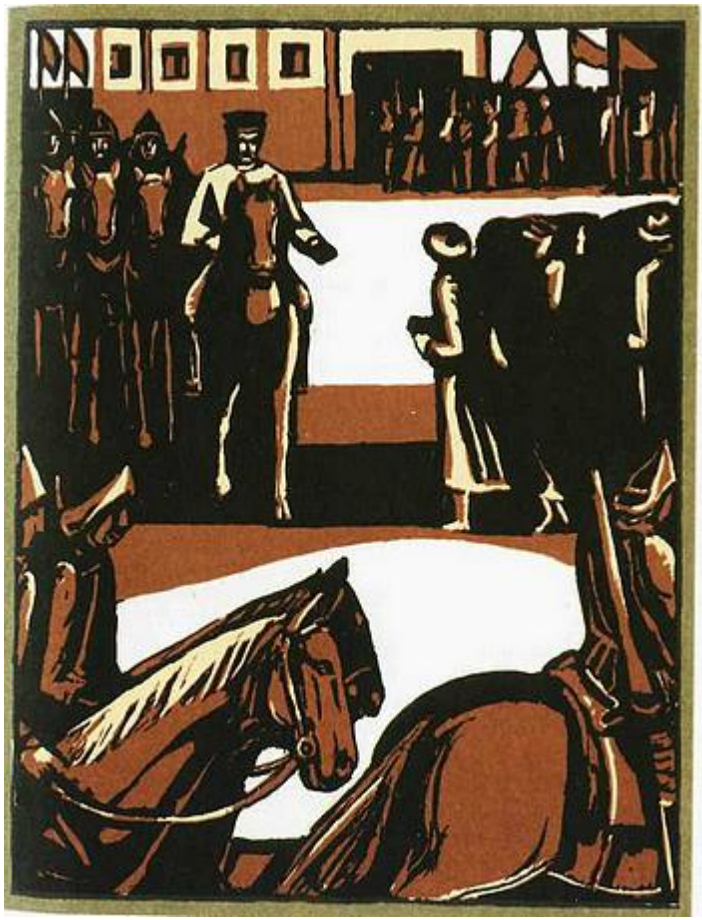
Таковы были трое большевиков, прикомандированных к одному левому эсеру, — силы, прямо скажем, неравные, и Михаил Артемьевич понимал это. И потому где только возможно старался обеспечить свои тылы и фланги левыми эсерами. В этом плаие наиболее надежной и перспективной представлялась Симбирская группа войск, которой командовал левый эсер Клим Иванов. Правда, там, в Симбирске, с появлением Варейкиса

большевики явно начали поднимать голову. Михаил Артемьевич не забыл и никогда не забудет своей первой встречи в Харькове с этим упрямым литовцем — из молодых да ранних…

Ведь что придумали хитрецы большевички там, в Симбирске! Вознамерились назначить своего комиссара к Иванову. Пришлось решительно вмешаться и возразить, упирая на то, что Иванов законным образом был выдвинут фракцией левых эсеров и является не только командиром, но одновременно военным комиссаром и членом Симбирского исполкома. Надо отдать должное Иванову: большевистских комиссаров не жаловал и где только возможно в свои войска не допускал. Когда политкомиссар 1-й армии Калнин потребовал их назначения в части, Иванов недвусмысленно отказал, сославшись на то, что командный состав и без того партийный (то есть левоэсеровский), — стало быть, дополнительный контроль со стороны большевиков ни к чему. Однако Калнин в этом споре все же одолел, прислав дипломатическую телеграмму, где уверял, что «назначение политических комиссаров в части войск является необходимостью не только для контроля над командным составом, но для несения вообще политических функций (контрразведка, культурно-агитационная работа, следствие, суд)». И добавил, что для централизации политработы комиссары будут отныне назначаться политотделом армии и подчиняться только его инструкциям. Короче говоря, поставил Иванова перед свершившимся фактом.

Но 1-й армией командовал свой человек, Харченко, и это тоже был немаловажный факт. Правда, Михаил Артемьевич видел, что командарм Харченко как военачальник явно себя не оправдывал. Никуда не денешься, пришлось смириться с назначением на его место прибывающего из Москвы большевика Тухачевского. С этим предстоит еще познакомиться. И на всякий случай, пожалуй, подчинить нового командарма сидящему в Симбирске левому эсеру Иванову. Да, перетасовка карт игре не помеха.

Ведя свою игру, Михаил Артемьевич посылал вышестоящему начальству бодрые рапорты, всячески подчеркивая, что идет «энергичная» подготовка к наступлению, что «внушительные события» не за горами, что победа будет достигнута в кратчайшие сроки. При этом нелишним было упомянуть, что войска повсеместно приветствуют своего главкома с нескрываемым восторгом и настроение их заметно повышается.



В то же время нельзя было переигрывать и выглядеть чрезмерно покладистым, ибо такая резкая перемена в достаточно известном характере главкома могла бы вызвать настороженность и усилить недоверие. Поэтому Михаил Артемьевич не упускал случая время от времени в меру побрюзжать. «Мои политические комиссары, — жаловался он в Москву, — очень недовольны тем восторгом, с каким войска меня встречают. На меня дуются, и я боюсь доноса, задерживают и не подписывают мои обращения к войскам… В операции пока не вмешиваются, во уже есть поползновения… Я, подвергающий себя ежедневной опасности, имею, кажется, право на доверие к себе… Сберегите эту ленту для будущего».

В такой непростой обстановке приходилось Михаилу Артемьевичу готовить свой очередной военный триумф. И опять-таки большевистские комиссары всячески ставили палки в колеса его триумфальной колесницы. Видимо, так он предполагал, готовились отхватить себе изрядный куш от боевой славы

главкома. А то с чего бы такая прыть?..

— Вот спасибо, Нестор! Что бы я без тебя делал?

— Нет, что бы я и все мы делали без вас, Михаил Артемьевич?

— Ладно-ладно, без подхалимажа! Ну и духотища… Не Казань, а наказанье… Хороша водица!

— Не пейте большими глотками, Михаил Артемьевич, горло застудите.

— Сам знаю! Мало у меня нянек из РВС, так и ты туда же.

— Обижаете, Михаил Артемьевич! Разве похож я на комиссара?

— Не похож, милый, нисколько не похож. И они на тебя не похожи. А за водичку еще раз спасибо. Молодец!

3. АЙ ДА МИТРОХИН!

Потолкавшись по пыльному казанскому базару и ничем не разжившись, Митрохин вернулся в свою часть, недавно переброшенную сюда с запада. Зря только ходил на этот суматошный базар. Другие как-то умудряются менять, а ему и менять-то нечего: даже сапог не осталось, ботинки же износились, левый каши просит, а единственную пару обмоток только успевай простирнуть да на себе же и высушить.

Не успел передохнуть, как раздалась команда к построению. Якобы сам главком Муравьев к ним пожаловать должен.

Построились на плацу перед казармой. Солнце било прямо в глаза, лютое в этом краю солнце. Развернуть бы строй, но тогда начальство в ослеплении окажется, тоже не дело.

Из-под выгоревшей фуражки текли за уши щекочущие струйки пота. Прилетела увесистая муха, крутилась перед лицом, жужжа настырно, норовила присесть ко рту поближе. Ее сдунешь — отлетит и опять лезет. Прихлопнуть бы. Но уже дана команда «смирно!». И стоишь в первой шеренге, на самом виду. Терпи, солдат, тебе не привыкать…

Подкатил автомобиль, из него вышел главком в белом кителе, осанистый такой. За ним — командиры, и один нарядный, в красной черкеске. Прошелся главком вдоль строя, приглядываясь внимательно, будто выискивал, высматривал, нет ли где непорядка хоть в чем-нибудь. В самые глаза упирался — Митрохин выдержал, только заморгал чаще и почуял, как загорелись скулы — от этой давней напасти, приличествующей скорее барышням, вовек не излечиться.

С близкого расстояния он признал главкома, вспомнил, что видел его уже прежде, на Украине. Постарел главком с той недавней поры. Война хоть кого состарит… Тогда еще, помнится Митрохину, при Муравьеве подпоручик Лютич был — вон где, оказалось, вынырнул. Теперь не видно, в свите незнакомые все. Может, убило Лютича, а может, еще куда подевался. Время такое, кидает людей на многие версты, раскидывает веером…

А главком уже обратно в автомобиль забрался и говорит речь. Голос зычный, в строю тихо, слыхать хорошо.

— Товарищи красноармейцы! — выкрикнул главком новое, непривычное пока слово. — Доблестные солдаты великой русской революции! Весь мир содрогается от грозной поступи ваших железных шагов…

Ишь ты, изумился Митрохин, весь мир, выходит, содрогается. И шаги-то не какие-нибудь — железные! Это — в стоптанной,

изношенной обувке. Многие кто в опорках, кто в лаптях с обмотками, у иных же одна внешняя видимость — сверху голепища и союзка, а споднизу ничего, никакой уже подошвы, считай, что босиком. Интендант ихний проворовался, да двое придурков при нем пропили добро солдатское, вот и… Вчера только митинг был, хотели в расход их вывести да просто выгиали к такой-то матери. И приняли резолюцию, чтобнл подобным расхитителям и пьяницам впредь не было места в рядах Красной Армии. Митрохин тоже проголосовал, резолюция ему понравилась. Только сапог из нее не сошьешь…

— Славная партия большевиков, — говорил главком, вцепившись одной рукой в борт автомобиля, в то время как другая его рука энергично рубила воздух в такт речи, — плечом к плечу с левыми эсерами и другими революционными партиями, ведет нас от одной исторической победы к другой. И там, где появляются наши боевые красные знамена, там белая контра не выдерживает и трусливо показывает нам свою изнеженную задницу, в которую ваша мозолистая рука без колебаний всаживает неумолимый штык!

На последние слова строй откликнулся веселым оживлением, Митрохин даже не удержался и тыкнул в полный голос, но тут же попритих, внимательно слушая столь залихватскую речь главкома.

— Солдаты революции! — продолжал тот. — Вы меня знаете, и я вас знаю. Вместе с вами, орлы мои, брал я Гатчину и Киев, отбивал Одессу. Теперь, перед нами новая задача, я поведу вас к новым победам, и Советская Россия никогда не забудет наших подвигов! Я знаю, вам нелегко. Казнокрады и жулики посягают на самое святое — на солдатское обмундирование и на солдатский котел. Я буду беспощадно расстреливать в наших тылах этих паразитических вшей, сосущих нашу рабоче-крестьянскую кровь! Но нам с вами не привыкать к трудностям, дорогие мои орелики, мы с вами не какие-нибудь маменькины сынки и прочие буржуйские неженки…

Это так, подумал Митрохин, однако щи да каша — пища наша, а ослабнешь — не много навоюешь. И без исправной обувки далеко не пройдешь, как бы там ни содрогался от твоих железных шагов весь буржуйский мир. Может, он и несознательно рассуждает? Может, покойный Фомичев и сумел бы повернее направить ход его мыслей, но никакие другие мысли в ответ на речь главкома почему-то не возникали.

А главком, будто подслушав или угадав эти сомнительные мысли Митрохина, заявил вдруг:

— Могу вас порадовать, товарищи красноармейцы. В наших

руках, и не где-нибудь, а здесь, в самой Казани, в подвалах банка сосредоточен весь золотой запас республики, более сорока тысяч пудов чистопробного золота…

Строй едва не потерял равнение, услыхав такое.

— Что, братцы, потрясены? Я тоже, представьте себе, был потрясен, когда узнал. А что это значит, товарищи? Это означает, что каждому раненому красноармейцу власть Советов сможет выплатить по полтысячи золотых рублей, а семье каждого погибшего воина революции — по тысяче червонцев!

— Ура! — вырвалось у Митрохина, несколько голосов тут же подхватили было, но поддержали не все, получилось недружно, жидковато.

— А теперь, — обратился к строю оратор, — у кого какие жалобы? Не стесняйтесь и не бойтесь, главком Муравьев никого не обидит и в обиду не даст. Я желаю знать правду, знать все абсолютно… Ну, что жо вы? Неужели нет никаких жалоб? Быть такою не может… Смелее, братцы! Ну?!

И Митрохин не удержался. Почувствовав, как против воли краснеет лицо, хотел было утерпеть, да не успел, и голос его прозвучал в возникшей тишине — но слитком громко, но достаточно четко.

— Обувки-то нету… — Спохватившись, добавил: —…товарищ главком.

Тот, со своего автомобиля, незамедлительно ухватил цепким взором остолбеневшего от собственной выходки солдата из первой шеренги. Ухватил, вперился и долго не отпускал. Митрохин с ужасом глядел в загоревшиеся недобрым огнем глаза грозного главкома, думая почему-то, что не миновать теперь расстрела за распространение паники, что Фомичев в такой ситуации ничего подобного себе не позволил бы, проявил бы выдержку.

Но Муравьев, поиграв с несчастным в гляделки, вдруг закопошился, завозился там, за бортом автомобиля, затем внезапным движением поднял перед собой пару хромовых офицерских сапог и прокричал:

— Обувки нет? Знаю! Ты прав, герой революция! Так возьми же мои сапоги, не побрезгуй! А твой командующий и в лаптях до победы дошагает…

— Ур-р-ра-а-а!!! — теперь уже дружно, всем строем. Митрохин ощутил, как прихлынули к глазам слезы, и в крике пытался совладать с собою. Одного желал сейчас: чтобы какая-нибудь сволочь покусилась на жизнь главкома, а он, Митрохин, прикрыл бы его своею грудью Или — чтобы главком сейчас, перед строем, приказал пойти на верную погибель за дело революции.

Но никто на командующего не покусился, никакого такого страшного приказа перед строем не последовало, а подошел к Митрохину тот нарядный, в красной черкеске, и — усмехаясь снисходительно — поставил прямо перед солдатом пару отличных сапог, с ноги самого главкома Муравьева.

В автомобиле зааплодировали, в строю снова всколыхнулось «ура!». А Митрохин растерялся и не знал, как быть…

Он плохо помнил, как уехал главком, как прозвучала команда «разойдись!». Теперь его окружили товарищи, поздравляли, шутили, хлопали по плечу.

— Ай да Митрохин!

А ему было не по себе. Как же так? Он, один из всех, простой рядовой Красной Армии, будет щеголять в хромовых сапожках… А другие? Такие же, как он, ничем не хуже его и даже более достойные — они-то как? По-прежнему в лаптях да опорках? А он — в хромовых? Неловко!

— Ну, чего приуныл? — тормошили его. — Радоваться надо, а гы…

— Дай, товарищ, поносить на вечерок, а? — то ли в шутку, то ли всерьез попросил один. — Только покажусь перед Дуняшей, к утру возверну в целости-сохранности.

— Да бери насовсем, — ожил Митрохин. — Бери, не жалко!

— Ты что? Это — не дело, это — брось!

— Бери, говорю! Не впору они мне. В подъеме жмут.

— Жмут, говоришь? — вмешался здоровенный боец, этакий Илья Муромец. — Давай их мне, Митрохин, моя лапа поболе твоей. На мне разносятся, после тебе впору будут.

Вокруг захохотали, понимая, что сапожки эти главкомовские на ножищу шутника-богатыря вообще никак не полезут.

— Нет уж, братцы! Возьмите их от меня, Христа ради. Кто желает, тот и носи на здоровье.

— Ну, Митрохин, не знали мы тебя…

— Ай да Митрохин!

4. КОМАНДАРМ-1

«Предъявитель сего военный комиссар… Тухачевский командирован в распоряжение главкома Восточного фронта Муравьева для исполнения работ исключительной важности по организации и формированию Красной Армии в высшие войсковые соединения и командования ими…» — с таким мандатом прибыл он в июне к новому месту своего назначения.

За плечами остались навсегда невозвратимое детство в скромном имении своего отца-дворянина, Александровское военное училище, оконченное как раз к началу войны, бои в составе лейб-гвардии Семеновского полка, где он служил в чине поручика, отчаянный побег из германского плена, решительный переход на сторону революции и работа в Военном отделе ВЦИКа, а затем должность военного комиссара обороны Московского района. За плечами были неполных три месяца пребывания в рядах партии большевиков и всего двадцать пять лет жизни на этом свете, таком ошеломляюще прекрасном и омраченном столькими злодеяниями…

Главком Муравьев, похоже, надеялся на нового командующего 1-й армией, как на бывшего офицера, и в то же нремя не доверял ему, как нынешнему большевику. И потому, вероятно, попытался поставить над ним опекуна из левых эсеров — командующего Симбирской группой войск Иванова. Ну, это все не так уж трудно понять, поскольку главком сам из левых эсеров. Впечатление он, надо сказать, произвел двойственное: вроде не трус, энтузиазма и энергии хоть отбавляй, но… нет ощущения надежности, что-то настораживает. Торопиться с выводами, конечно, не следует. Повоюем вместе — видно будет.

Обиднее то, что и с другого фланга не легче. Свой же товарищ по партии, комиссар 1-й армии Калнин, тоже не проявил доверия к новому командарму. Точнее — проявил недоверие. Судя по всему — как к бывшему царскому офицеру, а партийный стаж — мизерный, не перекрывает. Пришлось сразу же выяснять отношения.

— Оскар Юрьевич! — заявил комиссару Тухачевский. — Нам с вами вместе работать, вместе сражаться. Давайте договоримся. Внесем ясность, где кончается комиссарский партийный контроль и начинается вмешательство в прерогативы командующего.

Калнин упирался. Тухачевский знал, как много сделал этот упорный комиссар для усиления большевистского влияния в 1-й армии, как велика его заслуга и в устранении оказавшегося несостоятельным бывшего командарма Харченко. Ссориться с

таким комиссаром не хотелось, пришлось терпеливо разъяснять:

— Да поймите же, Оскар Юрьевич, я ведь не просто военспец, которому партия вправе не доверять и которого обязана строго контролировать. Я ведь большевик. И мы с вами должны не тратить силы на усобицы, но сообща действовать, сообща наводить в армии порядок. Который, сами знаете, пока оставляет желать лучшего. А чтобы успешно действовать сообща, надо четко разграничить функции.

Да, порядок в 1-й армии был, мягко говоря, в зачаточном состоянии. Формировалась эта армия из самых; разномастных боевых групп и отрядов, присланных от многих населенных пунктов и организаций. Спаянные в уже начавшихся стычках, эти боевые единицы — каждую со своими традициями и своими капризами — еще предстояло свести в регулярные полки, беспрекословно подчиняющиеся штабу армии. Предстояло в кратчайшие сроки побороть узкоместнический гонор командиров, у партийные амбиции левых эсеров и анархистов. Короче говоря, наладить воинскую дисциплину, без которой не может быть и речи о серьезных боевых успехах. Ведь числились в составе 1-й армии даже такие неуправляемые части, которых следовало опасаться не меньше, чем противника. Особенно — бронепоезда и бронеотряды. Что стоил, например, один лишь бронедивизион левого эсера Беретти…

Вот такое, с позволения сказать, наследство оставил Тухачевскому бывший командарм Харченко. Но сваливать все грехи и беды на предшественника — нет ничего проще. Покажи на деле, что сам ты не таков, исправь его ошибки и промахи, сумой то, чего не сумел он, — и тогда без лишних разъяснений каждый сам увидит, сам убедится, что предшественник был плох, а ты оказался лучше, что предшественник был не прав, а ты оказался прав и, следовательно, имеешь основания критиковать и упрекать его.

5. В МОСКВЕ

Поперек белокаменных колонн Большого театра натянуто широкое красное полотнище с надписью:

«5-й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, КРАС-АРМ. И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ».

Прибывшие в Москву депутаты — кто в военной фуражке, кто в матросской бескозырке, а кто и в цивильной шляпе — поднявшись по ступеням, выстроились друг за другом под полотнищем, приготовили мандаты и продвигаются без суеты ко входу. Летнее солнышко пригревает, ветерок взбадривает, настроение у депутатов деловито-приподнятое, хотя трудностей и забот у каждого и у всех вместе не поубавилось.

У магазинов теперь плотные очереди — за продуктами, за хлебом. Среди множества женских платков и косынок — иногда фуражки и кепки. Стоят все тесно, чем ближе к дверям — тем теснее. А на дверях висят неутешительные объявления, люди читают их и видят свое унылое отражение в чудом сохранившихся стеклах опустевших витрин. Не видят ни продуктов, ни конца своим мытарствам. Иные, притомившись, уселись тут же на обочину тротуара, судачат негромко. Иные ворчат. Некоторые даже ропщут. До чего, мол, новая власть довела — ни себе, ни людям. Ну да, с апломбом уточняют другие, себя-то небось никакая власть не забудет!

— Лучшие земли немцу отдали, хлеб малороссийский теперь не к русскому столу уходит.

— Зато замирились!

— А народу — терпеть…

Народ терпит. Обыватель брюзжит. Знает ли он, обыватель, что кто-то голодает не меньше, но впридачу и ночами не спит, все сушит мозги, все думает, как бы его, брюзгу-обывателя, уберечь — от того же немца и от той же голодухи? Но что за дело обывателю до кого бы то ни было другого! Была бы своя шкура цела да свое брюхо сыто, а там хоть трава не расти. Уж такова обывательская натура — во все времена, при любых обстоятельствах.

Но та новая, доселе небывалая власть, которая не обжиралась при всеобщем недоедании, которая не дрыхла беспечно перед лицом всеобщей беды, — та власть понимала: как ни тяжел, как ни унизителен с таким неимоверным трудом достигнутый Брестский мир, но все же — мир, все же передышка, и есть возможность преодолеть трудности, решить проблемы, поубавить забот. Есть минимум условий и максимум веры в свои силы, в

правоту своего дела. Есть надежда, что послезавтра станет легче, чем было позавчера. Только бы ничто не помешало…

Но История щедра на помехи. И потому к ним всегда — даже в самые солнечные дни — надо быть готовыми.

Еще накануне съезда под сценой Большого театра обнаружили взрывное устройство. Предусмотрительный Свердлов тотчас усилил караулы, расставил на ключевых постах латышских стрелков — надежнейшую гвардию революции.

Едва лишь V съезд Советов начал свою работу, лево-эсеровская фракция потребовала расторжения Брестского договора и выразила недоверие Совнаркому. Пришлось ставить вопрос на голосование. И хотя в зале заседаний насчитывалось три с половиной сотни левых эсеров, внесенная ими резолюция о недоверии была большинством голосов отвергнута. Но тем дело не кончилось.

На другой день агенты левых эсеров Блюмкин и Андреев, предъявив поддельный мандат ВЧК, вошли в здание германского посольства и заявили его сотрудникам, будто ведется расследование по делу некоего офицера Мнрбаха, а у посла такая же фамилия… Вслед за тем германский посол граф Мирбах был убит. Сделав свое нечистое дело, убийцы поспешили укрыться в штабе отряда ВЧК, которым командовал левый эсер Попов. Более шестисот бойцов было в этом отряде, составившем ядро явно начинавшегося мятежа. Там, в Трехсвятительском переулке, в бывшем особняке Морозова, уже собрались лидеры левых эсеров — Спиридонова, Саблин, Камков, Карелин, Прошьян, Александрович… Да-да, тот самый Александрович, заместитель председателя ВЧК, который не столь давно вызволял из-под ареста Муравьева.

— Революция в опасности! — витийствовала Спиридонова. — Большевики танцуют под дудку немецких империалистов. У нас не было иного выхода…

— Волею партии левых эсеров, — торжественно объявил Карелин, — русский народ избавлен от Мирбаха!

Карелину вторил Камков…

А в Берлине уже узнали о случившемся. Доктор Рицлер, старейший сотрудник германского посольства, сообщил из Москвы по телеграфу своим властям: «…покушение готовилось заранее. Дело об австрийском офицере Роберте Мирбахе было только предлогом для работников ВЧК проникнуть к послу кайзера».

Дзержинский, получив тревожный сигнал от Ленина и успев побывать в посольстве, тотчас прибыл в отряд Попова и решительно потребовал немедленной выдачи убийц Мирбаха. Но

мятежники решились арестовать самого Дзержинского, а вслед за ним — еще двадцать девять большевиков, в том числе назначенного временно исполняющим обязанности председателя ВЧК Мартына Лациса и председателя Моссовета Смидовича.

После захвата мятежниками телеграфа Прошьян поспешил оповестить страну о том, что большевики в столице якобы свергнуты, что власть отныне — в руках левых эсеров. Из захваченной мятежниками типографии стаями вылетали листовки, призывающие к «революционной войне» с Германией.

То и дело заглядывая в комнату, где содержались арестованные большевики, Попов не без злорадства сообщал им, будто по призыву левых эсеров из Воронежа прибыли две тысячи донских казаков, а от Волги движутся на Москву войска Восточною фронта во главе с самим Муравьевым.

6. СОВПАДЕНИЕ

Они пошли друг другу навстречу. Один — от стола, на котором в этот поздний час горела лампа. Другой — от дверей. И, сойдясь посреди кабинета, крепко пожали друг другу руки. Оба молодые, почти ровесники, одного роста, широкоплечие и подтянутые. Оба безусые. И оба, как выяснилось позднее, любители поиграть на скрипке в редкие минуты досуга. Впрочем, об этом совпадении они пока еще не догадывались, и досуг им только снился…

Иосифу Михайловичу поправилось красивое лицо Тухачевского. Написать маслом такое лицо — превосходный портрет получился бы. Однако новый командарм-1 явился к нему не позировать, а встать на партийный учет. Потому что в Инзе, где ныне расположен штаб 1-й армии, своего парткома пока нет.

Они заговорили о последних вестях из Москвы.

— Беспримерная авантюра! — Иосиф Михайлович старался высказываться по возможности спокойно. — Мало того, что в самой Москве могли погибнуть сотни и даже тысячи красноармейцев. Как введенных в заблуждение эсеровской демагогией, так и оставшихся верными Совнаркому. Мало того! Но ведь провокация эта… иначе как провокацией не назовешь… великолепнейший предлог для кайзера. И наступление немцев по всему фронту…

— Вполне реальная опасность, — согласился Тухачевский. — При том, что Красная Армия еще в стадии формирования. И формируется она, можно сказать, в процессе непрерывных боев. Она пока не настолько еще окрепла, чтобы воевать на два фронта.

— Вот-вот, я не военный, но думал буквально о том же. И скажу вам откровенно, как коммунист коммунисту. Если бы там, в Москве, мятеж удался… Не поручусь, что здешние Ивановы и Беретти не поставили бы нас с вами к стенке… Представляете, что началось бы здесь, на Восточном фронте?

— Представляю, — волевой рот командарма изогнулся в невеселой усмешке. — Вся моя армия оказалась бы в руках левых эсеров безраздельно и, вместо того чтобы отвести от республики удар с востока, повернула бы штыки на запад, в спину Москве и Петрограду. А с запада ударили бы австро-германские корпуса… Если по вине этих негодяев начнется новая война с Германией… А Муравьев… когда необходимо время на подготовку — торопит, но когда нельзя медлить — в ус не дует. Очень странно!

— Кстати, как у вас складываются отношения с главкомом?

— Сложно, товарищ Варейкис. Мягко говоря, сложно.

— Так я и предполагал. — Иосиф Михайлович почему-то с первой же встречи поверил бывшему гвардейскому офицеру и нынешнему красному командарму, почуял в нем искреннего единомышленника и надежного соратника. — Я ведь, знаете, еще в Харькове имел удовольствие общаться с Муравьевым. А теперь в Симбирске свиделись, он сюда наведывался недавно. Странный, надо сказать, был визит. С большевиками не пожелал иметь никаких дел, общался только со своими, с левыми эсерами. Их тут немало… Правда, надо отдать ему должное, одно доброе дело сделал. Квартировал здесь отряд матросов-анархистов, человек сто, пришедших на Волгу с Муравьевым. До того разложились и распоясались, что никакого сладу не было. И пришлось нам всю гоп-команду разоружить. Я опасался, что главком возьмет свою шантрапу под защиту, готовился к принципиальному разговору. Но он, узнав о происшедшем, тут же приказал отряд расформировать и всю сотню засадил за решетку. Такой, понимаете, неожиданный реверанс большевикам…

— Непопятно, — произнес Тухачевский задумчиво. — Очень непонятная непоследовательность. Или хитрый маневр с дальним прицелом?

— По-моему, просто авантюризмом попахивает, — рубанул Иосиф Михайлович. — Присмотритесь к своему главкому, товарищ Тухачевский. Вы к нему ближе, вам может оказаться виднее.

— Уже присматриваюсь, — сказал командарм. — Даже если он, как и мы, желает победы над общим неприятелем, то способы достижения этой победы…

В этот момент в кабинет кто-то вошел, и Тухачевский не договорил.

— Вот, познакомьтесь. — Иосиф Михайлович представил вошедшего. — Товарищ Чистов, из политотдела Симбирской группы войск. Также ведет наше партийное хозяйство в комитете. Большевиков здесь пока не так уж густо, приходится некоторым и за двоих работать.

— Кому и за троих, — улыбнулся Чистов, явно намекая на самого председателя.

— Ладно уж… А теперь разрешите представить товарища Тухачевского. Это наш новый командарм-1. У них в Инзе, как вы знаете, нет парткома, хочет встать на учет у нас.

— Что ж, это можно, — деловито отозвался Чистов.

— И далее нужно! — шутливо добавил Иосиф Михайлович, после чего уже серьезным тоном обратился к Тухачевскому: — Коль скоро вы к нам пожаловали, хочу поделиться еще одним соображением. Дело в том, что в Симбирске у нас несколько

тысяч офицеров. В Красную Армию пошли немногие, считанные единицы. Большинство выжидает и не выступает против нас. Две недели назад была раскрыта подпольная белогвардейская организация… Офицеров там оказалось сравнительно немного. Купеческих сынков гораздо больше.

— Так я и думал, товарищ Варейкис! Я ведь сам… я ведь знаю настроения офицерства. У русской армии есть не только боевые традиции. Видите ли, российский воин на протяжении веков был в известном смысле витязем на политическом распутье. Взять, к примеру, хотя бы полк, в котором я служил, его историю. Еще в восемьсот двадцатом, когда русские войска уже вернулись из Парижа, но декабристы еще не вышли на Сенатскую площадь, гвардейцы-семеновцы взбунтовались против того, что призваны были охранять, — против отечественных порядков. А на исходе девятьсот пятого, если помните, семеновцы во главе с полковником Мином прибыли из Петербурга в Москву и всадили вороненый штык в живое сердце первой русской революции. Однако наступит октябрь семнадцатого, большевики созовут в Смольном гарнизонное совещание, и представители Семеновскогр полка решительно заявят, что по первому же призыву готовы выступить на стороне социалистической революции.

— Во всяком случае, поручик Тухачевский на распутье не топчется, а?

— Мое распутье решительно позади, товарищ Варейкис. Я на нем не топтался. Но у других… Да, в офицерский среде есть отъявленные враги нашей власти, таких переубеждать бессмысленно. Но, поверьте, не так уж мало офицеров, настроенных к Советской власти лояльно, искренне преданных своему народу, своему отечеству Они хотят идти с народом, а не против него. Надо только…

— Надо помочь им сделать первый шаг, верно? Вот об этом я и думал последнее время, об этом и хотел поговорить с вами.

— А что? — командарм не скрывал охватившего его возбуждения, он доверительно взял председателя губкома за локоть. — Право, отличная идея! Мне ведь в штабе армии и в частях позарез нужны дельные, опытные командиры. Взамен левоэсеровских горлодеров.

— Вот видите. А командующий Симбирской группой Клим Иванов утверждает, что ему офицерские кадры ни к чему. Дескать, штаб его и губвоенкомат военспецами укомплектованы.

— Еще бы! Одними левыми эсерами, как и сам Иванов. Можете рассчитывать на мою поддержку, товарищ Варейкис.

— А вы на мою.

— Спасибо. Тогда остается только сочинить приказ…

— Совместный?

— Именно! Отчего бы не совместный? И хорошо бы прямо сейчас, пока я здесь.

— Что ж, — Иосиф Михайлович улыбнулся, — не станем откладывать в долгий ящик. Давайте сочинять.

Они подошли к столу, склонились над чистым листам бумаги и, переглядываясь, деловито зашептались. Они еще не предполагали, что с этого дня начнется их многолетняя мужская дружба…

Сын кочегара, бывший токарь Варейкис и потомственный дворянин, бывший лейб-гвардии поручик Тухачевский понимали друг друга с полуслова — совпадение взглядов не столь частое, но зато сколь счастливое!

7. «В ПЕРВОБЫТНОМ СОСТОЯНИИ»

Мирон Яковлевич бесцельно бродил по Венцу. Этот прибрежный парк Симбирска порой чем-то напоминал ему парки родного Киева. Высота, деревья над головой, река далеко внизу, а за рекою — плавни левобережья.

Что связывает его теперь с Киевом, кроме неугомонной памяти и непроходящей тоски? Конечно же Неля и ее близкие. Они почти не говорят меж собою о Киеве. Но надо ли говорить, когда каждому известно, что чувствует другой?

Позади путь, о котором и вспоминать-то страшно. Даже ему, ничего не страшащемуся. Порой просто не верится, что все это было, могло быть и теперь — позади. Прежде казалось, что нет ничего ужасней войны, фронта. Теперь убедился, что нет пределов ужасу. Там, на позициях, он рисковал лишь собственной жизнью и ощущал ответственность за жизни солдат, которые и сами умели постоять за себя. Но все, что довелось испытать по дороге в Симбирск…

Из вагона в вагон, из одною состава в другой, бегом, все бегом, через пути, по шпалам, среди обгоняющей обезумевшей толпы, безжалостной в своем безумии… И в здоровой руке — единственный на всех четверых чемодан, в котором взято с собой лишь самое необходимое. Бессменная рука слабеет, ноет, вот-вот выронит чемодан, но нельзя, нельзя его выронить, нельзя хоть на миг поставить и хоть сколько-нибудь передохнуть: сомнут и затопчут. Но что чемодан! Стараясь не отставать и даже поддерживать его, бежит рядом Неля, такая хрупкая и беззащитная… от одной мысли, что может она споткнуться, упасть и оторваться от него, затеряться и он ничего не сможет сделать… от одной такой мысли ослепнуть можно, как слепнут лошади от безысходного ужаса и нестерпимого страдания… А следом за ним и Нелей, задыхаясь и упрямо волоча бессчетные сумочки да котомочки, цепляясь то друг за друга, то за его ремень, поспешают из последних сил старики Юдановы… Господи, как же все это обошлось?

Где-то между Тамбовом и Пензой в битком набитый вагон вломились какие-то, не красные, не белые, — серо-буро-малиновые, пристали к Неле. Мирон Яковлевич не помнил, что с ним сделалось тогда. Смутно припоминались теснота, полутемень и как ткнул стволом нагана в чьи-то оскаленные зубы (он сберег свой наган, но не осталось ни одного патрона). А старики Юдановы кричали страшно, потеряв достоинство, и цеплялись за левую его руку, на которую была вся надежда. И

неведомо, чем бы все это копчилось, если бы не объявился некто в офицерском кителе и солдатской папахе, как deus ex machina,[6] да не пальнул в потолок вагона и не заорал:

— На кого руку подняли, растакие и разэтакие?! На увечного русского героя, растуды вашу растак и разэтак?! Всех перестреляю к растакой-то матери!!

Такого лихого, такого изысканно-изобретательного мата Мирон Яковлевич даже на фронте не слыхивал.

И сразу свободнее стало в вагоне: серо-буро-малиновых как сквозняком вымело. И нежданный спаситель тоже исчез, даже поблагодарить не успели. Может, атаман ихний, оттого и послушались? А может… впрочем, что теперь гадать! Только нагана своего после той потасовки Мирон Яковлевич так и не нашел.

Добравшись все же чудом до Симбирска, довольно скоро и легко разыскали Асю с ее мужем, который служил юрисконсультом при каком-то сомнительном учреждении. В двух тесных верхних компатушках двухэтажного деревянного домика на тихой улочке теперь кое-как разместились вшестером.

Ася работала в почтовой конторе, туда же пристроили и Нелю. Работа была бумажная, однообразная, изнурительная. Сестры возвращались к вечеру, как выжатые, и зачем-то еще ссорились меж собою по совершенно непопятным причинам, ежевечерне. От Асиного крика и Нелиных всхлипываний Мирон Яковлевич готов был бежать куда глаза глядят. А куда? И как оставить их всех? Впрочем, много ли от него теперь проку?

Если в дороге он сумел все же быть им хоть какой-то опорой, то здесь… Лишний рот в бедноте и лишний жилец в тесноте, не более того!

Неля видела, как он мается, пыталась иногда отвлечь от гнетущих дум, утешить. Водила пальчиком по переносью мужа, упрашивала:

— Ну, расправь морщинки! Ну, перестань же хмуриться! Все хорошо, могло быть хуже.

— Хуже некуда, — откликался он с мрачной безысходностью.

— Сам не ведаешь, что говоришь, — она была с ним ласково-терпелива, как с больным ребенком. Увещевала: — Самое трудное позади. Мы добрались. Мы с тобой вместе. И всегда теперь будем вместе. Ведь хорошо ото? Согласись, что хорошо. Ну, не молчи! Ну, пожалуйста!

Когда она произносила это свое «ну, пожалуйста!» — его твердости приходил конец. Он заставлял себя соглашаться с тем, с чем не мог согласиться. Он жалел и утешал ее. И целовал заплаканные синие глаза, прекраснее и дороже которых не было

ничего на свете. Любил ее безмерно. Но все же знал, что долго жить вот так… нет, не сможет. Заставлял себя отвечать улыбкой на ее улыбку. А в глубине души просвета не было.

Теперь, похоже, сам не знал, к чему стремится. На фронт, как прежде? На западе фрона не было, с немцами — мир, Брестский мир, вынужденный, унизительный. Не затихало на Украине. Но он предательски покинул Украину…

И посоветоваться не с кем. Асин муж, неглупый человек, но себе на уме, делец какой-то, на откровенный разговор с таким не тянет. Илья Львович — толковать с ним сейчас все равно что с младенцем. Женщины… Что понимают они в политике? Даже Елена Казимировна, при всем мужском складе своего гордого ума, при всем своем якобы королевском происхождении…

Бродя бесцельно по городу, он встречал порой таких же бывших офицеров, их здесь немало прибилось. Затевали разговоры, случайные, нервозные и бестолковые, каждый гнул свое и не слушал другого. Многие спивались, иные пристраивались все же — на самые немыслимые должности.

Мирон Яковлевич познакомился с извозчиком, который оказался бывшим штабс-ротмистром и теперь считал, что устроен не так уж дурно, ибо — при лошадях, которых знал и любил. Одна беда: извозчиков в Симбирске оказалось больше, чем желающих прокатиться, а ведь надо прокормить не только себя, но и свою кормилицу-клячу. Этот штабс-ротмистр, незамысловатая и добрая душа, предложил, не задумываясь, и Черкасскому пристроиться туда же.

— Благодарю сердечно, — ответил растроганный Мирон Яковлевич и попытался отговориться поделикатнее. — Но вы сами ведь сказали, как велика конкуренция. К тому же я из инфантерии. Ездить верхом доводилось немного… и разобрать поводья не сумею, пальцы-то на правой не действуют.

Добряк штабс-ротмистр огорчился, вздыхал сочувственно и даже попытался было вяло возражать, но каких-либо веских соображений против приведенных доводов так и не придумал.

Вот и мыкался неприкаянный прапорщик Мирон Яковлевич Черкасский, не ведая пока, что о подобных ему горемыках уже задумался председатель Симбирского комитета Варейкис и совместно с командармом-1 Тухачевским готовит приказ, который окажет влияние на дальнейшую судьбу многих обитающих в Симбирске бывших офицеров…

Но приказ он увидит и прочитает завтра. А сегодня Мирон Яковлевич все еще слоняется по Венцу. Небывалая, непривычная пустота звенит в его душе, как звенит иногда тишина над раскаленной летней степью.

Пусто и в карманах. Лишь в одном, в правом, кармане гимнастерки (из правого легче доставать левой рукой) лежал выданный ему «отпускной билет» — документ, гласивший, что «в связи с ранением и ввиду подписная мирного договора… бывший прапорщик Черкасский Мирон Яковлевич увольняется из действующей армии в отпуск до востребования и обращается в первобытное состояние».

8. ЧЛЕН РЕВВОЕНСОВЕТА

Видно, такая уж его доля — недосыпать. Благонравов растер пальцами скулы, немного взбодрился. Он вспомнил бессонную ночь в Петропавловке, где в дни Октября был комиссаром, вспомнил юнкерский мятеж, антраша полковника Полковникова… Года не прошло, и вот еще один мятеж — в Москве. И не окажется ли в конечном счете бывший подполковник Муравьев сродни недоброй памяти полковнику Полковникову? Дело, конечно, не в том, что «бывший». Благонравов и сам из прапорщиков…

А отношения его с главкомом Муравьевым непростые. Да и возможны ли простые отношения при взаимном недоверии? Главком понимает, что комиссар Благонравов, как и остальные члены Реввоенсовета Восточного фронта, приставлен к его особе отнюдь не по причине особого доверия. И главком платит тем же: навязал комиссару в заместители Колегаева, председателя Казанского губисполкома, тоже левого эсера, явно своего человека. Но как развяжется этот узел взаимоотношений теперь, после событий в Москве?

О мятеже они узнали на рассвете. По прямому проводу было передано указание Ленина установить за главкомом тройной контроль, всем членам Реввоенсовета попеременно дежурить при нем, ни на миг не оставляя. «…Можете ли вы гарантировать, — запрашивали из Москвы, — что Муравьев не пойдет на эту глупую авантюру?..»

Старик немедля созвал Реввоенсовет. Вызвали главкома, сообщили ему о московских событиях — тот изобразил на невыспавшемся лице удивление, даже возмущение, но явно переиграл: похоже, был уже в курсе, по каким-то своим каналам связи, ведь всю ночь провел в штабе фронта.

Старик, как председатель РВС, в присущей ему манере сразу взял быка за рога:

— Михаил Артемьевич! Как вы относитесь к мятежникам?

— Я… — Муравьев шумно втянул раздувшимися ноздрями воздух и выпалил: — Я возмущен! Я решительно порываю со своей партией, навсегда! Раз партия социалистов-революционеров идет против Советской власти, то мне ничего не остается, как выйти из рядов такой партии.

Очень быстро ответил, очень решительно и категорично. Благонравову показалось, что даже чересчур решительно, чересчур быстро и категорично. Пожалуй, вопрос Старика не застал главкома врасплох, ответ был сочинен и отрепетирован

загодя.

Мехоношин тотчас сообщил Ленину о заявлении главкома.

Вскоре из Москвы пришло известие о ликвидации мятежа. Как быстро управились, молодцы! Благонравову опять невольно припомнились прошлогодиие петроградские события, в которых и ему пришлось участвовать. События столь недавние, но теперь кажущиеся такими далекими…

Ленин ответил Мехоношину по прямому проводу:

«Я не сомневаюсь, что безумно-истеричная и провокационная авантюра с убийством Мирбаха и мятежом центрального комитета левых эсеров против Советской власти оттолкнет от них не только большинство их рабочих и крестьян, но и многих интеллигентов. Весь мятеж ликвидирован в один день полностью. Арестованных много сотен человек.

Запротоколируйте заявление Муравьева о его выходе из партии левых эсеров, продолжайте бдительный контроль. Я уверен, что при соблюдении этих условий нам вполне удастся использовать его превосходные боевые качества…»

А что же левые эсеры в Казани? Их местный комитет не одобрил деятельности своего ЦК. Но и не осудил. Однако немало членов левоэсеровской партии искренне возмутились и заявили о выходе из ее рядов.

Однако в отряде эсеров-максималистов, одной из любимейших частей главкома, началась подозрительная суета. Отряд зачем-то сосредоточился у вокзала и начал продвижение к Проломной улице, более того — выкатил пушки и пулеметы, направив их на город. Зачем-то началась раздача оружия в Казанском кремле, Кому его раздают, кто распорядился? И для чего, спрашивается, вышел со станции Обсерватория и приближается к Казани бронепоезд, которым командует левый эсер? Все это было более чем странно. И пришлось на всякий случаи привести в боевую готовность надежные части — бронедивизион, рабочие отряды.

В такой ситуации лучше всего было бы удалить главкома из города. Скажем, под предлогом необходимости его присутствия на позициях. И — чуть что не так — незамедлительно сместить и арестовать, уже за пределами Казани. Так и порешили. И снова пригласили его на заседание Реввоенсовета.

По настороженным глазам быстро вошедшего Муравьева не так уж трудно было догадаться, что он не на шутку встревожен этим вторичным вызовом. Чует кошка, чье мясо съела? Главное, не спугнуть.

— Михаил Артемьевич! Мы снова потревожили вас, собственно, вот по какому вопросу…

Как натянут главком, вот-вот сорвется!

— …Речь идет о желательности вашей поездки та позиции с целью инспекции и принятия необходимых мер. Положение на фронте, сами знаете…

Благонравов увидел, как при этих словах отлегло у главкома, как он расслабился и на зардевшемся лице появилось выражение спокойно-деловитого внимания… И таким стал трогательно-покладистым:

— Что? Бронепоезд? Немедленно вернется на станцию Обсерватория, нечего ему делать в Казани!.. Что? Максималисты? Сюда движутся? Что за безобразие! Прикажу им сейчас же повернуть оглобли… На фронтовые позиции я, конечно, выеду не мешкая, сам намеревался. Так что, дорогие товарищи, мои намерения и ваши пожелания, как видите, совпадают…

Давно бы так, всегда бы так!

Пока Благонравов вспоминал и снова осмысливал все это, ночь приблизилась к своему исходу. Сегодня утром главком должен отбыть на позиции. Благонравов подавляет зевок, снова трет скулы. Сколько бессонных почей требует революция! А сколько их может выдержать человеческий организм?

И вдруг шальная мысль в усталой голове: а здесь ли Муравьев, в штабе ли? Или…

Сонливости как не бывало. Надвинув на лоб фуражку и подтянув ремень с кобурой, Благонравов быстро выходит в коридор. И сразу же чует неладное.

Так и есть: Муравьев покинул здание штаба. Зачем? Давно ли? Куда направился?

Кто-то доложил, что автомобиль главкома поехал как будто в сторону пристани. И Благонравов, всем нутром предчувствуя беду, помчался на пристань. Успеть бы…

Поздно! Не успел…

Догнать? Черт, ни одного исправного суденышка! Скорей доложить Старику…

Кобозев со своей семьей занимал вагон на станции Казань-Пассажирская. Опытный путеец, он знал, что в отцепленном вагоне очень даже можно жить и работать. Сегодня он позволил себе недолгий отдых после напряженнейших дней и ночей. При главкоме остался дежурить Благонравов — товарищ бывалый и надежный. Луг-ром главком отправится на позиции. Уже недолго ждать, светает… Но кто это так рано и так спешно взлетает по ступенькам вагона, рвет ручку двери? Что там еще? Благонравов?!

— Так и есть, Благонравов! Что с тобой, Георгий Иванович? Что стряслось?

— Петр Алексеевич! Муравьев сбежал!

— Что-о?!

— На пароходе. Всех наших политработников арестовал, загнал в трюм, увез с собой.

— Куда?

— Вниз по течению. Должно быть, в Симбирск…

9. ВЫЗОВ

Рапорт главкому был составлен. Тухачевский подумал, что получился не просто очередной военный рапорт, а нечто выходящее, так сказать, за рамки. Что ж, пусть выходящее за рамки! В конце копцов пора ставить точки над «и». Он еще раз проверил свой текст:

«Сызрань оставлена. Хотел еще вчера начать наступление всеми силами, но броневому дивизиону было Вами запрещено двигаться, а потому наше наступление на Усолье и Ставрополь велось жидкими пехотными частями. Совершенно невозможно так стеснять мою самостоятельность, как это делаете Вы. Мне лучше видно на месте, как надо дело делать. Давайте мне задачи, и они будут исполнены, но не давайте рецептов — это невыносимо. Неужели всемирная военная история еще недостаточно это доказала?! Вы же командуете за меня и даже за моих начальников дивизий… Я думаю, что нам необходимо свидеться…»

Решил ничего в тексте не менять.

Да, свидеться было необходимо. И Тухачевский надеялся, что, получив подобное послание, Муравьев незамедлительно вызовет его для объяснений. И тогда уж…

Однако главком вызвал его еще прежде. И не в Казань, а в Симбирск, куда прибыл сегодня, десятого июля. Надо полагать, для непосредственного руководства войсками. Тем более необходимо было договориться наконец о прерогативах каждого. Если главком, еще сидя в Казани, то и дело посягал на самостоятельность своего командарма, то чего же ожидать теперь, когда он будет совсем рядом? Нет, откладывать выяснение отношений далее нельзя. И то, что Муравьев сам его вызвал, даже к лучшему: теперь главком не посмеет упрекнуть своего командарма в каком бы то ни было нарушении дисциплины, оставлении войск в неподходящий момент и тому подобное. Разговор предстоит не из приятных, а в неприятной полемике такой человек, как Муравьев, наверняка будет выискивать, к чему бы прицепиться, придраться. Здесь, как в боевых действиях, каждый будет искать у противника ахиллесову пяту. Каждый будет стараться предугадать ответный шаг и продумывать по возможности побольше вероятных ходов наперед. Иптересно, умеет ли главком играть в шахматы?

Уж лучше бы в данном случае шахматная игра, чем… Воевать надо с противником. А когда — перед лицом общего неприятеля — затевается драка между своими же командирами, между начальником и подчиненным, тогда поражение неминуемо и не

спасет никакой солдатский героизм, никакой энтузиазм…

Ладно! Текст он возьмет с собой, а там — по обстоятельствам: либо вручит, либо изложит устно, либо и то и другое. Пора собираться в путь!

Прибыв в Симбирск, Тухачевский прямо со станция отправился на пристань. Вечерело, но жара не ослабевала, и он подумал, что правильно сделал, оставшись в легкой гимнастерке. На улицах его внимание было привлечено необычным оживлением, около пристани — еще суматошнее. Какие-то отряды, множество матросов — надо полагать, прибывших вместе с главкомом. Ничего сверхъестественного в этом не было, но ощущалось нечто лихорадочное, настораживающее.

Главком принял его в своей каюте на верхней палубе быстроходного судна «Межень». В каюте было прохладно, на столике стоял небольшой самовар, тут же — сахар, хлеб, аккуратно нарезанные ломти копченой свинины. Стаканы в надраенных подстаканниках, бокалы, бутылка без этикетки…

Еще с порога Тухачевский козырнул, весь подобрался по давней гвардейской привычке, отчеканил:

— Товарищ главком фронта! Командующий 1-й армией Тухачевский по вашему приказанию явился!

— Чувствую военную косточку! — Муравьев поднялся со стула, пошел навстречу, в летнем белом кителе, радушный, приветливый. Пожал руку, пригласил к столу, и обратился к присутствовавшему нарядному адъютанту: — Вот, Нестор, при случае встань между мною и командармом, задумай любое желание, исполнится непремено. Мы ведь с Тухачевским тезки, он тоже Михаил.

Смуглолицый Нестор улыбнулся шутке начальстиа, непринужденным движением откинул рукава алой черкески, взялся за бутылку, ловко и расторопно наполнил бокалы, после чего, поймав ему понятный взгляд главкома, бесшумно покинул каюту.

— По махонькой, а? — предложил Муравьев. — За сегодняшнюю встречу и завтрашнюю победу!

— Благодарю, — сдержанно ответил Тухачевский, не притрагиваясь к бокалу, который явно не соответствовал понятию о «махонькой».

— Ну, как знаете, — не стал настаивать хозяин. — А я уж, с вашего позволения, приму. Для взбодрения. А то всю ночь не спал, работал. Да еще помитинговали в пути. Пришлось кое-что разъяснить нашим ороликам… Эх, легко пошло! Напрасно отказались… Ну, а от чаю-то, надеюсь, не откажетесь?

— От чаю не откажусь.

— И на том спасибо, — хмыкнул Муравьев, собственноручно подставляя стаканы под кран самовара. — Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Правда только в революции. А мы с вами солдаты революции, стало быть, солдаты правды…

Главком болтал благодушно, а Тухачевский, прихлебывая горячий чай (весьма кстати, а то в горле пересохло), все никак не мог решить, вручать ли письменный текст рапорта или высказаться устно. И вообще, для чего этот вызов? Для пустопорожней болтовни за чаепитием? Или главком таким способом налаживает отношения и заодно прощупывает?

— Да, дорогой мой тезка, — продолжал тот, вгрызаясь и бутерброд с ломтем свинины и энергично жуя. — Мы с вами солдаты революции. Мы боремся за одно общее дело, за дело нашего русского народа. Или я не прав? Можете не отвечать, знаю, что прав. Я все знаю! Знаю и то, что иные, в Москве и даже здесь, на Волге, глядят в мою сторону косо. Дескать, бывший подполковник — раз. Левый эсер — два. Такой-сякой немазаный — три. Но из партии левых эсеров я теперь вышел. Потому что не поддерживаю того, что они натворили в Москве. Молодцы большевики, не стали разводить тары-бары, живо усмирили. Это вам комплимент, как большевику. А то, что я был подполковником, а не молотобойцем или грузчиком… Так ведь и вы, насколько мне известно, не из кузнецов. И в прошлом — не фельдфебелишко какой-нибудь, а?

И он подмигнул по-свойски.

— Разрешите доложить… — начал было Тухачевский, воспользовавшись долгожданной паузой и делая попытку встать, но Муравьев решительно нажал на его плечо, почти приказав:

— Сидите. Да сидите же!.. Вот это наше непроизвольное стремление вскочить перед вышестоящим начальством. И ваше «разрешите»… Какой-нибудь шпак: непременно сказал бы: «можно?». А вы — «разрешите»! Не скрою, мне эти ваши манеры импонируют. И я, честно говорю вам, рад, очень рад, что нам пофортунило вместе работать. Уж поверьте…

«Куда он гнет? Неспроста ведь», — настораживался Тухачевский.

— Мы с вами русские офицеры, — не умолкал Муравьев. — И в то же время солдаты революции. Одно другому не должно мешать, не так ли? Ведь мы оба служим народу и отечеству. Так давайте же говорить откровенно. Как офицер с офицером. Как революционер с революционером…

— Давайте откровенно, — торопливо согласился Тухачевский, ухватившись за внезапную возможность, и протянул главкому свой рапорт. — Прошу вас прочитать. Здесь все

откровенно.

Да, так оно вернее, говорить все равно вряд ли удастся. Трудно толковать с человеком, который желает, чтобы все слушали его одного.

Муравьев читал, обиженно усмехаясь. То ли потому, что его поребили, не дали выговориться. То ли потому, что не по нутру пришлось прочитанное. Прочитав, сложил листок, упрятал в наружный карман кителя. Взглянул на Тухачевского задумчиво и грустно. Заговорил негромко, доверительно:

— Благодарю за откровенность, командарм. Благодарю… И отвечу такой же откровенностью. Вот вы тут написали… Полагаете, не знаю я всего этого? Знаю. И про Сызрань знаю. И вас в том не виню, вы сделали все возможное…

— Но бронецивизион?

— Да оставьте! — главком досадливо отмахнулся и чуть повысил голос: — Оставьте! Не в дивизионе причина… Вы вот пишете, что вам виднее на месте. А мне со своей колокольни еще виднее, потому что моя колокольня повыше вашей. И я знаю нечто, чего не знаете вы. И потому вынужден бываю… И вас это раздражает, понимаю, очень даже хорошо понимаю вас. Потому что… Да знаете ли вы, как меня, главкома, опекают и донимают советами? Как вмешиваются, как досаждают, — ежедневно и ежечасно! Вот вам, командарму, один только главком Муравьев палки в колеса ставит, и вы уже ершитесь, уже взбунтовались. А над моей бедовой головушкой сколько опекунов, сколько вставляющих палки в колеса! Так что же мне-то прикажете делать? Ершиться, бунтовать? Порой так и подмывает, поверьте.

Он сам налил себе еще бокал, заглотнул разом, перевел дыхание и вперился шалыми темными глазами в собеседника:

— Вот такие пироги, дорогой мой командарм. Понимаете вы теперь меня так же, как я вас?

— Откровенно говоря, не вполне.

— Не вполне? А что же неясно?

— Неясно многое, товарищ главком. Как будем наступать? Как договоримся о дальнейших отношениях? Я свои суждения высказал. Хотел бы услышать ваши.

— Сейчас услышите. — Муравьев придвинулся вместе со стулом поближе, заговорил почти шепотом, выдыхая в лицо Тухачевского пары только что выпитого. — Сейчас услышите… Я обращаюсь к вам, как русский офицер к русскому офицеру. До-коле? Доколе, спрашиваю я, отечество наше будет расколото, подобно могучему дубу, в который ударила молния? Доколе русские будут убивать русских, вместо того чтобы сообща одолеть немцев? Ну, что вы так смотрите на меня, будто впервые видите?

Знаете ли вы, что, пока мы здесь с вами торгуемся из-за какого-то несчасниого бронедивизиона, что пока мы изощряемся в том, как бы уничтожить славянское воинство по ту сторону фронта, а с той стороны стремятся к тому, чтобы разделаться с нами, — знаете ли вы, что в это самое время Германия… Та самая Германия, в борьбе с которой Россия отдала стольких лучших своих сыновей… с которой был заключен позорнейший Брестский мир… она нарушила этот мир! Немец не такой уж дурак, это вам известно. Немцы в немцев не стреляют. А русские в русских палят самозабвенно, до полного самоуничтожения! Так неужели кайзер такой непроходимый болван, что не воспользуется моментом? И он воспользовался! Он воспользовался тем, что все наши силы оттянуты сюда, на восток. И немцы перешли линию перемирия, они взяли Оршу, они идут на Москву и Петроград! Да, народ не зря прозвал англичанина мудрецом. Они были правы, наши союзники. Бывшие… Они предвидели, они не зря поторопились высадиться в Мурманске. А мы здесь с вами… Господи, что будет с Россией?!

Главком схватился за голову и застонал сквозь сцепленные зубы, раскачиваясь, как от нестерпимой боли.

Тухачевскому и самому захотелось вот так же схватиться за голову и застонать. Он не был трусом ни в сражениях с только что упомянутыми немцами, ни в час дерзкого побега из плена, ни в нынешних боях за власть Советов. Но сейчас он ужаснулся. Его ужаснула та чудовищная демагогия, которую услышал от Муравьева. Он, Тухачевский, знает, что и как ответить на каждую громкую фразу главкома. Но кто услышит его ответ? Он мог себе представить, как подействовала вся эта, с позволения сказать, аргументация на неискушенную в политике красноармейскую массу, когда по пути в Симбирск Муравьев митинговал и «разъясняя». Там, на митинге, не было Тухачевского, который сумел бы развенчать демагога при всех. Жаль, не было! Но ведь были политкомиссары. Где они, кстати? Почему ни одного не встретил на палубе и на берегу? Тухачевский вспомнил свой последний разговор с Варейкисом. Прав, трижды прав оказался в своих подозрениях председатель Симбирского губкома. Где он сейчас? Все могло статься… Здесь явно творится что-то неладное. И Муравьев, судя по всему, еще не все свои карты раскрыл. Значит, нельзя его спугнуть, надо выслушать до конца и… И — по обстоятельствам!

— Ваша рапортичка, — заговорил между тем главком, отняв ладони от головы, — все ваши тревоги и даже выпады против меня… все это, повторяю, мне понятна. Но уже неуместно! Ибо устарело. Просто вы были не в курсе новых исторических

событий. Мы с вами — перед фактом, перед свершившимся фактом. И факт этот — возобновление войны с немцами.

— А Совнарком? Каковы его указания?

— Совнарком все еще колеблется, никак не решит, капитулировать или сражаться. А мы с вами колебаться и ждать указаний в такой ситуации не смеем. И не будем. Под нашим началом лучшие войска республики… Вы меня поняли наконец, командарм? Молчите? Вижу — поняли! Какой русский офицер не поймет этого? Солдаты и те осознали, когда услышали… Вижу — взволнованы. Да и какое русское сердце не взволнуется от того, что вы лишь сейчас узнали от меня? Кто же спасет Россию, кто? Где тот наш российский Бонапарт, который… Кстати, вы очень смахиваете на молодого Наполеона. Никто вам не говорил?

— Говорили. Но в Наполеоны я не стремлюсь.

— Не верю! Мы все глядим в Наполеоны, как заметил поэт. Мне бы вашу внешность… Но я не завидую, нет. Потому что не во внешнем сходстве суть. Вот у вас личико куда как похоже, а красным Бонапартом величают меня. Слыхали, надеюсь?

— Слыхивал… Но я не согласен с вашей оценкой обстановки. Если возобновившие войны с Германией факт, то наш с вами долг поскорее сокрушить белых здесь, на Волге, прежде чем придут им на выручку союзнички. Тем самым на востоке будет создан надежный тыл для успешного отражения немецкого наступления запада. Тем скорее мы высвободим лучшие наши части и перебросим их на запад. Вспомните, ведь сразу после известий об убийстве Мирбаха я предположил возможность возобновления военных действий с Германией. И предложил Реввоенсовету реальный план скорейшего разгрома белых на нашем фронте, скорейшего взятия Самары. Вам, надеюсь, доложили о моем плане?

— Сегодня это уже не имеет значения, — отмахнулся Муравьев. — Слушайте меня внимательно. Вот вы, кадровый офицер. Более того, не лишенный военного дарования. Рассудитека. Итак, немцы напали на Россию. Красная Армия желает с ними сражаться? Безусловно! Невзирая ни на какой навязанный ей Совнаркомом Брестский мир. А белая гвардия желает сражаться с немцами? Вне сомнений! Желает и умеет. Ну, а так называемые белочехи? Убежден, что лобызаться с немцами они не намерены. Но чем же все они заняты — красноармейцы, белогвардейцы, белочехи? Лупят друг друга без устали! И мы с вами, дорогой командарм, в этой братоубийственной потасовке принимаем живейшее участие. Растрачиваем свои силы, способности, время. Вместо того чтобы объединить все три названные мною силы в единый грозный кулак и нанести этим кулаком сокрушительный

удар по… по германскому империализму! Выиграет от этого Россия? Выиграет! Выиграет русская революция, избавившись от самого грозного из своих военных противников? Безусловно! Выиграет мировая революция? Несомненно! Потому что проиграет мировой империализм — в лице своей главней военной силы…

«Какой, однако, демагог! — думал, слушая главкома, Тухачевский. — Теперь понятно, почему он так высоко взлетел… Но нельзя вспугнуть, надо не подавать виду, пусть выскажется до конца».

— Теперь посудите сами, — увещевал Муравьев. — Мог ли я, как русский офицер и патриот, небезразличный к судьбам народа и отечества, как все же не последний из героев нашей резолюции, мог ли я равнодушию взирать на подобное и плыть по течению? Нет, я решил плыть против течения! И для этого поплыл, хе-хе, вниз по течению, из Казани в Симбирск. Но это, сами понимаете, шутка, каламбур… А дело-то не шуточное! Так мог ли я не использовать тех возможностей, той силы, которую вручила мне Фортуна…

— В лице Советской власти, — не удержался от реплики Тухачевский.

— Пускай! И вы на моем месте не стали бы сидеть сложа руки, уверен. Поэтому я решился. Я решил придать свершившемуся факту юридическую силу. Чтобы закон был на нашей стороне. Я объявил войну Германии, которая нарушила мир. Я объявил войну немцам и мир исем славянам. Я призываю всех немедленно прекратить братоубийственную гражданскую войну, восстановить в России гражданский мир и, объединив свои силы, выиграть единоборство с германским империализмом. Вот послушайте, какой я приказ набросал. Слушайте же!.. От Самары до Владивостока, всем чехословацким командирам! Ввиду объявления войны Германии приказываю вам повернуть эшелоны, двигающиеся на восток, и перейти в наступление к Волге и далее на западную границу… Занять на Волге линию Симбирск — Самара — Саратов — Балашов — Царицын… в североуральском направлении Екатеринбург и Пермь… Вот, командарм, вручаю вам этот текст. Причешите его, и через час он будет передан. Это лишь первые наши шаги…

Тухачевский взял текст и глядел в него, не веря своим глазам. Открыть весь фронт противнику?! Открыть дорогу белым на Москву?! Чудовищная измена!..

А главком, уже уверенный в себе, поднялся со стула и вещал торжественно:

— Я спас Петроград, Киев, Одессу… Теперь я спасу Россию и

революцию! Я или никто! Теперь или никогда! Все, кто встанет на моем пути, будут растоптаны и сметены на свалку истории. Все, кто поддержит меня, заслужат мою и всенародную признательность, вместе со мной войдут в историю. Лично вам я обещаю любой ответственный пост в новой объединенной армии, которую я создам здесь, на Волге. Выбирайте же, поручик Тухачевский! Я все сказал и жду ответа.

10. КАК ТАК?

Уж скоро вечер, а пыль и духота никак не оставят города.

Иосиф Михайлович расстегпул верхние пуговицы гимнастерки, посмотрел на Гимова, томившегося в пиджаке, — тот невозмутимо шевельнул закрученными усами, как бы соглашаясь: да, действительно, не слишком прохладно.

И все же здесь, в губисполкоме, было прохладнее, чем на улице. И жаль было покидать помещение, отправляться навстречу пыли и зною. На встречу с главкомом Муравьевым, внезапно прибывшим в Симбирск.

Из Казани пока ничего не сообщали. Оставалось лишь предположить, что главком прибыл, дабы лично возглавить предстоявшее наступление на Самару. То, что с ним прибыли отряд матросов и большая красноармейская часть, лишь подтверждало это. Всех представителей местной власти главком пригласил к себе на пароход «Межень»; Пригласил на сей раз в основном большевиков: председателя губисполкома Гимова, председателя комитета партии Парейкиса, председатели; чрезвычайной следственной комиссии Вельского, начальника связи Измайлова, а также других членов президиума Симбирскою совдепа. Многие из них уже собрались в штабе Симбирской группы войск, чтобы оттуда отправиться к главкому.

— Прогуляемся до штаба, — предложил Гимов, — а уж оттуда двинемся на пристань, все вместе.

— А может, ни к чему всем вместе? — усомнился Иосиф Михайлович, сосредоточенно думая о своем, опасаясь подвоха. — Оставались бы лучше все на местах, а я один бы съездил. В моем лице все же представлены и партия и Советы, к тому же мы с главкомом уже знакомы.

— Пройдемся до штаба, там решим окончательно.

Они быстро дошагали до штаба и первым делом спросили, где Клим Иванов. Оказалось, что тот уже отправился на пристань.

— Давайте автомобиль, и нам туда же.

— Свободного сейчас нет, придется обождать.

— А, черт! — в душе Иосифа Михайловича подиималоь раздражение, перерастало в тревогу. — Нет хуже — ждать и догонять… Что ж, делать нечего, подождем на предзакатном солнышко. Уже не так припекает.

Они все вышли из здания и стояли у подъезда, ждали обещанного автомобиля, когда неподалеку внезапно рвануло.

— Лимонка, — определил один из сопровождавших красноармейцев.

— Совсем близко.

— Похоже, на Гончаровской.

— Скорей туда! — Иосиф Михайлович сдвинул кобуру и, расстегивая ее на бегу, помчался первым.

Добежав до Гончаровской, увидели кучку матросов. Один из них, устрашающе-толстый, в фуражке-мичманке с миниатюрным ковырьком, весь в пулеметных лентах, едва держался на широко расставленных коротких ногах. Расклешенные брюки придавали ему сходство с приседающим цирковым слоном. Другой, усевшись прямо в пыль и вытянув перед собою ноги в еще более невообразимых клешах поверх стоптанных сапог, отмахивался маузером от своих товарищей, неловко пытавшихся поднять его и нахлобучить свалившуюся бескозырку. Еще несколько сосредоточенно покачивались на месте, будто колеблемые ветром, хотя ветра не было.

— Нализались, дьяволы!.. Кто такие, из какой части?

— А пош-шел ты, комиссар!.. И-эх, ябы-лачы-ко! Куды ты кот-тишь-си…

Иосифа Михайловича захлестнула ярость:

— Предъявить документы! Сдать оружие!

— Полундр-ра!

Увидев в руках явно не намеревавшегося шутить молодого комиссара наган и наставленные штыки подоспевших следом красноармейцев, пьяные матросы кое-как подняли из пыли сидевшего и поволокли его прочь, все пытаясь пристроить на мотавшейся голове бескозырку и отобрав на всякий случай маузер. Один лишь толстяк в пулеметных лентах и мичманке все еще стоял, покачиваясь и тупо глядя перед собой. Убегавшие остановились, оглянулись.

— Полундра! Боцман остался! Бо-оцман, эй!

— И-й-я н-не б-боц-ман, — с превеликим усилием сумел выговорить тот, по-младенчески пуская пузыри из губастого рта. — И н-не л-лоц-ман… Я п-р… пр-р… пр-ро-сто К-кацман…

Красноармейцы невольно рассмеялись, а толстый боцман вдруг повернулся к ним широченной, в лентах, спиной и, почти не шатаясь, с неожиданной легкостью и скоростью зарысил к ожидавшей его братве, там подхватил одной рукой того, который упорно валился в пыль, понес его, брыкающегося, опередив остальных. А те, удаляясь вслед за боцманом, пальнули наугад из маузера, но, к счастью, ни в кого не попали.

— Не отвечать огнем! — приказал Иосиф Михайлович. — Попробуем задержать их.

Но тут, откуда ни возьмись, выкатился шальной извозчик с бравыми, как у ротмистров, усищами. Он осадил высокую

костлявую клячу так, что дуга и хомут едва не наползли ей на безнадежно грустную морду. И вся компания матросов тотчас умудрилась взгромоздиться в осевший под их тяжестью экипаж. Извозчик лихо гикнул, кто-то свистнул, и облепленный матросней экипаж укатил прочь, скрывшись за ближайшим поворотом.

Иосиф Михайлович убрал наган, застегнул кобуру. Красноармейцы все глядели туда, где только что еще виден был экипаж с матросами.

— К пристани ускакали.

— Это не из тех ли, которых главком за решетку упрятал?

— Вряд ли. Откуда тем взяться? Эти при оружии, а тех разоружили.

— Все же молодцы матросики. Своих в бедо не оставляют. Без боцмана не ушли. Ей-ей, молодцы!

— Не молодцы, а свиньи! — вскипел Иосиф Михайлович. — Пропивать революцию…

Решено было вернуться к зданию губисполкома и дожидаться автомобиля там. Гимова уговорили пойти домой. Варейкис сам отлично управится. Ехать всем — слишком много чести главкому, который совсем еще недавно наглейшим образом всех их игнорировал.

В само здание входить не стали, собрались у подъезда, все еще возбужденные стычкой с пьяными матросами. Иосиф Михайлович подумал, что при встрече с Муравьевым надо будет непременно сказать об этом инциденте.

А тревога в душе усилилась — то ли от непонятной задержки с автомобилем, то ли от брошевлой нетрезвой рукой «Лимонки» на Гончаровской. Тут подбежал молодой чекист, запыхавшийся от волнения и спешки.

— Товарищ Варейкис! Товарищи!.. — бедняга никак не мог отдышаться. — В городе неладно… Вооруженные матросы заняли почту и телеграф…

Так вот почему из Казани и из Москвы — никаких вестей! Иосиф Михайлович почувствовал, как деревенеют губы и сжимается все внутри — нечто подобное он испытал еще под Харьковом, перед первой своей рукопашной. А сейчас, похоже, предстоит схватка почище той. Там он сражался как один из многих пехотинцев, справа и слева были солдаты, бывалые солдаты, а впереди был явный враг. Здесь же предстоит и самому сражаться, и другими командовать. И решать, где друг, а где недруг. Решать мгновенно и безошибочно. За ошибку — расплата, нет у него ни времени, ни права на ошибку. И прежде всего — совладать с собой, чтобы никто не заметил его состояния, не

догадался, как ему трудно. Не уронить, себя!

— …А на Гончаровской ставят пулеметы, — говорил чекист. — На всех перекрестках.

— Товарищ Варейкис! — обратился один из охранявших здание латышских стрелкой. — Прикажите, мы снимем эти пулеметы.

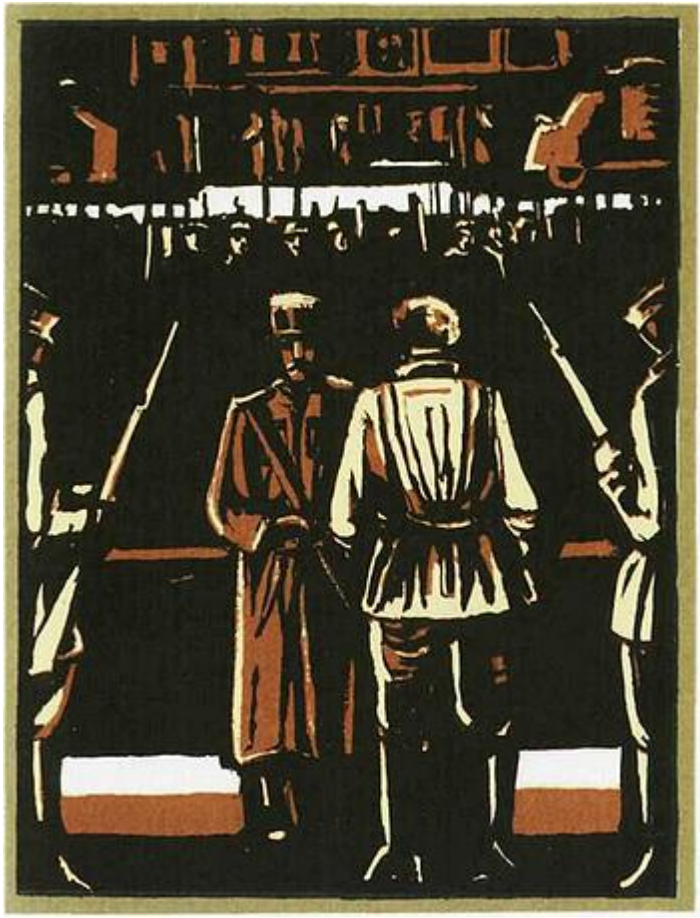
— Товарищ Варейкис! Пусть Совет только прикажет, мы…

Их столпилось с десяток, славных прибалтийских парней. Они требовали приказа, сжимали крепкими пальцами лоснящиеся ложа своих видавших виды трехлинеек, готовые ввязаться в бой при любом соотношении сил.

— Спокойно, товарищи, спокойно! — сдерживал их Иосиф Михайлович. — Сейчас все выяснится.

Он успокаивал их, бывалых бойцов, и они дивились невозмутимости товарища Варейкиса, даже не подозревая, каких усилий стоило ему выглядеть спокойным да еще успокаивать других.

— А это что еще за отряд?



К ним приближалась колонна красноармейцев и матросов, более роты, почти батальон. Шли стройно, мерно топча мостовую. Вот вышли из-за угла замыкающие, деловито везя за собой облезлые «максимы». Впереди строя вышагивал красавец командир в алой черкеске, над смуглым лицом — белый мех невысокой шапки, весь в ремнях, при всевозможнейшем оружии: шашка, наган, два кольта, кинжал… Ну и ну!.. Приблизившись, он пропел небрежно, даже не оглянувшись:

— Отря-ад! Стой!!

Отряд дружно притопнул и стал. А великолепный командир, подойдя вплотную к стоявшим у зданил и не спуская огненных глаз с Варейкиса, козырнул:

— Старший адъютант главкома Муравьева. Действую от его имени и по его приказанию. — Слушаем вас, — сдержанно отозвался Иосиф Михайлович. Он узнал этого красавчика, который был при Муравьеве еще тогда, в Харькове. Но если так, то и тот должен был вспомнить и узнать, однако виду не подает.

Забыл или притворяется?

— Кто здесь большевики, а кто левые эсеры? — громко обратился адъютант к остальным. — Разберитесь, эсеры налево, большевики направо!

Никто, однако, такой команде не подчинился. Кто-то даже отозвался насмешливо:

— А здесь не большевики и не эсеры. Просто так… частная публика.

— Издеваетесь? — черные глаза адъютанта угрожающе сузились, он поиграл побрякушками, украшавшими его ремешки, будто конскую сбрую. — На-пра-сно. Кто из вас председатель Совета?

«Слава богу, нет здесь Гимова, а то бы вызвался, — подумал Иосиф Михайлович. — В конце концов я его официальный заместитель и, кроме того, председатель партийного комитета. Вполне достаточно для них…»

— Я председатель, — заявил он, не уточняя. — Можете сообщить мне все, что вам надо.

— Мне надо… мне надо объявить вам, что вы арестованы. Временно, конечно.

— Спокойно, товарищи! — Иосифу Михайловичу снова пришлось сдержать нетерпеливо надвинувшихся латышей. — Спокойно… Мотивы ареста?

— Мотивы ареста узнаете у главкома.

— Ордер на арест, — потребовал Иосиф Михайлович. И тут же с удовлетворением заметил, что к такому обороту нарядный адъютант явно не подготовлен.

— Видите ли, — ответил тот вполне вежливо и не вполне уверенно, — дело в том, что… сейчас я все разъясню…

Приведенный адъютантом отряд, хотя соответствующей команды не было, потерял строй и, придвинувшись, плотной толпой окружил и своего командира, и всех остальных. Кто-то из отряда уже прикуривал у латышского стрелка, обстановка заметно разряжалась. Иосиф Михайлович, однако, понимал все неравенство сил и всю невыгодность своего положения. Решил выигрывать время. Терпеливо, никак не показывая своей предельной настороженности, выжидал, что еще вымолвит и что предпримет сей старший адъютант, столь похожий на опереточного статиста. А тот, преодолев свою первую растерянность, поднял руку — широкий рукав черкески при этом движении картинно соскользнул с локтя — и заговорил громко, решительно, как на митинге, обращаясь теперь не столько даже к председателю, сколько к окружающим их бойцам, и в первую очередь к латышам:

— Товарищи! Наш главком Муравьев объявил войну Германии. Которая вероломно нарушила перемирие и вторглась в пределы республики. Так что все мы будем теперь воевать только с немцами…

— А с беляками?

— Ни с беляками, ни с русаками, — скаламбурил адъютант, — воевать отныне не будем.

Он явно подражал своему главкому, возможно даже слышал от него этот каламбур. Но задавший вопрос красноармеец не оценил остроты и произнес неудовлетворенно:

— Как так?

— А вот так, дорогой товарищ! — охотно откликнулся адъютант и продолжал вдохновенно разглагольствовать, швыряя в напряженные лица бойцов гладенькие словосочетания, вне сомнений не им сочиненные, а заимствованные из уст все того же главкома Муравьева. — Перед возникшей угрозой мирового империализма в лице его немецкого авангарда… перед лицом этой смертельной угрозы… чтобы спасти Россию и революцию… наш непобедимый главком Муравьев, наш красный Гарибальди… этот русский Бонапарт, понимаете… он принял единственно правильное, исключительно мудрее решение! Мы заключаем мир с чехословаками и со всеми русскими офицерами… все они наши братья…

— Как так? — снова не понял все тот же красноармеец.

— Потому что все они тоже ненавидит немчуру и желают воевать с Германией. Поэтому продолжать междоусобную гражданскую войну нет никакого смысла…

— Вздор! — не выдержал Иосиф Михайлович. — Чистейший вздор!

— А впрочем, — тут оратор сбился. — Впрочем… Вы, председатель, войдите пока в здание, обождите там, с вами после разберемся…

Иосиф Михайлович не стал ни возражать, ни мешкать. Он успел заметить, что за спинами столпившихся бойцов собралось немало случайных прохожих. А может, не случайных?.. Он успел увидеть, как, пыхтя и дымя, будто паровозы, подкатили один за другим три бронеавтомобиля с задраенньми зачем-то люками. Поэтому, воспользовавшись явно непродуманным предложением адъютанта, он поспешил скрыться в здании Совета. Вслед ему донесся вновь окрепший голос вдохновенного витии-муравьевца:

— …Сегодня мы заключаем блаженный мир со всеми вчерашними противниками! Чтобы завтра сообща навалиться на общего врага! На кровожадный немецкий империализм! Мы спасем от него Россию, спасем нашу и мировую революцию!..

11. ТУПИК

Несколько угрюмых латышских стрелкой вели арестованного Тухачевского. Куда?

Они удалялись от станции, шли по рыжим и потерявшим равнение шпалам, то и дело перешагивали через покрытые ржавчиной стрелки давно заброшенных путей. Видно было, как дрожит над рельсами все еще перегретый воздух. Вокруг — ни души, даже птицы попрятались, только два неугомонных голубых мотылька, играя меж собой беспечно, порхали низко над озаренной заходящим солнцем высушенной землей.

Даже в таком богом забытом закутке, даже на исходе столь изнурительного знойного дня, даже в невообразимо критический момент внезапно разыгравшихся событий… все равно жизнь была неповторимо хороша. Единственная жизнь, отпущенная человеку. И ведь прожито всего-то… Недурно прожито, но всего каких-то четверть века, это так немного. Кто верит в загробную жизнь или в переселение душ, тем, должно быть, легче. Или тем, кто оставил после себя детей — свое продолжение, им тоже есть чем утешить себя на исходе жизни. А что он оставит после себя?

Почему-то прежде, когда смерть не раз подступала совсем близко, в разных обличьях, он не задумывался обо всем этом так, как сейчас. Почему? Не потому ли, что не видит возможности сопротивляться? А немецкий плен? Но там был противник, с которым можно было и нужно было драться — в любом положении, самом, казалось бы, безвыходном. А сейчас… Сейчас его могут убить эти красноармейцы — *свои.* Драться с ними? Немыслимо!

Что же оставит он после себя? Так ничего особенного и не успевший совершить.

Не успел освободить Самару. Не успел перехватить и остановить страшный предательский нож, нацеленный и спину революции и Советской власти. Ничего не успел! Хотя бы предостеречь Варейкиса — и то не успел. Жив ли он, председатель комитета, в данный момент? А если жив — чем можно ему помочь, когда сам — безоружный, под стволами винтовок — делаешь, быть может, последние свои шаги…

Ну, ладно, выслушал он Муравьева до конца, тот раскрыл свои карты. И что же? Что сумел, что успел предпринять командарм Тухачевский?

Нет ничего томительнее вынужденного бездействия.

Нет ничего обиднее ощущения полной своей беспомощности.

И что может быть отвратительнее предательства?

Да, Тухачевский швырнул в самодовольную физиономию главкома-предателя все, что думал о нем. Но только назвать предателя предателем… этого еще явно недостаточно! Надо еще и обезвредить его, пока он не натворил беды непоправимой.

Не сумел, не успел обезвредить! Сам был обезоружен и арестован. Более того, сам был объявлен предателем, во всеуслышание. И ни в чем, конечно, не повинные красноармейцы поверили. Поверили, будто командарл намеревался арестовать их командиров. Поверили в байку, будто красный главком разоблачил бывшего гвардейского офицера, дворянина, оказавшегося якобы белым провокатором.

Что может быть хуже положения, когда нот хоть какой-нибудь возможности опровергнуть возведенную на тебя чудовищную напраслину и клевету? Хотя бы минуту такой возможности, а там — будь что будет!

Прямо с пристани Муравьев повез его с собой по городу, обезоруженного, под конвоем. Разыграл дурацкий фарс на митинге. И когда кто-то легковерный истерично потребовал «расстрелять на место белую сволочь», главком позволил себе снисходительно бросить через плечо:

— Всегда успеется…

Одни конвоиры передавали арестованного другим — теперь его ведут латыши. Эти шутить не любят. И не будут. По лицам видно: окаменевшие, неумолимые лица. Они сейчас видят в нем лишь заклятого классового врага, врага революции и народа.

Все. Дальше — тупик.

Железнодорожный тупик. И старый заброшенный вагой, трехосный. В полуразбитых окнах, там, где уцелела часть стекла, пламенеет оранжевое отражение светила.

Завели в пустой вагой, оставили сидеть на скамье. Как на скамье подсудимых. Но будет ли суд? Или — без суда и следствия?..

Сами все вышли. Слышно, как спорят по-латышски, ему ни слова не понять. И вдруг голос по-русски:

— Здесь и расстреляем.

В вагон вернулись двое, и тот же голос — опять по-русски:

— Вставай! Выходи!

Вот и все. Хватило бы сил держаться достойно, не перечеркнуть честно прожитые годы последними минутами неуправляемой слабости.

Обидно! Обидно умирать так рано, успев так мало. И главное, быть убитым своими же, погибнуть от своей руки! И никто ведь никогда не расскажет этим подло обманутым бойцам, кого они расстреляли у одинокого вагона в дальнем заброшенном тунике.

Самому, что ли, сказать? Не поверят, сочтут за хитрость, за трусость.

Тупик. Дальше — пути нет. Нет пути, из тупика.

Знакомый металлический звук затворов… Ну, чего тянут?! Скорей бы уж!..

Вот снова заспорили по-латышски. И затем — по-русски — обратились:

— Знаешь, за что тебя?

— Знаю! За то, что большевик, — ответил со злостью, с нескрываемым вызовом. Пускай думают, что хотят, терять ему все равно нечего.

Ну что за народ латыши! Как медленно до них доходит! Глядят на него изумленно. И — ни слова. Да уж стреляйте, черт бы вас побрал! Не томите…

— Так… так ведь и мы тоже… большевики.

— А если вы тоже большевики, так знайте же…

И рассказывает все, что знает сам. Все, без утайки. Со всеми подробностями. Они сперва не верят, задают вопросы. Тухачевский отвечает на все их вопросы. Они слушают. И снова спорят мене собой по-латышски. Наконец:

— Вы свободны, товарищ комоидарм! Разрешите нам идти?

Нет слов ответить, нет дыхания.

Они тихо уходят. Кроме одного. Зачем этот один остался?

— Разрешите, я провожу вас, товарищ командарм? Куда прикажете…

Кто сказал, что нет пути из тупика?

12. ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Нельзя было терять ни секунды. Задыхаясь от напряжения, перескакивая через две ступеньки, Иосиф Михайлович добрался до чердака. Отсюда — через слуховое оконце — хорошо видно, что с парадного входа все блокировано муравьевцами. С черных ходов, пожалуй, выйти можно, однако с тем лишь, чтобы упереться в каменную стену, окружавшую здание. Раньше в этом похожем на крепость здании был кадетский корпус, теперь — комитет партии, губисполком и редакция местных «Известий».

И все это — в осаде…

Поздно уже. И тишина нехорошая. Где остальные товарищи, что с ними сталось? Где член президиума губисполкома Шеленшкевич, где политкомиссар штаба Лавров, где политработники Чистов и Муратов? Не в лапах ли у Муравьева? Этот авантюрист ни перед чем не остановится…

Иосиф Михайлович вернулся на третий этаж, в комнату президиума, где не раз ночевал на диване — даже подушка в шкафу есть. Он снял трубку телефонного аппарата, покрутил рукоятку.

— Станция? Алло! Соедините меня…

— Никого не соединяем, — поспешно ответил бесстрастный голосок.

— То есть как это «никого»?!

— Дано распоряжение, — и отключилась. Он с досадой швырнул трубку.

Иосиф Михайлович шагал из угла в угол, пытаясь сосредоточиться, найти выход. Нельзя же бездействовать! А что можно сделать? Судя по всему, весь город в руках мятежного главкома.

Нет, какой же все-таки подлец! В такой момент — и удар в спину. Открыть врагу фронт…

Но надо что-то предпринимать. Что конкретно? Как?

Кто-то вошел в кабинет. Иосиф Михайлович оглянулся резко, схватился аа кобуру — нелегко вам будет взять Варейкиса, сволочи!..

Увидав вошедшего, успокоился. Это был секретарь горкома Каучуковский.

— А, это вы…

— Что происходит, товарищ Варейкис?

— Вы что, с луны свалились? Измена, мятеж! Главком открыл фронт.

— Главком Муравьев?!

— Да, Муравьев! Я никогда ему не верил…

— Что же делать, товарищ Варейкис?

— Действовать! Непременно и решительно действовать… Вот что. Все партийные документы, все деньги надо убрать им здания, надежно припрятать. Ключи от сейфов у вас?

— Как всегда. Разрешите приступать?

— Сумеете выбраться? Ведь все блокировано.

— Сумею, не беспокойтесь. А вы как же?

— Не теряйте времени, действуйте. Главное — успеть!

Слышно было, как затопотал вниз по лестнице Каучуковский. Сейчас он уже на втором этаже, в парткоме… Открывает сейфы, быстро отбирает главное, складывает, заворачивает, аккуратно связывает сверток бечевкой… Сумеет ли выйти, проскочить?

Иосиф Михайлович не знал еще в те минуты, что все произошло именно так, как он себе представил: Каучуковский действительно связал отобранные бумаги бечевкой, затем деловито и непринужденно вышел из здания, усыпив бдительность стражей столь откровенной дерзостью, затем умудрился проскочить мимо заслона пулеметчиков…

Так. Что дальше? Спокойно. Прежде всего — спокойно!

Итак, на что и на кого можно рассчитывать? Симбирский коммунистический отряд — на позициях, Клим Иванов знал, когда и как отправить его из города под более чем благовидным предлогом. Если бы отряд остался в Симбирске… Если бы да кабы! Клим Иванов — такая же эсеровская штучка, как и главком. Все они одного поля ягоды! И щеголь Беретти — из той же компании, не случайно его бронедивизион, нужный на фронте никак не меньше, чем коммунистический отряд, оказался в Симбирске и теперь — к услугам Муравьева. Было бы болото — черти найдутся!

Но здесь, в самом здании, на первом этаже — казармы, там рота прибывших недавно из Москвы латышских стрелков. Он уже заходил к ним, предупредил, чтобы никаких активных действий без директив комитета не предпринимали. Нельзя подставлять бока. Удалось ли Муравьеву за последние немногие часы переманить латышей на свою сторону? Предположим худшее: допустим, что удалось. Как быть в таком случае? Выход один: попытаться прочистить им мозги. Рискованно, конечно…

А если предположить лучшее: латыши не поверили Муравьеву и сохранили верность Советской власти? Тогда тем более необходимо пойти к ним.

И он направился вниз, в казарму.

А в казарме митинговали. Среди множества выгоревших гимнастерок алела кровавым пятном черкеска все того же

красавчика адъютанта. В данный момент он молчал, нервно теребя темляк шашки, слушая многоголосье предельно взбудораженных красноармейцев, среди которых были и латыши и русские.

— Да вы понимаете, товарищи, что всех нас расстреляют? В любом случае! За неподчинение приказу главкома…

— А если главком — изменник?

— Тогда — за содействие изменнику.

— Погодите, погодите! Что-то мы путаем. Давайте-ка разберемся…

— Давайте разберемся! — громко подхватил Иосиф Михайлович, внезапно появляясь среди митингующих.

— Гляди, сам товарищ Варейкис!

— Вот он нам все и растолкует.

— Товарищ Варейкис! Что же это творится? Значит, они не верят адъютанту, хотят знать правду, готовы слушать. Значит, не все потеряно.

— Спокойно, товарищи, спокойно! Сейчас все объясню.

— Товарищ Варейкис! — к нему протолкался здоровенный пулеметчик, которого называли Медведем (то ли фамилия такая, то ли кличка) за сходство с Топтыгиным. — Это правда, что главком всех большевиков — под арест?

— Да, правда, — твердо ответил Иосиф Михайлович. — Кроме тех, до кого пока не дотянулся.

— Так что же, ждать, пока дотянется? Что надо делать, товарищ Варейкис?

— Теперь, товарищи, наш с вами долг один — ликвидировать измену. Перед лицом этой чудовищной измены каждый из нас проверяется на верность революции. И надо оказать самое решительное, но вместе с тем и хорошо продуманное сопротивление…

— Это кто здесь агитирует? — прорезался наконец голос у адъютанта. — А, все тот же председатель… Вы лжете, председатель! Нечего разводить здесь агитацию, вам не положено находиться в частях. Вы арестованы!

Как близко теперь алая черкеска с нарядными газырями, блестящие бляшки на ремнях, шашка, маузер, дна кольта… И — злые, темные с желтизной глаза, равнодушно-злые, как у садиста. С ним — два ординарца, Иосиф Михайлович узнал и их: были в муравьевской свите еще при первом появлении главкома в Симбирске. С такими — как с напавшими псами: чуть дрогнешь — тотчас вцепятся.

— Ошибаетесь, — по возможности спокойно и так, чтобы все слышали, возразил Иосиф Михайлович. — У меня больше прав

находиться здесь, чем у вас. Так что еще не известно, кто тут разводит лживую агитацию и кого следует арестовать.

— Вас надо арестовать! — вскрикнул адъютант и обратился к ординарцам: — Взять его!

— Не трожь председателя! — к адъютанту и ординарцам потянулись гневно сжатые кулаки, кто-то замахнулся прикладом. — А ну, чешите отсюда!

Всех троих оттеснили от председателя, погнали к выходу. У тех хватило благоразумия и сообразительности не сопротивляться.

— Ишь, вырядился, фазан! — неслось им вслед. — Забудь дорогу к нам!

— Надо же, гнида какая!

— Товарищ Варейкис! Разрешите, мы прикончим Муравьева? Он сейчас здесь неподалеку. Одной бомбы в автомобиль достаточно…

— А вот этого я вам делать не советую, — предостерег Иосиф Михайлович. — Категорически не советую.

— Но отчего же? Дело верное.

— Нет, товарищи, не верное. Совсем в другую сторону будет истолковано. Вокруг нас бронеавтомобили, пулеметчики, не одна сотня штыков. Все они пока обмануты. Убьете главкома — подумают, что он был прав. Что не он предатель, а мы. Да весь гарнизон тогда просто сметет всех нас, мокрого места не оставит!

— Так что же прикажете делать нам?

— На рожон не лезть. Не выдавать себя прежде времени. Это для нас сейчас самая выгодная позиция. Мне ли вас учить солдатской смекалке?

— Значит, сидеть сложа ручки?

— Нет, не сложа ручки. Во-первых, надо направиться в части гарнизона для агитации, разъяснить обстановку. Я обращаюсь к членам партии большевиков. Кто пойдет?

Вызвалось немало.

— Очень хорошо. Отправляйтесь немедленно. Не попадитесь только…

— Не сомневайтесь, товарищ Варейкис! Все выполним в аккурат…

— А вы, товарищ, — обратился он к одному из стрелков, — разыщите во что бы то ни стало Гимова. Пускай уйдет из города и действует с внешней стороны. Так и передайте от моего имени. Передайте ему, что вся наша фракция может оказаться под арестом, парализованной. Надо, чтобы он сберег себя и организовал нам выручку извне… Далее. Если меня, паче чаяния, все же арестуют, прошу сразу же вынести протест. Это я уже всем

остающимся говорю. Чтобы в других частях узнали, пускай на них подействует…

Он спешил отдать распоряжения, а сам все упорнее думал о том, что надо бы связаться с Тухачевским. Командарм крепко держит в руках свои части, пришел бы на выручку. Что бы тогда запел самонадеянный Муравьев? Если бы Тухачевский подоспел! В конце концов от Инзы, где штаб армии, до Симбирска не так уж долог путь…

Откуда было знать Иосифу Михаиловичу, что Тухачевский уже в Симбирске, но только без своей армии? Не мог он этого знать. И наскоро написал:

> «Командующему 1-й армии М. Н. Тухачевскому: Симбирский комитет РКП (б) сообщает, что сегодня во второй половине дня в город прибыл Муравьев и под предлогом необходимости войны с Германией выступил против власти Советов. Мы изолированы в губисполкоме, надежных войск у нас нет. Измена командующего фронтом намного ухудшает нашу борьбу с белочехами и может стать сигналом для выступления левых эсеров в других городах Поволжья. Немедленно окажше помощь Симбирску. Желателен ваш приезд. Сообщите об измене Муравьева Ленину, Свердлову и Дзержинскому.
>
> *Варейкис,* 10 июля. 9 часов вечера».

Доставить записку командарму взялся большевик Вахатов.

…К полуночи в председательском кабинете собралось несколько членов губисполкома.

— Предлагаю, — сказал им Иосиф Михайлович, — немедленно, прямо сейчас, созвать экстренное заседание исполкома.

— Ночью?!

— Да, ночью.

— Но ведь мы блокированы.

— Однако вы-то проникли в здание, вон сколько вас уже собралось! Давайте-ка не терять времени и готовить повестки, сразу разошлем.

— На какой час вызывать?

— Как можно скорее. Не указывайте часа. Хоть через минуту!

Тем временем вернулся Каучуковский, который должен был припрятать документы. Шепнул на ухо:

— Все в порядке, товарищ Варейкис, Зарыл возле первой гимназии.

— Молодец! Незаметно? Сами потом найдете?

— Найду.

Вслед за Каучуковским явились Иванов (однофамилец эсера, мало ли Ивановых на Руси…) и Фрейман, затем влетел Саша Швер, готовый ко всему, кок всегда.

— Ну вот, — повеселел Иосиф Михайлович, — почти вся наша фракция в сборе! А что же левые эсеры?

— В Троицкой гостинице, с Муравьевым совещаются.

— Все ясно. Заглянем-ка к тебе в редакцию, Саша. Пойдемте, товарищи, там все и обсудим. Надо подготовить воззвание к войскам и населению.

— Пиши ты, Иосиф, только покороче, — сказал Швер, когда пришли в редакцию. — Слов двадцать, не более. А я пока раздобуду наборщиков.

— Надо, чтобы — свои.

— Что же, я не понимаю? — обиделся Швер. — Одного ты наверняка помнишь. Это Абросимов, большевик. Ну, я пошел.

Иосиф Михайлович тут же принялся писать: «Муравьев изменил революции…»

В дверь постучали. Вошел все тот же великан Медведь:

— Товарищ председатель! К вам делегация от бронеотряда, потолковать желают.

— Так пускай входят.

Вошли двое — политкомиссар отряда Федор Иванов ((еще один Иванов!) и шофер.

— Товарищ Варейкис! Что там такое? Ведь главком, как мы догадываемся, что-то затевает против вас.

— Не затевает, товарищи. Уже затеял. И не что-то, а измену.

— Так мы и думали! Вот гад!.. В таком случае разрешите заявить, что ни один наш броневик ни одного снаряда по зданию Совета не выпустит. А этого фрукта Беретти я, как комиссар, отстраню к чертовой матери и возьму командование на себя.

— Спасибо, товарищи! От имени большевистской фракции, от всей нашей партии объявляю вам благодарность. И — просьба к вам. Свяжитесь с пулеметчиками и со всеми, кто нас окружил здесь, кто на Гончаровской, кто держит почту и банк… Растолкуйте им…

— Не сомневайтесь, товарищ Варейкис! Все сделаем.

Не успел еще Иосиф Михайлович дописать лаконичное воззвание, как снова прервали: ввалились представители от пулеметной команды. И — с порога:

— Вопросов нет, товарищи! Мы с вами!

Следом за ними — стремительный Саша Швер, с двумя наборщиками.

— Готово, Иосиф? Давай сюда. А за нами дело не станет.

Через час можно будет рассылать.

— Если удастся… — вздохнул кто-то.

— Никаких «если»! — откликнулся Иосиф Михайлович. — Веселее глядите, товарищи! Мы еще поборемся! Бронеотряд — с нами, пулеметчики — с нами, латышские стрелки — с нами…

Вскоре — после бесед с агитаторами, которых разослал Иосиф Михайлович, — о своей верности Советской власти и готовности выступить против Муравьева заявили отряд 1-го Симбирского полка, Интернациональный отряд имени Карла Маркса и две сотни балтийских матросов, которых временно возглавил политкомиссар Лев Берлин. Удалось также вооружить несколько сотен местных рабочих, но это был резерв.

— Молодцы агитаторы! — удовлетворенно воскликнул Иосиф Михайлович. — Отлично поработали. Убежден, что и прибывший с главкомом Уфимский полк в конце концов примкнет к нам. Но пока еще силы остаются неравными. Самая надежная сила — здесь у нас, на первом этаже, в казарме. Это латышские стрелки и те русские красноармейцы, что с ними. Даже в случае полной неудачи они готовы к самопожертвованию. На них прежде всего и будем опираться… Какие вести из гостиницы? Что там левые эсеры?

— Поддержали Муравьева. А он объявил Поволжскую республику.

— Этого негодяя надо арестовать. И скорее.

— Но как это сделать, товарищ Варейкис?

— Давайте думать. Только время не ждет.

— Вы сами что предлагаете? Как председатель…

— Предлагаю… Предлагаю вызвать его сюда, к нам. На заседание исполкома. Сегодня же почью. И как только явится — арестовать.

— Кто будет арестовывать? Нас слишком мало.

— Не беда. Привлечем человек тридцать латышских стрелков и… и человек двадцать, не менее, из других отрядов. Надо только продумать операцию во всех деталях. Кто возглавит?

— Вы и возглавите, товарищ Варейкис. Фактически уже возглавили.

— Других предложений нет?

— Нет!

— Так не будем же терять время, товарищи…

13. ГЛАВКОМ

Своими действиями по приезде в Симбирск Михаил Артемьевич был доволен.

Еще в пути он выступил перед сопровождавшими его частями и, судя по загоревшимся глазам бойцов, по громкому и грозному «ура», сумел навязать им свой взгляд на события, дать новый импульс их энтузиазму, воодушевить на новые подвиги.

Чистое небо и горячее летнее солнце — добрые знаменья! — сопровождали его на всем пути и встретили в Симбирске, когда «Межень» и другие суда пришвартовались к пристани бывшего пароходного общества «Самолет».

Под бодрые звуки встречного марша, в сопровождении адъютантов и ординарцев, главком сошел на берег. То, что он здесь увидел, порадовало военную душу.

В начищенных трубах оркестра многократно отражалось солнце. Ровная щетина штыков над выстроенными частями гарнизсъа казалась недвижимой, и только наметанный глаз главкома углядел едва заметное их колебание. Чеканя шаг — совсем как в давние времена, — подходила навстречу прибывшему группа командиров. Ее возглавлял Клим Иванов, загорелый, в глазах — торжественная радость. Левый эсер, в доску свой, надежный!

Ничего, еще отольются большевичкам слезы Маруси[7] и кровь ее соратников, пролитая в Москве…

После первых актов церемонии Иванов, набравшись духу, решился спросить:

— Вы действуете по решению нашей партии?

— Видишь ли, дорогой Клим… В данный момент я действую самостоятельно. Но ЦК партии левых эсеров поддержит меня.

— Разрешите еще вопрос?

— Спрашивай!

— Правда это, что… будто вы заявили о разрыве с нашей партией? Или это большевистская провокация?

— То, что я так заявил, — правда. Но то, что я порываю с партией, — неправда. Это мой тактический ход, в ответ на провокационные демарши большевистских комиссаров. А тебя, Клим, я назначаю командовать Симбирским укрепрайоном. Есть еще вопросы?..

С первых же минут по прибытии Михаил Артемьевич действовал с присущей ему энергией и решительностью. На железнодорожной станции он встретился с командиром бронедивизиона Беретти. Бравый, щеголеватый Беретти в

мгновение ока выстроил своих орлов, и главком обратился к ним с краткой и пламенной речью:

— Воины революции! Вам доверена грозная бронированная сила. Но весь вопрос в том, куда и против кого эта ваша решающая сила направлена. До сих пор, по злой воле предателей революции, пулеметы ваших боевых машин были почему-то нацелены на восток. В то время как главная опасность грозит нам с запада. С запада, а не с востока надвигаются на нашу молодую республику вооруженные до зубов полчища германскою империализма, вероломно разорвавшего Брестский мир. Разве не наш святой долг дать им достойный отпор? Но для этого наши силы должны быть высвобождены, братоубийственная гражданская война должна быть прекращена! Я взял на себя историческую миссию прекратить гражданскую войну перед лицом внешнего врага! Да здравствует красное знамя! Да здравствуют Советы без большевистских предателей! Да здравствует скорая победа над всеми врагами мировой революции!

Сбитые с панталыку бойцы привычно крикнули «ура!», затем по команде Беретти скатили с платформ бронеавтомобили, заняли в них свои места, завели моторы и, дымя, направились к Кадетскому корпусу — блокировать губисполком и комитет большевиков, возглавляемых столь знакомым главкому Варейкисом.

В ту же сторону были направлены более ста матросов-анархистов, отчаянных головорезов. Еще в первый свой приезд сюда Михаил Артемьевич вынужден был согласиться с их разоружением, расформировать отряд и даже упрятать всех за решетку — до лучших времен. И вот долгожданные лучшие времена наступили. Теперь он же выпустил их, дозревших, на волю и вернул им оружие.

— Братцы матросы! — обратился он к ним. — Я хочу, чтобы вы знали правду. Вас незаслуженно арестовали и унизили по распоряжению Симбирского комитета большевиков во главе с неким Варейкисом. Но теперь власть в городе принадлежит не какому-то Варейкису, а мне. Меня вы знаете, матросы! Я возвращаю вам свободу и возвращаю вам оружие. Я возвращаю революции ее самых отважных и прославленных защитников!

Яростное «ур-ра-а!» было ответом на его речь. Теперь эта братва предана ему безраздельно и по одному лишь его намеку вырвет глотку любому вставшему на пути. Вот так, черт возьми, надо завоевывать верность масс. Так поступали во все времена великие полководцы и дальновидные политики.

На фоне таких блестящих успехов неприятно темнело одсю

лишь пятно: неудача с Тухачевским. Впрочем, Мнхаал Артемьевич и не обольщал себя особо. Жаль, конечно, такие офицеры, как Тухачевский, на дороге не валяются и всегда могут пригодиться в каком-нибудь крупном и дерзком предприятии. Но может быть, что бог ни делает, все к лучшему? Интересно, его уже расстреляли?.. Скорее всего да. Хотя главком прямого указания не давал — преднамеренно. Но люди и так накалены предельно, а тут еще жара…

Вечерело, когда Михаил Артемьевич — в сопровождении всей своей свиты — сел в поданный открытый автомобиль и отправился в Троицкую гостиницу, чтобы выступить на собрании актива левых эсеров Симбирска. По дороге на улицах города он видел множество жителей, наверняка вышедших приветствовать его. Он слышал возгласы «ура». В автомобиль были брошены букеты цветов. Хорошо, что ни в одном не оказалось бомбы…

Опершись на плечо одного из своих адъютантов, Михаил Артемьевич привстал с сиденья, он улыбался встречавшим его обывателям, приветливо махал им фуражкой. Лучше бы, конечно, въехать на белом коне. Но сойдет и в белом кителе, который хорошо выделяется на фоне синих и красных черкесок свиты. Правда, получаются три цвета царского флага: белый, красный и синий. Ну и что с того? В конце концов под теми же тремя цветами одерживал свои победы и великий Наполеон…

У центрального подъезда гостиницы, едва главком вышел из автомобиля, ему пришлось принять традиционное подношение: хлеб-соль. По давнему русскому обычаю, Михаил Артемьевич склонился, поцеловал возлежащий на белом полотенце смуглый каравай, с наслаждением вдохнул аппетитный запах свежего хлеба и уютный запах чистого льна. Отщипнул краешек, прожевал с удовольствием, остальное передал адъютантам.

В гостинице собралась вся фракция левых эсеров. Все они напряженно ждали, что же скажет им главком Муравьев — человек в белом кителе, овеянный множеством легенд, в руках которого сосредоточилась отборнейшая вооруженная сила республики.

Время было позднее, Михаил Артемьенич изрядно устал за день, отдохнуть с дороги не успел, но без какою-либо промедления приступил к главному, ради чего прибыл.

— Товарищи! — сказал он. — Друзья! Я человек военный и с вашего позволения буду говорить по-военному, без обиняков и экивоков. Прежде всего, чтобы не было никаких кривотолков. Заявляю, что я сторонник власти Советов. Как, надеюсь, и каждый из вас. Но я не сторонник нынешнего Совнаркома, готового

лизать задницу германскому империализму и расстреливать наших товарищей по партии. Расстреливают их за верность идеалам революции, русской и мировой!

Эти слова, как он и рассчитывал, чрезвычайно взбудоражили присутствующих, возник шум. Выждав с минуту, главком поднял руку успокаивающим жестом и продолжал:

— Тише, товарищи! Я понимаю ваше волнение, ваши чувства. Понимаю и разделяю. И повторяю: все мы за Советы, но без большевиков. Хватит, доигрались! Именно события в Москве, которые поначалу многих из нас шокировали… да, именно разыгравшаяся там трагедия побудила меня не медлить более ни часу и приступить к решительным действиям. Обстановка требует ареста большевиков, всех поголовно, и передачи всей власти в руки одной партии — нашей партии левых эсеров в союзе с анархистами и другими истинно революционными партиями, которые нас поддержат. Кто не поддержит, пусть не обессудит, законы военного времени суровы. Действовать надо немедленно, сегодня же ночью, сей же час!..

Аплодисменты прервали его речь. Кто-то крикнул:

— Наконец-то!

Другой отозвался:

— Давно пора!

— Товарищи! — заговорил далее Михаил Артемьевич, вдохновленный поддержкой. — Друзья! Я предлагаю следующее. Объявить Брестский мир недействительным, а Германии объявить войну. Братоубийственную и бессмысленную гражданскую войну прекратить. Направить все высвободившиеся и воссоединенные боевые силы России, совместно с чехословацким корпусом, на запад, на борьбу с Гермаиией — этим авангардом мирового империализма, И бороться до полной победы! Я сам поведу войска и победу гарантирую…

Его снова прервали аплодисменты, Михаил Артемьевич ждал их именно в этом месте своей речи.

— Отсюда, — сказал он в заключение, — с берегов великой русской реки, я начну свой последний поход, до полного разгрома врага, до полной победы революции! Здесь, на берегах великой матушки Волги, я предлагаю создать Поволжскую Советскую республику — прообраз новой, свободной России!

Это его предложение было принято с особым энтузиазмом. Многие из присутствовавших, вероятно, почувствовэли себя лично причастными к отечественной и мировой истории.

Михаил Артемьевич прекрасно понимал психологию этих людишек, их состояние, он мог сейчас делать с ними все, что угодно, как опытный гипнотизер с безвольным пациентом. Он

чувствовал себя на коне. И позволил себе роскошь сделать изящнейший пируэт на манежном галопе — одно из труднейших упражнений выездки. Он предложил поставить во главе правительства Камкова, а членами — Спиридонову, Карелина и других иже с ними.

Реакция была именно той, на какую он рассчитывал: покоренные неожиданной скромностью главкома ему готовы были предоставить неограниченные диктаторские полномочия, его готовы были хоть сейчас признать и провозгласить главой вновь создаваемого государства.

Подобной высоты Муравьев еще никогда не достигал, никогда прежде не бывал он так близок к осуществлению своих заветнейших мечтаний. Сейчас надо было взять себя в руки, не показать своего возбуждения, не допустить ни малейшего промаха.

Тем временем в Троицкую гостиницу пришла телефонограмма на имя главкома: Варейкис приглашал его на экстренное заседание губисполкома. Приглашали прямо сейчас, среди ночи! Как же им удалось дозвониться? Впрочем, это уже не имело особого значения.

Михаил Артемьевич возликовал. Это наверняка капитуляция! Значит, установленная блокада все же принесла свои плоды: не выдержали нервишки у хваленого Варейкиса!

14. ТЕЛЕГРАММЫ

У командира бронепоезда, члена партии левых эсеров, волосы взмокли под фуражкой, когда он получил от главкома Муравьева небывалую телеграмму!

«…Я, главнокомандующий всеми вооруженными силами РСФСР, объявил войну Германии. Поворачивай на сто восемьдесят градусов и вместе с братьями-чехословаками двигайся через Москву к западной границе».

Не провокация ли? Никакого ведь не было приказа о назначении Муравьева «главнокомандующим всеми вооружейными силами РСФСР». И о каких «братьях-чехословаках» речь? Если о своих, красных интернационалистах, то в личном составе команды бронепоезда и в соседних частях их нет. Поблизости только белочехи. Чепуха какая-то!.. А может, все же провокация, и Муравьев тут ни при чем, просто запустили по проводам от его имени? А если… За невыполнение приказа в боевых условиях — к стенке, и пикнуть не успеешь. Затребовать подтверждение?

Командир снял фуражку, смял в кулаке и ею же вытер лоб.

Телеграммы о войне с Германией и мире с белыми получили все командиры частей, а затем — в Москве, в Киеве и даже в германском посольстве. Под всеми стояла подпись Муравьева.

«От Самары до Владивостока всем чехословацким командирам. Ввиду объявления войны Германии приказываю вам повернуть эшелоны, двигающиеся на восток, и перейти в наступление к Волге и далее на западную границу. Занять на Волге линию Симбирск — Самара — Саратов — Балашов — Царицын, а в североуральском направлении Екатеринбург и Пермь. Дальнейшие указания получите особо».

«Всем рабочим, солдатам, казакам, матросам и анархистам. Сборная по всем городам… Всех моих друзей и боевых сподвижников наших славных походов и битв на Украине и на юге Россия ввиду объявления войны Германии призываю под свои знамена для кровавой и последней борьбы с авангардом мирового империализма — Германией. Долой позорный Брестский мир! Да здравствует всеобщее восстание!»

Чье восстание? Против кого? Краскомы ни черта не могли понять из этого неправдоподобного текста. Может, телеграфисты что-то напутали? Или главком спятил? Контужен? Может, убит или взят в плен и от его имени действует враг?

Красный командир Гай видел перед собой лишь одного противника: белых и прочую контру, угрожавших молодой республике. Побрататься с ними? Открыть им фронт, открыть путь на Москву?! И горячий Гай с ходу, по-кавалерийски дерзко дал ответ:

«На фронте я — солдат и скорее пущу себе пулю в лоб, чем перестану драться…»

Комиссар Калнин в связи с отъездом Тухачевского в ставку Муравьева и не зная пока, чем окончится встреча бывшего лейб-гвардия поручика с явно изменившим бывшим подполковником, решительно принял на себя командование 1-й армией, объявил о предательстве главкома и приказал продолжать боевые действия на прежних направлениях.

Не теряли часу и члены Реввоенсовета Восточною фронта — телеграфисты получили из Казани новый текст:

«Вне очереди. Провокационные телеграммы за подписью Муравьева под страхом строжайшей ответственности не принимать и не распространять».

«Москва, Кремль, Ленину… Оперативный штаб, Аралову… Бугульма, Мелекес, Саратов, Пермь… Всем, всем, всом.

Объявляем бывшего главнокомандующего Муравьева, бежавшего сегодня из Казани в Симбирск вместе с народными деньгами, безумным провокатором, изменником революции. Никакой войны Германии Советы не объявляли, о чем он всюду благовестит… Ввиду этой измены, всем соприкасающимся с ним вменяется в обязанность на место пристрелить его, как бешеную собаку — врага Советской России. Меры к изоляции Симбирска приняты.

Революционный военный совет…»

Совет Народных Комиссаров специальным декретом за подписью В. И. Ленина:

> «…Муравьев сбежал из штаба Революционного военного совета в Симбирск и отдал по всем войскам приказ повернуть против немцев, которые будто бы взяли Оршу и наступают на нас. Приказ Муравьева имеет своей предательской целью открыть Петроград и Москву и всю Советскую Россию для наступления чехословаков и белогвардейцев. Измена Муравьева своевременно раскрыта Революционным военным советом…
>
> Сим объявляется по войскам, по Советам и всем гражданам Советской республики:
>
> 1. Немцы нигде на нас не наступают, на немецком

фронте все спокойно.

2. Всякие призывы к наступлению на немецком фронте являются провокацией и должны караться расстрелом на месте.

3. Бывший главнокомандующий… левый эсер Муравьев объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте…»

15. В ЧАС ПОЗДНИЙ

В комнате № 4 собралась большевистская фракция — здесь будет заседать губисполком. А в соседних — № 3 и № 5 — расположилась засада: сто двадцать верных бойцов.

— Товарищ Спирин, — обратился Иосиф Михайлович к коменданту, — откройте кладовую, выдайте все пулеметы… Установите их в третьей и пятой комнатах. А также в зале, через который проходят в четвертую комнату.

Установленные в зале пулеметы накрыли колпаками от пишущих машинок «Ундервуд», чтобы не насторожить проходящих.

Стеклянную часть двери четвертой комнаты завесили газетой, но уголок оставили открытым — вроде по небрежности…

Иосиф Михайлович отдавал последние распоряжения:

— В случае чего — пускай Муравьев явится даже с полусотней — никого не выпускать. Вплоть до… Короче, если потребуется, открывайте пулеметный огонь. Чтобы ни один отсюда не ушел.

— Так ведь и вы под огнем окажетесь.

— Повторяю! Чтобы ни один не ушел!

Он проверил, заряжен ли наган, приоткрыл ящик председательского стола — убедился, что «лимонка» на месте, под рукой, на случай…

Исполнительный Медведь доложил, что все готово. В зале и и комнатах с засадой выключили свет.

Теперь — ждать. Самое томительное…

Наконец послышались шаги, множество шагов. Дверь распахнулась, первым вошел Муравьев, в белом кителе, бодрый, бравым солдатским шагом — ать-два, ать-два! За ним — адъютанты и ординарцы, Клим Иванов, прочие левые эсеры — почти вся фракция.

— А, товарищ Варейкис! — Муравьев подмигнул весело, как ни в чем не бывало. — Рад снова видеть вас. А помните, как мы с вами на Украине воевали?

Понимай как знаешь: то ли вместе против общего врага, то ли меж собой… Не отвечая на заигрывание главкома, Иосиф Михайлович обратился ко всем:

— Рассаживайтесь, товарищи. Теперь все в сборе, кворум есть. Предлагаю не тянуть и начать. А то час поздний.

Муравьев уселся, закинул ногу на ногу, поправил кобуру маузера, положил левую ладонь на эфос шашки, хоть портрет с него пиши. Неторопливо обвел всех взглядом, в глазах —

уверенность победителя.

А вот у Клима Иванова лицо встревоженпое, все время озирается, явно неуютно ему. Неужели что нибудь заметил, проходя через зал? Да, похоже, что-то заподозрил. Вот обратился — не к председательствующему, а как бы ко всем:

— Может, перейдем в другую комнату? А то… тесновато здесь.

— В тесноте, да не в обиде, — отшутился Иосиф Михайлович и, не давая опомниться: — Не будем терять времени. Заседание губисполкома объявляю открытым. Вы знаете, товарищи, положение дел на фронте не может не вызвать беспокойства. Поэтому мы и пригласили сюда главнокомандующего. Предоставляю ему слово для сообщения.

Не снимая левой руки с эфеса шашки, Муравьев поднял правую, как бы требуя внимания.

— Прежде всего, — начал он торжественным тоном, — я должен подтвердить наш лозунг: вся власть — Советам! Но — без большевиков.

— Спокойно! — предупредил Иосиф Михайлович зашумевших товарищей. — Дайте главкому высказаться.

— Да, без большевиков! — продолжал тот. — Потому что Совнарком, возглавляемый Лениным, продал Россию германцам. За сколько — не знаю…

Опять шум, и опять Иосиф Михайлович вынужден вмешаться:

— Где ваша выдержка, товарищи? Продолжайте, Муравьев. И по возможности не отклоняйтесь от повестки. Ближе к делу.

— Ближе некуда! Я обвиняю большевиков в том, что они продали нас германскому империализму. Они поссорили Россию с боевыми союзниками по общей борьбе против кайзера. Все это имеет самое прямое отношение к положению на фронте, о котором я докладываю…

Снова и спова приходилось Иосифу Михайловичу сдерживать нетерпеливых, призывать к порядку. И с каждым разом это становилось все труднее, ибо все труднее было сдерживаться самому.

— Я объявляю прекращение гражданской войны! — витийствовал главком. — Я объявляю гражданский мир! И объявляю всенародную войну против германского империализма, до победного конца! Я призываю весь русский народ прекратить междоусобицу и повернуть штыки против Германии. Я сам поведу наши доблестные войска. Я освобожу Украину и спасу Россию!.. Сейчас мы создали Поволжскую республику. Следующий этап — создание центрального Российского народного правительства…

— В каком составе? — спросили с места.

— В надлежащем составе, — ответил Муравьев. — Новое правительство возглавят левые эсеры. Но все, кто какочет быть с нами, тоже смогут войти туда. А тех, кто против нас, революционный народ сметет со своего пути! Хочу предупредить, что никакого сопротивления мы не потерпим!..

Тут поднялось нечто невообразимое. Один аплодировали, другие стучали кулаками, многие требовали слова. Надо было овладеть положением, утихомирить страсти, во что бы то ни стало. И в то же время нельзя было оставить без ответа беспрецедентную выходку главкома. Иосиф Михайлович вдохнул побольше воздуха и, перекрывая все прочие голоса, зычно крикнул:

— Ти-хо! Сейчас же прекратите! Здесь заседание губисполкома, а не Новгородское вече! Высказываться по одному! Предоставляю слово…

Даже не верилось, что удалось наладить ход заседания. Хотя в любую минуту он мог вновь разладиться. Председатель давал слово попеременно то большевикам, то левым эсерам.

— Кто за народ и революцию, — выкрикивали одни ораторы, — тот пойдет с нами, за Муравьевым!

Авантюристы! — кричала в ответ другие. — Предатели революции!

— Ваш Муравьев — типичнейший бонапартист, а сами вы отъявленные контрики!

Главком теперь помалкивал, сидел все в той же картинной позе, но прежней уверенности во взгляде не осталось. Вертел головой, кусал губы.

Иосиф Михайлович, следя за разгоревшимися прениями и все еще стараясь по возможности сдерживать страсти, в то же время напряженно следил за незакрытым уголком стеклянной двери. Он знал, что, как только она затворилась за вошедшими, гимнастический зал тотчас же заполнился стрелками и пулеметчиками, вышедшими из соседних, третьей и пятой, комнат. Он видел то и дело возникавшее за стеклом озабоченное лицо Медведя. Наконец оттуда послышался нарастающий шум, дверь приоткрылась, там замахали рукой, вызывая председателя. Он встал со своего места и направился к дрери, непринужденно бросив на ходу:

— Продолжайте, я сейчас.

Выйдя в зал, поскорее затворил за собой дверь.

— Ну, что тут за паника?

— Товарищ Варейкис! Сколько можно ждать? Заседаете там…

— Кончай волынку!

— Спокойнее, товарищи! И потише, пожалуйста, спугнете

раньше времени, все поломаете. Где ваша выдержка? Не узнаю!

— Да ведь поймите, товарищ Варейкис! Мы же здесь каждое слово слышим. Как можно терпеть? Только прикажите, мы его кончим!

— Мне терпеть там не легче, чем вам здесь. Но могу я на вас положиться? Мне казалось, что могу…

И еще не раз пришлось вот так же выходить и успокаивать.

Но вот за дверью зашумели громче прежнего. Очередной оратор осекся на полуслове, все обернулись на шум. И не успел Иосиф Михайлович что-либо предпринять, как вскочил с места Клим Иванов:

— Что там за бордель?

И быстро вышел. Через секунду шум за дверьми резко усилился.

— Прошу всех оставаться на местах! — потребовал председатель, торопясь вслед за Ивановым. — Сейчас все выясним.

Не успел он дойти до двери, как оттуда навстречу показался Иванов — на смуглом лице побелевший треугольник вздернутого носа.

— Товарищ Варейкис! Сюда, скорей!

Иосиф Михайлович вышел в зал, спросил недовольно:

— Ну, что опять?

Все поглядывали на Каучуковского, находившегося здесь же в зале. Тот смущенно признался:

— Да понимаете, товарищ Варейкис, этот контрик Иванов к нам выскочил, я и подумал, что неладно там у вас… Ну, и приказал арестовать его…

— Поторопились, явно поторопились. — Иосиф Михайлович вздохнул укоризненно, затем кивнул на зажатого между латышскими стрелками молодого военного: — А этот кто?

— Да из той же компании, — охотно объясняли ему. — Решили задержать.

— Товарищ Варейкис! — взмолился задержанный. — Я адъютант главкома. Принес ему срочные телеграммы на подпись. Распорядитесь, чтобы мне вернули оружие.

— Сейчас разберзмся. Давайте сюда телеграммы, я передам их главкому. А вы пока подождите здесь. — Иосиф Михайлович быстро проглядел телеграммы, тихо присвистнул от изумления, приказал не спускать глаз с адъютанта и вернулся в четвертую комнату.

По встретившим его напряженным взглядам понял, что играть дальше в прятки нет смысла. К окаменевшему главкому теперь вплотную придвинулись три увешанных оружием

телохранителя. Рука самого Муравьева — на кобуре маузера.

— Товарищи! — решительно заявил Иосиф Михайлович, пройдя на свое председательское место, поближе к ящику с «лимонкой». — Разрешите огласить тексты телеграмм главкома… Всем частям… В Лондон… В Париж… Вот так! Теперь вам ясно, что главком Муравьев перешел от слов к делу. Теперь вам понятно, почему был блокирован губисполком, почему арестованы наши товарищи. Теперь не может быть сомнений, что главком Муравьев не за революцию, как он уверяет, а против нее. Это не что иное, как бонапартистская попытка задушить революцию, опираясь на ею же порожденные силы. Это неслыханное предательство! Не обольщайтесь, Муравьев, — мы не за вас, мы против вас! Мы будем с вами бороться!

Муравьев, побледневший, молчал. Его телохранители растерянно озирались. Раздался голос с места:

— Фракция левых эсеров требует объявить перерыв! Это наше право! Мы должны посовещаться.

Их здесь было большинство, левых эсеров.

— Хорошо, — неожиданно для них согласился председательствующий, не отрывая взгляда от Муравьева. — Объявляется перерыв в заседании.

Муравьев встал — правая рука на раскрытой кобуре маузера — и впился в председателя бешеными, ненавидящими глазами. Иосиф Михайлович тоже глядел в упор. Они уже играли однажды в такие вот «гляделки», еще при первой своей встрече в Харькове. Что ж, сейчас выяснится, чьи нервы крепче.

— Ну, мне тут больше делать нечего, — процедил наконец главком. — Все ясно! Пойду успокою отряды.

Он повернулся и, придерживая шашку, направился к закрытой двери — своим бравым солдатским шагом. Ать-два, ать-два… Телохранители — за ним, вплотную.

В незакрытом углу дверного стекла виднеется выжидающее лицо Медведя. Рука Муравьева снимается с кобуры и тянется к ручке двери… Пора! Иосиф Михайлович делает условное движение — лицо Медведя тотчас исчезает: сигнал принят!

Не успевает Муравьев взяться за ручку — дверь сама распахивается. Навстречу главкому — недобрые глаза, наставленные стволы, штыки.

— Вы арестованы!

— Ка-ак?! — Муравьев, отпрянув, мгновенно выхватывает маузер. — Провокация?!

Руку главкома с маузером успевает перехватить силач Медведь. Тогда другой своей рукой, свободной, Муравьев вмиг достает короткоствольный браунинг и открывает огонь. Кто-то

вскрикивает. Несколько выстрелов раздаются одновременно, с обеих сторон, и тут же прекращаются.

Иосиф Михайлович видит, что Муравьев упал — поперек порога. Из-под коротко остриженной седоватой головы, огибая свалившуюся фуражку, выбегает и бесцельно торопится темный ручеек. Цвета вишневой наливки.

16. ВЫДЕРЖКА

Трудно сказать, сколько длилось оцепенение. Только что — многоголосый шум, стрельба… и — тишина неживая.

Нагибались над лежащим в дверях, переглядывались потрясенные. Послышались первые голоса, все шепотом:

— Убит!

— Какого человека убили…

— Он бы все равно живым не дался…

Иосиф Михайлович взял себя в руки, выбежал в зал, минуя лежащего на пороге и стараясь не глядеть на прекративший свой бесцельный бег вишневый ручеек.

Перед ним расступились. Вокруг — белые лица, напряженные глаза. Многие отвернулись.

Заставил себя заговорить, получилось слишком даже гулко — то ли не овладел голосом, то ли в тишине так прозвучало:

— Товарищи! Слушайте меня… Как бы ни были неожиданны… как бы ни были для многих тяжелы эти моменты… Но мы не должны… мы обязаны владеть собой! И довести начатое до конца! Обязаны!!

Последнее слово крикнул на весь зал — и те, кто поначалу отвернулся, чтобы не глядеть на мертвое тело, обратились теперь к говорившему.

— Сейчас, — несколько спокойнее, но все еще громко, продолжал Иосиф Михайлович, — ввиду серьезности положения мы должны действовать. Поэтому еще раз призываю к порядку! К выдержке! К дисциплине! Командование в Симбирске беру на себя. Приказываю… Раненые есть? Окажите им немедленную помощь, после доложите о состоянии каждого. Часовые, по местам!..

Он не был уверен, не знал, как воспримутся его слова. Не успел даже толком подумать об этом. Сказал, как сказалось. Ничего другого сейчас все равно сказать не смог бы. Но увидел: его не просто слушали — послушались! Увидел, как засуетились вокруг нескольких бойцов санитары с красными крестами на сумках, как заторопились на свои оставленные посты часовые с трехлинейками.

Значит, сказал то, что нужно было сказать. Значит, люди ждали именно этих слов, желали услышать именно такие слова. И потому послушались. И пойдут за ним.

Иосиф Михайлович видел, чувствовал, что от него ждут новых, дальнейших распоряжений, что готовы беспрекословно выполнить любой его приказ. У него не было опыта

командования. Тухачевского бы сюда! Но где сейчас Тухачевский, жив ли?.. А медлить, колебаться нельзя, ни в коем случае. Осознавая это, Иосиф Михайлович отдает одно распоряжение за другим. Четко, уверенно. Никто ни на миг не должен ощутить ни сомнений, ни колебаний того, кто командует.

Он приказывает занять все выходы из здания. Он слышит, как повторяется и передается команда. Видит, как бегом направляются к выходам группы красноармейцев, как укатывают в разных направлениях пулеметы.

Интернационалисту Раису он приказывает незамедлительно приступить к разоружению частей, оставшихся мятежными. Подтянутый Раис козыряет изящно и с мадьярским акцептом откликается:

— Разрешите приступить к исполнению?

— Приступайте!.. А вы, товарищ Предит, — обращается Иосиф Михайлович к командиру второй роты латышских стрелков, — возьмите на себя руководство обороной нашего здания. Если нападут…

— Слушаюсь! — охотно и деловито отвечает Предит, тоже козырнув, и добавляет как бы лично от себя: — Не сомневайтесь, товарищ Варейкис, долг свой мы выполним. Враги сюда не ворвутся, не допустим.

Иосиф Михайлович выходит на лестничную площадку второго этажа. И здесь видит перед собой Сашу Швера.

— Воззвания отпечатаны. — Швер протягивает пачку листовок. — Эти экземпляры пусть будут у тебя, пригодятся.

— Молодец, Саша! Наладь распространение.

Перейдя затем в комнату парткома, Иосиф Михайлович продолжал работать там. К тому времени члены фракции левых эсеров, потрясенные и напуганные, заявили о своей лояльности. А члены большевистской фракции спешно направились в части гарнизона — разъяснить обстановку, С одним из них Иосиф Михайлович передал записку тем самым матросам-анархистам, которых освободил из-под ареста Муравьев, — предложил им немедленно перейти на сторону Советской власти либо добровольно сдать оружие.

Услышав донесшийся из коридора топот многих ног, Иосиф Михайлович схватил стоявшую в углу винтовку и поспешил туда. За ним — Саша Швер и Каучуковский. В коридоре они увидели широкие спины латышей-красноармейцев, тщетно пытающихся удержать ворвавшуюся в здание толпу матросов. Искаженные злобой лица, маузеры и гранаты в руках. Как удалось им прорватьел? Есть ли жертвы? Что произойдет через секунду?

С винтовкой наперевес, готовый ко всему, Иосиф Михайлович

встал перед матросами и возмущенно крикнул:

— Стой! Кто дал вам право?! Кто дал вам право вламываться… в таком виде… сюда?! В Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов?! Кто привел вас? Где эти провокаторы? Пусть выйдут вперед! Нечего им прятаться за ваши спины!

Матросы, ошарашенные внезапным и решительным отпором, оружие убрали, остановились. Один из них спросил:

— Кто убил Муравьева?

— Почему убили главкома? — раздались следом другие голоса. — Где тело главкома?

— Он уже не главком, — ответил Иосиф Михайлович, теперь без крика, но достаточно громко. — Он оказался предателем революции. И за предательство должен был отвечать. Но оказал сопротивление…

— Кто же теперь главком?

— Командование я принял на себя. Пока не назначат нового.

Кто-то из матросов оторопело присвистнул.

— Приказываю, — продолжил Иосиф Михайлович, — немедленно вернуться в свое расположение. И ждать моих дальнейших указаний. Приказываю именем революции!

Матросы, судя по всему, были в шоке. Переглядывались недоуменно. Из их рядов вышел один, самого лихого вида, и отнюдь не лихо заявил:

— Извините, товарищ! Нас ввели в заблуждение. Не знали…

— Вы эсер или анархист? — прервал его Иосиф Михайлович.

— Лично я большевик. У нас в отряде не только я.

— Выведите отряд из здания и ждите распоряжений.

Уходили матросы тихо. К счастью, инцидент погас и обошелся без жертв.

Одна за другой прибывали теперь делегации из разных частей гарнизона — все с одним и том же вопросом:

— Где Муравьев, что с ним?

Иосиф Михайлович снова и снова терпеливо сообщал об измене и гибели бывшего главкома, раздавал отпечатанные Швером воззвания.

И наконец — первая в эту невероятную ночь целительная радость! В кабинет вошел молодой командир с осунувшимся красивым лицом, по-прежнему подтянутый. Иосиф Михайлович бросился к командиру, они крепко пожали друг другу руки, затем, помешкав недолго, обнялись.

— Михаил Николаевич! Живой…

— Как видите.

— Вижу, вижу… — других слов у Иосифа Михайловича в ту

минуту не нашлось. Он еще раз обнял Тухачевского, усадил, распорядился принести чаю — покрепче.

Сначала Тухачевский коротко поведал о своих приключениях, затем выслушал обстоятельный рассказ о происшедшем здесь и, вздохнув, заметил:

— Жаль, не было меня с вами в эти минуты.

— Зато теперь вы с нами. И я рад сдать вам командоваиие, которое принял на себя. Я ведь не военный, но не было другою выхода.

— Никакой военный не распорядился бы лучше, — позразил Тухачевский. — Продолжайте командовать. И считайте, что я прибыл в ваше распоряжение. Приказывайте!

— В таком случае. — Иосиф Михайлович впервые за эту ночь улыбнулся. — В таком случае приказываю: принять командование фронтом!

— Без приказа из Москвы? Нет, не могу.

— Понимаю, Михаил Николаевич. Но ведь и я без приказа из Москвы не могу. Как же быть?.. Вот что! Москву запросим, а пока приступайте к временному исполнению обязанностей главкома.

Тухачевский согласился и, снова вздохнув, повторил упрямо:

— А все же жаль, что не был я здесь с вами.

— Не переживайте, Михаил Николаевич, вы и так немало помогли нам. Во всяком случае, с вашим приходом в 1-ю армию она стала для нас надежной силой. Поверьте, это сказалось и на нашей борьбе. И еще скажется — в предстоящих боях, где вас еще ждут многие славные победы. А за эти сутки вы, судя по всему, тоже одержали немаловажную победу. Не мастерством полководца, но мастерством агитатора.

— Так и вы, Иосиф Михайлович, тоже победили оружием агитации…

— Ну да, «кукушка хвалит петуха»…

Оба рассмеялись, чувствуя — после всего пережитого — душевное облегчение.

— А электричество, пожалуй, можно выключить. За окном совсем светло.

На стеклах множества высоких окон бывшего Кадетского корпуса, на золоченых куполах Троицкого собора и Покровского монастыря, в чистых волнах Волги и Свияги, в тихой воде озер и стариц левобережья — всюду отразился ясный лик возвращающегося в город солнца. И где-то на Венце, в непроглядной листве вековых деревьев, то здесь, то там подавали голос пробудившиеся зяблики: «Цив-цив-цив-чицив-чивичиу!»

Эту концовку их песни знатоки называют «росчерком». И теперь, азартно соревнуясь меж собой, птицы своими звонкими

«росчерками», казалось, торопились возвестить рождение нового дня.

17. КОМЕНДАНТ ПОСЛЕДНИМ ПОКИДАЕТ ГОРОД

«Из Симбирска… Срочно. Москва. Председателю Совнаркома Ленину, ЦИК, ЦК большевиков.

В 9 часов вечера 10 июля главнокомандующий… Муравьев, приехав с уфимскими отрядами, оцепил броневиками Совдеп, арестовал часть членов Совдепа, мотивируя арест тем, что он… объявляет войну с Германией. Он собрал находящиеся части в Симбирске и призвал последние идти с ним на Германию, а гражданскую войну прекратить. Рассматривая это как контрреволюционное выступление и измену Советской власти, несколько человек, членов нашей партии, приняли все меры, чтобы навербовать в муравьевских частях сторонников, дабы арестовать Муравьева. Для этого были приглашены на конспиративное заседание представители из частей, подчиненных Муравьеву. После информации им о положении и выяснения по существу смысла заговора представители в большинстве заявили, что являются сторонниками, защитниками Советской власти. Они присоединились к нам. После этого были нами приняты все меры к аресту. В три часа ночи Муравьев пришел на заседание губисполкома вместе с фракцией левых соц. — рев. и предложил присоединиться к нему. Большевики заявили, что будут бороться против Муравьева. После такого решительного протеста, вынесенного нами, и после того, как был оглашен на заседании ряд фактов, показывающих, что Муравьев дал уже распоряжение, чтобы оголив фронт, среди эсеров, составлявших большинство, наступило замешательство и они потребовали перерыва для обсуждения положения во фракции. После этого Муравьев заявил, что ему нечего больше присутствовать, его дело сделано, и он направился к двери. Уполномоченный для ареста Муравьева из отряда заявил от нашего имени, что он арестован. Муравьев начал стрелять, одного ранил в этой перестрелке. Муравьев оказался убитым. Большевистская партия заявляет, что, как ни опасна была эта задача, она с честью ее выполнила перед пролетариатом и революцией. На фронте снова установился образцовый порядок, части

возвращены на позиции обратно. Временным главнокомандующим армии Восточного фронта нами назначен Тухачевский.

Член областного Бюро ЦК РКП (б) Юга России товарищ Председателя Симб. губисполкома и председатель комитета большевиков

Варейкис».

Редактировать, «причесывать» текст не было ни времени, ни сил: позади — бессонная трудная ночь, впереди — дел невпроворот. Некоторые подробности пришлось затем уточнить. За своей подписью Иосиф Михайлович отправил еще одну телеграмму:

«Москва, Совнарком Ленину, ВЦИК Свердлову.

Сообщаю, что Муравьев убит во время ареста, ввиду оказанного им сопротивления; он первый выстрелил и ранил трех, после чего он был убит. Левые эсеры с начала заседания исполкома определенно, целиком, всей фракцией, поддерживали Муравьева и предлагали объявить, соединившись с Самарой, Поволжскую республику, но, получив решительный отпор фракции коммунистов, по предъявлении телеграмм, разосланных Муравьевым об отходе войск с позиций в Симбирск, Казань и Вятку, смутились, потребовали перерыва для фракционного совещания. Муравьев, видимо не ожидавший такой решительной оппозиции, заявит: для него вопрос почти ясен и он пойдет успокоить части солдат. В дверях при выходе из комнаты заседаний ему заявили, что он арестован; остальное известно. После этого фракция левых эсеров растерялась и заявила, что идет с нами и будет исполнить свои обязанности. Имея в виду, что командование и военный комиссариат в Симбирске сосредоточии был преимущественно у них, мы решили временно оставить их на месте, чтобы резкая перемена не отразилась на фронте пагубно. А в настоящий момент с ответственных мест мы их будем постепенно устранять. Сызрань была взята белогвардейцами ввиду халатного отношения Муравьева. В Ставрополе положение благоприятное. Бугульма в наших руках, враг потерпел большой урон. Сызрань взята вчера утром…»

И не раз еще в эти дни приходилось Иосифу Михайловичу подписывать документы, например:

«Приказ № 1.

Чрезвычайного коменданта города Симбирска.

На основании постановления Губернского Исполнительного Комитета… я вступил в обязанности Чрезвычайного Коменданта города Симбирска.

Именем Исполнительного Комитета призываю всех, кому дорога революция, сплотиться вокруг Советской власти и встать в ряды борцов с обнаглевшей контрреволюцией для защиты революции и всех революционных: завоеваний.

Заявляю, что всякие попытки контрреволюционеров и белогвардейцев поднять голову будут немедленно пресекаться самыми решительными мерами.

Все сеющие ложные слухи и ведущие агитацию против Советской власти объявляются врагами народа, вне закона.

Чрезвычайный Комендант города Симбирска

И. Варейкис

Помощники *Цыганков*

Райс».

Новым главкомом фронта Совнарком назначил Вацетиса — испытанного командира латышских стрелков, проявившего себя при ликвидации левоэсеровскою мятежа в Москве. Командармом-1 остался Тухачевский.

И все же последствия деятельности Муравьева трудно было ликвидировать в столь сжатые сроки. Не так-то просто было сразу же восстановить разлаженную систему управления частями, преодолеть резко усилившееся недоверие к бывшим офицерам. Все это не могло не сказаться на ходе военных действий. Еще не кончился июль восемнадцатого, когда в Симбирске нослышались знакомые Иосифу Михайловичу звуки, и он тотчас вспомнил, как приближалась канонада к Харькову… Но здесь, в Симбирске, ситуация была иной, здесь нечего было рассчитывать на железную дорогу, вся надежда была на водный путь.

Иосиф Михайлович поспешил на пристань. Худшие его опасения оправдались: застал суматоху и неразбериху. Еще немного — начнется паника, и тогда… Он незамедлительно вмешался, пытаясь хоть как-то руководить погрузкой и наладить порядок. Сорвал голос…

Лишь после того, как все суда отчалили и двинулись вверх по течению, Иосиф Михайлович, вслед за товарищами, ступил на качающуюся палубу старенького пароходика «Стрежень»,

уходившего последним.

Капитан последним покидает корабль? Нет, все наоборот: Чрезвычайный комендант последним всходит на корабль. Комендант последним покидает город.

В пути предстояло еще одно испытание.

Впереди шел пароход «Купец», размеренно шлепая по воде лопастями больших колес. И там, на «Купце», началась «буза». Кто-то пустил провокационный слух, будто Варейкис для того лишь следует на замыкающем судне, чтобы затем поотстать и продаться белым. Для чего он якобы прихватил с собой немало золотишка.

Иосиф Михайлович принял решение. Как ни предостерегали товарищи, как ни отговаривали, он отправился на «Купец». Один — таково было его непременное условие.

Там растерялись, послышались удивленные возгласы:

— Гляди, братишечки, сам Варейкис!

— А говорили…

— Созывайте митинг! — потребовал Иосиф Михайлович, ступив на палубу «Купца». Он поднялся на несколько ступенек, ведущих к капитанскому мостику, и, стиснув челюсти, ждал, угрюмо поглядывая, как собирается вокруг вооруженная толпа. Как только собрались, крикнул злым голосом:

— Всем меня видно? Всем слышно? Так вот что я вам скажу! Если Варейкис — предатель, то каждый из вас имеет сейчас возможность застрелить его. А если Варейкис к тому же еще и дурак, то каждый может в этом убедиться. Потому что только круглый идиот, имея прикарманенное золото и собираясь перекинуться к белым, прибыл бы к вам один и подставился под ваши пули!

Кто-то засмеялся в толпе, но большинство молчало. А Иосиф Михайлович, заметив несомненное замешательство, продолжал:

— Так кто из вас считает меня дураком? Нету таких? Что ж, и на том спасибо. Но и я вас дураками не считаю. Тогда кто считает меня предателем? Пусть выйдет! Пусть выйдет сюда перед вами, открыто, как вышел я. Пусть поглядит мне в глаза, как я гляжу в ваши глаза! И пусть докажет вам всем, что Варейкис — предатель! И вы сами тогда решите; с кем из нас двоих как поступить!..

С «бузой» было покончено. Без единого выстрела. Иосиф Михайлович возвратился на «Стрежень», где его ждали встревоженные товарищи…

Спустя несколько месяцев Иосиф Михайловна получит письмо от своего боевого друга Тухачевского, где будет сказано:

«Открыто говорю, что дело создания 1-й армии и изгнания

контрреволюции никогда не могло бы осуществиться, если бы Симбирский комитет партии и исполком не пришли бы на помощь… Товарищ Варейкис, я смотрю на вашу деятельность и деятельность партии при защите Симбирска, как на блестяще выполненную работу, послужившую общегосударственным опытом…»

18. ПРИЧАСТНОСТЬ

Когда части 1-й армии вступили в Симбирск, среди ехавших на утомленных конях командиров можно было увидеть одного, сероглазого и черноусого, такого же обветренного и запыленного, как остальные. Но, в отличие от остальных, он держал повод не левой, а правой рукой, и повод был не пропущен меж пальцами, как положено, а замысловатым образом намотан на неподвижную черную перчатку. Шашка почему-то не у левого, а у правого бедра, и кобура не на месте.

Растолкав толпу встречающих, выбежала на мостовую молодая женщина, бросилась к всаднику. Командир придержал коня, наклонился к ней…

За месяцы отсутствия Мирона Яковлевича немалые перемены произошли в его семье.

Умер Илья Львович, так и не оправившийся после пережитого в Киеве потрясения. Последними его словами была просьба похоронить у Днепра. Бедный старик давно уже потерян чувство реальности.

Асин муж ушел с белыми. Этот человек никогда не внушал доверия Мирону Яковленичу. Молодец Ася, нашла в себе силы остаться…

Ночь он провел дома. Наутро вернулся в часть. Здесь тоже был теперь его дом, здесь тоже быта его семья.

Пройдет время — Черкасский узнает о словах Ленина:

«Нам изменяют и будут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их вылавливать и расстреливать, но у нас работают систематически и подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из проклятой памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы на востоке…»

Вот так совершается исторический процесс, подумает, узнав об этих словах, красный комроты Черкасский. И ощутит свою причастность к этому процессу. Наконец-то! После стольких сомнений и колебаний. Быть может, непростительно долгих. Когда же наступил конец его бездействию? Летом восемнадцатого года. Когда слонялся бесцельно по иссушенному зноем Симбирску и прочитал прикрепленную к стене одного из домов бумагу:

«Приказ
по 1-й Восточной армии

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика переживает тяжелые дни, окруженная со всех сторон врагами… Долг каждого русского гражданина взяться за оружие и отстоять государство от врагов, влекущих его к развалу.

Для создания боеспособной армии необходимы опытные руководители, а потому приказываю всем бывший офицерам, проживающим в Симбирской губернии, немедленно встать под красные знамена вверенной мне армии.

Сегодня, 4 сего июля, офицерам, проживающим в городе Симбирске, прибыть к 12 часам в здание Кадетского корпуса ко мое.

Неявившиеся будут продаваться военно-полевому суду.

Командующий 1-й Восточной армией

Тухачевский

Товарищ Председателя Симбирского Губернского Исполнительиого Комитета

Иосиф Варейкис

4 июля 1918 года

г. Симбирск».

Варейкис?.. Не тот ли интеллигентный большевик из рабочих, который так понравился Мирону Яковлевичу еще в Екатеринославе? Если так, то какими судьбами занесло его за тридевять земель от Украины? Впрочем, когда война и революция — подобные переброски не такая уж редкость.

— Уверяю вас, Мирон Яковлевич, — заявил с присущим ему апломбом в тот же вечер Асин муж, — это ловушка. Хитрая ловушка, придуманная неглупыми людьми. Вникните! Кто не явится, того предадут военно-полевому суду. Который, как известно, милосердием не отличается. Кстати, вы уже опоздали явиться в назначенный срок. А кто явится, тот сам сунет голову в петлю силка. Не сомневаюсь, что все это затеяно, дабы выманить так называемых классовых врагов из их нор и убежищ, а затем уничтожить. Ловко затеяно, ничего не скажешь!

— Что же делать? — Неля заломила руки. — Мирон, милый, не ходи… Спрячься, скройся где-нибудь…

— Не надо отчаиваться, — утешал юрист. — В конце концов, Мирон Яковлевич увечный, а с увечного спросу нет. Хотя для господ большевиков правовые нормы и элементарные понятия гуманности не что иное, как всего-навсего пережитки проклятого

дореволюционного прошлого… И все же не отчаивайтесь! Если вы, дорогой родственник, измените своей привычке всюду лезть на рожон и тихо пересидите здесь, дома…

Если бы не присутствие женщин, с каким удовольствием ответил бы тогда Мирон Яковлевич на эти высокомерные поучения! По-фронтовому бы ответил.

Неля допоздна проплакала, все умоляла его:

— Не ходи! Подумай о нас, обо мне…

Он думал. Всю ночь думал.

Встал раньше всех. Неля не проснулась, только забормотала что-то нежное и жалобное, повернулась на другой бок, всхлипнула. Он тихо вышел из дома и решительно направился в центр города, к кадетскому корпусу.

В кабинете, куда его направили, увидел двоих.

Один сидел за столом. Выгоревшая гимнастерка с темными следами от погон перехвачена ремнями. Черты лица благородные, глаза красивые. На столе перед ним — бумаги, два карандаша, воткнутая в чернильницу ручка, пара коричневых перчаток и непривычного вида матерчатый шлем с нашитой пятиконечной звездой. Мирон Яковлевич решил, что это, судя по всем признакам, и есть командарм Тухачевский.

Другой, тоже в гимнастерке, но без портупеи, стоял рядом с командармом, опираясь на спинку его стула. Похоже, зашел сюда из другого кабинета. Темно-русые волосы, крепкие скулы, чуть длинноватый нос и внимательный, несколько исподлобья, взгляд, темно-синий, как вечернее небо. Сомнений не осталось: тот самый Варейкис, из Екатеринослава!

— Разрешите? — спросил с порога Мирон Яковлевич и, увидя кивок командарма, шагнул к столу. Молча достал левой рукой из правого кармана своей гимнастерки документы, молча протянул их. Готовый ко всему.

— А ведь мы с вами знакомы. Если память не изменяет, товарищ Черкасский? Здравствуйте, рад вас видеть. — Варейкис улыбнулся приветливо и, обратившись к заинтересованно воззрившемуся Тухачевскому, пояснил: — Был у нас в Екатеринославе инструктором красногвардейцев… Вы присаживайтесь, товарищ Черкасский.

— Садитесь, — подтвердил Тухачевский и протянул ему документы обратно. — Возьмите ваши бумаги. Вы, насколько я понял, явились, прочитав приказ?

— Так точно. Прошу извинить за опоздание.

— Не беда, — командарм усмехнулся полевым ртом. — Многие опоздают… Но вы-то имели право вообще не явиться. Где были ранены?

Мирон Яковлевич коротко назвал место и время.

— Мы, семеновцы, стояли севернее, — отозвался Тухачевский, вздохнул сдержанно, и тут же спросил в упор:

— Желаете служить в Красной Армии?

— Так точно! — выпалил, вскочив со стула, Мирои Яковлевич и почувствовал, как сорвалось с ритма сердце, заскакало галопом, ударяя под самое горло.

Вот и все. Рубикон перейден. Мосты сожжены.

— Да вы сидите, сидите же, — мягко настоял Тухачевский. — И не волнуйтесь так, не торопитесь отвечать. Может, подумать надо, с семьей посоветоваться?

— Раздумывал предостаточно, товарищ командарм.

— Значит, решили окончательно? — спросил Варейкис. — И бесповоротно?

— Так точно.

— А стрелять как же сможете? — усомнился Тухачевский, кивнув на черную перчатку.

— Могу левой, товарищ Варейкис подтвердит. И даже писать ею научился.

— Ну, вы молодчина! Не знаю, придется ли вам часто стрелять, но писать… Мне в штаб армии более двухсот грамотных офицеров требуется.

— Я ведь не штабист, — заметил Мирон Яковлевич. — Я строевик.

— Строевик… А мне в штабе, полагаете, строевики не нужны? — командарм протянул листок анкеты. — Вот, заполните, пожалуйста. Прямо сейчас, здесь пристраивайтесь. Стол большой, места хватит. Ручку возьмите.

— И не торопитесь, — добавил Варейкис.

Мирон Яковлевич принялся заполнять анкету. Спокойно стало ему с этими людьми. Угомонилось сердце. После долгой отлучки возвращалось душевное равновесие.

Нацарапав кое-как, отдал анкету Тухачевскому.

— Скажите откровенно, товарищ Черкесский, — спросил тот. — Вас что-нибудь смущает в предстоящей службе? Не стесняйтесь. Лучше сейчас поставить все точки над «и», чем после выяснять отношения.

Мирону Яковлевичу такая постановка вопроса импонировала. И он охотно откликнулся, не финтя:

— Смущает, товарищ командарм. Как отнесутся в Красной Армии к бывшему золотопогоннику? Согласитесь, нелегко воевать, когда свои же смотрят косо.

— Согласен, это тяготит. Понимаю вас. Я сам ведь в прошлом офицер и не раз испытал на себе… Но мы с вами должны понять,

что доверие по щучьему велению не возникает. Его надо заслужить. Завоевать! А чем? Честностью, прежде всего. Затем знанием своего дела, служебного долга. Мужеством, конечно, но не только. Еще и умением сражаться, умением побеждать противника. И наконец, заботой о солдате. Уважением человеческого достоинства в солдате. А солдатская душа чуткая. И справедливая. Она оценит и отзовется…

Это Мирон Яковлевич знал, не раз сам убеждался.

— Я рад, что вы снова с нами, — сказал на прощание Варейкис. — Снова и, надеюсь, окончательно. Откровенно говоря, давно пора было.

— Судьба, — пожал плечами Мирон Яковлевич, не найдясь.

— Судьба? — Варейкис покачал головой. — Нет, я не фаталист. Судьбу, товарищ Черкасский, надо подчинять себе. Что, не согласны?

Мирон Яковлевич тогда не ответил, смолчал. Не сумел бы он, пожалуй, ответить и сейчас, месяцы спустя. Порой казалось, что не попадись ему под тем приказом знакомая фамилия… Впрочем, заниматься самокопанием нынче недосуг. Он теперь причастеи к таким событиям, к такому делу, которое времени на самокопание не оставляет..

ЭПИЛОГ

После гражданской войны Мирон Яковлевич увидел Варейкиса снова лишь в 1923 году, в Киеве. В огромном, как городская площадь, цехе «Арсенала».

Легендарному заводу вручался орден Трудового Красного Знамени республики. Цех был полон: кроме самих арсенальцев здесь присутствовали также делегации от предприятий Киева и воинских частей округа. В составе делегации от 14-го стрелкового корпуса прибыл сюда и командир Черкасский.

На трибуне он увидел своего комкора Якира — молодого, оживленного, любимца красноармейцев и киевлян. Тут же — богатырская фигура другого прославленного комкора — Котовского. Оба о чем-то переговариваются с двумя партийными руководителями. В одном из них Мирон Яковлевич узнал Постышева, а другой… Твердые скулы, жесткие усики… Не было ведь усиков! И волосы короче вроде. Но глаза… глаза остались такими же — цвета вечернего неба. Да, это, несомненно, он! Секретарь Киевского губкома партии Варейкис.

Чем-то схожи лица стоящих на трибуне. Прически, усики? Нет, не у всех ведь усики, Якир — безусый… Так что же? Глаза, быть может? Да, глаза! У Варейкиса темно-синие, у Якира карие — не в цвете дело. Но у всех одинаково честные, одинаково трезвые, чистые. С волевым прищуром, но никакой сановности во взоре. Ясная мысль и честная душа — вот что рсднит их меж собой.

Орден прикрепляется к боевому знамени арсенальцев, Мирон Яковлевич вместе со всеми аплодирует — похлопывает левой ладонью по правой черной перчатке. Вместе со всеми кричит «ура!», вволю, во всю силу голоса, как бывало в атаках.

Возникает желание подойти после торжества к секретарю губкома партии и обратиться: «Здравствуйте, товарищ Варейкис! Помните ли вы прапорщика-левшу, обучавшего ваших красногвардейцев в Ёкатеринославе и явившегося по приказу в Симбирский губиснолком?» Может, вспомнит?..

Так пересекаются порой на путях и распутьях Истории судьбы разных людей. Казалось бы, случайно. Но все же — закономерно…

Один из командиров 14-го корпуса рассказал потом Мирону Яковлевичу, что столь заинтересовавший его нынешний секретарь Киевского губкома партии был перед тем еще некоторое время вожаком симбирских большевиков, а затем работал в Баку. Но каких-либо подробностей к своему рассказу товарищ добавить не

мог. А поведать о них хотя бы вкратце следует. Посему — оставив Черкасского служить в Киевском военном округе — сосредоточим наше внимание на судьбе Варейкиса.

Вернувшись осенью 1918 года в освобожденный Красной Армией Симбирск, Иосиф Михайлович продолжал возглавлять организацию местных большевиков. В суровую зиму на стыке 1918 и 1919 годов — вместе с Гимовым и другими товарищами — он жил в двухэтажном домике на Дворцовой улице. Жили скромно и дружно, своеобразной коммуной. А когда кончилась суровая зима, Иосиф Михайлович отправился в Москву — делегатом VIII съезда РКП (б), где выступил в прениях по докладу Ленина.

Осенью того же девятнадцатого года Варейкиса свалил сыпняк. С отросшими едва ли не до плеч темно-русыми кудрями пришлось расстаться, теперь в его облике ничто больше не напоминало разночинца-шестидесятника либо художника…

Кончилась гражданская война, но борьба за новую жизнь только начинались, и — как прежде — мы встречаем Варейкиса там, куда считает нужным направить его партия.

В 1921–1923 годах он — заместитель председателя Бакинского Совета.

Когда в одну из теплых весенних ночей местные эсеры подожгли Сураханские нефтепромыслы — в первых рядах борющихся с огнем можно было увидеть почерневшие от копоти лица Кирова и Варейкиса. Такие люди всегда находили себе место там, где трудно и опасно. Там, где жарко, а не там, где тепленько… И видя рядом с собой, а то и впереди себя своих руководителей, люди становились еще самоотверженнее и сильнее. Ибо не зря издавна говорится, что добрый пример — лучшая проповедь.

В Вану тех дней одной из острейших была проблема городского транспорта. Восемнадцать лет дебатировалась она в дореволюционной городской управе. Давно устаревшая и явно не справлявшаяся с возросшими требованиями и нагрузками конка, ее неуклюжие вагончики то и дело сходили с рельс, проложенных еще в 1910 году, потешая и развлекая уличных зевак. За решение этой проблемы — проблемы доставки бакинцев на работу и с работы — принялся заместитель председателя горсовета.

Наукой хозяйствования Иосиф Михайлович овладевал в деле, времени на предварительную и обстоятельную учебу отпущено не было. Десять дней, не поднимая головы, просидел он в Михайловской библиотеке города, штудируя все имеющиеся в ней пособия по финансированию.

Удалось составить тщательно продуманный бюджет

городского хозяйства. Тогда же и затеял Варейкис пуск трамваяя — первого в Баку и вообще первого при Советской власти. Затею поддержал Киров. И, заручившись этой поддержкой, Иосиф Михаилович отправился в Москву — на переговоры с частными фирмами, еще не вытесненными на первых порах государственным сектором. Представители фирм заломили такую баснословную цену, что Варейкис предпочел от столь дорогих услуг отказаться. И принял дерзкое решение: строить трамвайную линию своими силами. Решение это поддержал Совнарком и отпустил на его осуществление полмиллиона рублей. Среди бакинцев были распространены облигации шестинроцентного выигрышного займа. Удалось привлечь опытного инженера Радцига, которому уже доводилось сооружать трамвайные линии — в Воронеже и Царицыне. Он и взялся возглавить работы.

«Бакинский пролетариат, — обращался Варейкис к рабочим, — будет первым… который построит трамвай при Советской власти собственными внутренними силами на своих собственных заводах». Года не прошло — и трамвай был пущен. Ликующие бакинцы отныне шутливо величали Иосифа Михайловича «товарищем Трамвайкисом».

Там же, в Баку, Иосиф Михайлович познакомился с Любой — молодым инструктором горкома партии. Это великое счастье, когда взаимное чувство укрепляется и дополняется общностью идеалов, мировоззрения и мировосприятия… Варейкис стал отцом семейства. И отныне всегда, до конца, в победах и бедах, рядом с ним будет Любовь Григорьевна — близкий человек, верный друг и единомышленник…

После Баку Варейкис был секретарем Киевского губкома партии — тогда-то и повстречал его на митинге в стенах легендарного «Арсенала» красный командир Черкасский…

Несколько месяцев 1924 года Варейкис — на посту секретаря ЦК Компартии Туркестана.

С октября 1924-го по январь 1926 года он заведует отделом печати ЦК РКП (б) и является ответственным редактором журнала «Красная печать». Иосиф Михайлович встречается и беседует с Дмитрием Фурмановым, Демьяном Бедным, Михаилом Кольцовым и другими советскими писателями. Он крепко подружился с Александром Серафимовичем.

И снова партийная работа на местах: Варейкис — последовательно — секретарь Саратовского губкома, Центральночерноземного и Воронежского обкомов, Сталинградского и Дальневосточного крайкомов ВКП(б). Будучи секретарем обкома партии Центральночерноземной области, он вносит немалый личный вклад в освоение неоценимых богатств

Курской магнитной аномалии. Не без его участия строится Сталинградский тракторный, организовываются первые колхозы, подготавливается текст Конституции СССР…

Вот, в середине тридцатых годов, встреченный овацией, поднимается он на трибуну и говорит о задачах Сталинградского края. Над притихшим залом звучит знакомый каждому из собравшихся голос партийного вожака — спокойный без благодушия, уверенный без бахвальства, порой немного ироничный.

Нетерпимый к любым проявлениям разгильдяйства и анархии, Варейкис видел одну из важнейших задач в повсеместном и всестороннем укреплении социалистического государства.

— Надо самым решительным образом, — настаивал он, — бороться против всякой болтовни о наступившем якобы отмирании государства. Это вреднейшая политическая ошибка!

Он был чужд какой бы то ни было национальной ограниченности. «…Изживание национального недоверия, — писал он, — есть необходимое условие установления межнационального мира». Сын Литвы, последовательный ленинец-интернационалист, Варейкис стал верным сыном России, а когда потребовалось — с присущей ему беззаветностью отдавал все силы души и разума народам Украины, Азербайджана, Средней Азии, Поволжья и Дальнего Востока.

Нет, он не был непогрешим. Не исключено, что он знал и помнил знаменитое утверждение Цицерона, что человеку свойственно ошибаться, а глупцу — настаивать на своей ошибке.

— Безнадежными людьми мы были бы, — заявил он однажды, — если бы вовремя не признавали своих ошибок. Если бы со всей решительностью и большевистской прямотой не приступали к их исправлению…

Был Варейкис членом ВЦИК и ЦИК СССР. На XIII, XIV и XV съездах партии его избирали кандидатом в члены ее Центрального Комитета, а на XVI и XVII съездах — членом ЦК.

Конечно, все это весьма скупые, порой лишь анкетные сведения. Писать о Варейкисе можно бы не одну еще книгу. Но предоставим это другим. И завершая свое повествование, вспомним: бессмертие человека — в доброй памяти о нем, сбереженной в душе и разуме живых.

notes

Примечания

1

Завод Земского и Городского союзов.

2

Центральная рада называла свои воинские формирования «гайдамаками», «сердюками» и «вильиыми козаками».

3

Удар снизу (в боксе).

4

Жадный *(укр., вульг.)*.

5

Семечки *(укр.)*.

6

Бог из машины (букв.; *лат.*) — в финалах античных пьес; развязка вследствие непредвиденного обстоятельства.

М. Спиридонова.